

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЛЬВА КВИТКО



ЖИЗНЬ



И

ТВОРЧЕСТВО

Льва

КВИТКО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
Ч ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И









Москва.

Детская
литература

1976





ЖИЗНЬ
И
ТВОРЧЕСТВО
Льва
КВИТКО

8(С)2
Ж71

Составители
Б. КВИТКО и М. ПЕТРОВСКИЙ

Оформление
Е. ГАННУШКИНА и В. ЯКОВЛЕВА

Ж71 Жизнь и творчество Льва Квитко. Сборник.
Оформление Е. Ганнушкина и В. Яковлева. М.,
«Дет. лит.», 1976.

288 с.

В сборник входят воспоминания о Льве Квитко, статьи о его творчестве, его заметки о детской литературе, переписка.

Ж $\frac{70803-607}{M101(03)76}$ —512—76

8(С)2

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976 г.

Критиці



Литературная биография Л. Квитко начинается в 1917 революционном году, когда молодой поэт, полный самых романтических ожиданий, выпустил свою первую книжку.

Революция подняла на поверхность множество талантливых самородков из низов, и не удивительно, что все свои надежды эти люди связывали с революцией. Л. Квитко не сомневался, «в каком идти, в каком сражаться стане» (В. Маяковский): он с первых своих шагов в литературе стал поэтом революции, потом масс, прежде забытых и загнанных, а ныне воспрянувших к новой жизни. Кровная связь поэта с этими массами стала темой стихов, которыми молодой, безвестный Л. Квитко дебютировал в периодической печати.

Первая книга стихов Л. Квитко была необычной не только в том смысле, в каком необычна всякая книга большого поэта. Едва ли можно назвать какого-либо другого поэта (в еврейской литературе и в литературах других народов нашей страны), первая книга которого была бы книгой для детей. Известность стихов Л. Квитко неуклонно росла, он прочно входил в сознание читателя: сначала — на своем родном языке, потом — в украинских переводах, а с середины 30-х годов — в переводах на русский язык. Переводы, выполненные лучшими мастерами поэзии, сделали читателями Л. Квитко практически всех советских детей. С этого момента началось настоящее триумфальное шествие поэзии Л. Квитко. Бурный успех стихов Л. Квитко для детей был обусловлен многими обстоятельствами, но, быть может, прежде всего — счастливым совпадением детолюбивого характера эпохи с характером дарования поэта. Л. Квитко — поэт для детей — прочно занял место в первом ряду зачинателей и мастеров этого жанра вместе с С. Маршаком, К. Чуковским, В. Маяковским, С. Михалковым, А. Барто.

Меньше известен Л. Квитко — «взрослый» поэт, создатель проникновенной лирики и произведений эпического жанра: романа в стихах «Годы молодые» и поэмы «В красном вихре». «Годы молодые» уже существуют в русском переводе, правда далеко не равноценном оригиналу. Нет сомнения, что Л. Квитко будет понят и оценен по-новому, когда появится перевод поэмы «В красном вихре» и других его непереуверенных произведений. Тогда, между прочим, возникнет задача — с наибольшей полнотой собрать и представить читателю поэтическое наследие Л. Квитко. Решению этой задачи, разумеется, должно предшествовать кропотливое собирание всего написанного поэтом и тщательное изучение его творческой биографии.

Этот сборник посвящен жизни и творчеству Л. Квитко — преимущественно (но не исключительно) детского поэта. Было бы неправильно отрывать стихи Л. Квитко для детей от других его произведений, тем более противопоставлять одни другим. Да это и невозможно по отношению к поэту, все создания которого — детские и «детские» — возникают из одного и того же источника, окрашены всеми цветами творческой индивидуальности художника, пронизаны одной и той же лирической струей. В особенности это

справедливо для Л. Квитко, чье творчество знало развитие, но не знало кризисов и катастроф. Все жанры творчества Л. Квитко развивались взаимосвязанно и одновременно. Помещенные рядом, материалы о «детских» и «взрослых» произведениях поэта бросают друг на друга дополнительный свет, помогают понять и ту и другую сторону творчества поэта, а заодно — понять цельность его творческой личности.

Материалы сборника расположены в порядке, ставшем традиционным для сборников этого типа, с поправками, вызванными особенностями творческой биографии Л. Квитко.

В первом разделе представлены статьи, которые в совокупности должны раскрыть перед читателем разные стороны творчества Л. Квитко. Раздел начинается статьей В. Смирновой — первого в русской литературе биографа поэта и исследователя его творчества. Статья Н. Ойслендера рассказывает о раннем, малоизвестном русскому читателю творчестве Л. Квитко в период перед Великой Октябрьской социалистической революцией и в послеоктябрьские годы. Подборка из статей К. Чуковского 30-х годов фиксирует самый момент начала всесоюзной известности Л. Квитко, из этих статей русский читатель впервые узнавал о появлении нового замечательного поэта. С. Михалков рассказывает о радостной и благодарной работе переводчика, знакомящего своих читателей с творчеством иноязычного поэта. Л. Кассиль дает краткий анализ романа в стихах «Годы молодые» в контексте творческой биографии Л. Квитко. Черты созданного поэтом «детского мира» рассматриваются в статьях Б. Рунина и Р. Рубиной. «Взрослая» лирика Л. Квитко в связи с его творчеством детского поэта — тема статей Ин. Оксенова и Эм. Казакевича. Г. Черненко освещает один из малоизвестных эпизодов биографии поэта (по архивным материалам). Исследуя особенности лиризма Л. Квитко, нарисовать портрет поэта по его стихам — вот задача статьи М. Петровского.

Большую часть этого раздела составляют статьи, написанные (либо переработанные авторами) специально для этого сборника, и статьи из архивных источников, также публикуемые впервые.

Во второй раздел вошли воспоминания о поэте. Раздел открывается большим мемуарным очерком вдовы Л. Квитко — Б. С. Квитко. Этот богатый фактами очерк, прослеживающий все этапы жизни поэта (преимущественно в бытовом, житейском аспекте), станет, надо надеяться, одним из основных источников сведений о жизненном пути Л. Квитко. Помещенные дальше воспоминания друзей детства, юности и зрелых лет Л. Квитко, его учеников и переводчиков, его коллег по литературе рассказывают о разных периодах жизненного пути поэта и, насколько возможно, размещены по хронологии этих периодов. Все материалы этого раздела (кроме нескольких фрагментов из воспоминаний Б. Квитко) публикуются впервые.

Л. Квитко был высокоталантливым художником, но даром теоретика литературы, даром критика он, по-видимому, не обладал. Его статьи и заметки на литературные темы — не столько «критика», сколько своеобразная публицистика лирического поэта. Составители сочли возможным и полезным включить в сборник несколько таких заметок Л. Квитко — о себе, о детях, о детской литературе. Эти заметки образуют третий раздел сборника. За исключением впервые переведенной «Беседы с Павло Тычиной об Ошере Шварцмане» все они уже публиковались на русском языке, но разбросаны по периодическим и труднодоступным изданиям.

Личный архив Л. Квитко утрачен (по-видимому, безвозвратно), и биография поэта чрезвычайно слабо документирована. Тем больший интерес должны представлять найденные в разных архивах письма Л. Квитко, собранные в четвертом разделе сборника. В большинстве своем пись-

ма посвящены литературным вопросам и дают ценный материал для изучения биографии поэта и его творчества. Они, кроме того, могут быть интересны как новый, доселе неизвестный жанр творчества Л. Квитко. Переписка Л. Квитко с П. Тычиной, К. Чуковским, С. Маршаком, Е. Благиной охватывает последовательные и почти не «перекрывающие» друг друга периоды, поэтому составители сочли более удобным для читателя размещение этих писем по адресатам. Каждая из четырех подборок писем предварена краткой характеристикой переписки и отношений Л. Квитко с адресатом. К письмам дается комментарий, содержащий новые, впервые публикуемые факты жизни и творчества поэта.

Наконец, в пятом разделе помещена библиография изданий Л. Квитко, наиболее полная из существующих.

Состав и композиция сборника рассчитаны на то, чтобы дать новый материал всем, кто изучает советскую литературу для детей, и помочь каждому читателю, любящему поэзию Л. Квитко, войти в мир поэта.

М. Петровский

СТАТЬИ



Вера Смирнова. Неиспрятанная радость



ожет быть, лучше всего понимаешь Льва Квитко, когда слушаешь, как его стихи читают дети.

Когда трехлетний или четырехлетний малыш поверяет вам свои маленькие огорчения:

Слышали вы про кисаньку,
Про милую мою?
Не любит мама кисаньку,
А я ее люблю.

.

Сказала мама кисаньке:
— Лови у нас мышей! —
Не слушается кисанька:
К чему мышата ей?.. —

(Перевод С. Погореловского)

или рассказывает удивительную историю, как мальчик утром

Проснулся, привстал,
Опершись на ладонь,
И видит: стоит
Замечательный конь.
Нарядный и новый,
Под красным седлом,
Четыре подковы
Блещат серебром.
Когда и откуда
Сюда он пришел?
И как ухитрился
Взобраться на стол?.. —

(Перевод С. Маршака)

или вслух раздумывает над жизнью барсучат:

Как могут они
Под землю расти
И скучную жизнь
Под землю вести?
Их в темную нору
Запрягала мать,

Она не пускает
Их днем погулять...

(Перевод С. Михалкова)

тогда, слушая эти подлинно детские интонации, понимаешь, что ребенок произносит эти слова, как свои собственные, настолько они выражают то самое, что он хочет, но еще не умеет высказать, настолько все эти маленькие истории жизненны, ощущения и чувства подлинны, слова правдивы.

Я не знаю другого поэта, кто умел бы так, как Квитко, с такой веселой сердечностью и так всерьез выразить чувства и мысли маленького советского человека, живущего сегодня на свободной, мирной земле, вложить в его уста такие нужные ему простые и прекрасные слова. В стихах Квитко живут наши дети, они выглядывают из стихотворения, как из окошка, как та маленькая девочка из книжки «Здравствуйте!», которая радуется и гордится, что она уже научилась здороваться с людьми. А за ее плечами, вместе с ней, приветствует читателя сам поэт Лев Квитко, написавший эту книжку о детях и для детей.

Есть настоящая радость в том, что старому слову, которым все привыкли пользоваться, как мелкой разменной монетой, поэт вернул первоначальную свежесть первого детского впечатления, прелесть действенной новизны, неожиданной и заманчивой. Но еще радостнее сознавать, что он мог это сделать потому, что сам, как дитя, радовался этой своей близости к миру, к людям, к будущему — в лице этих детей, с которыми он говорил так доверительно и нежно.

Я часто думала, слушая, как мой сын читал в детстве стихи Квитко, что сила лирической поэзии в том и заключается, что, выражая чувства, которые могут быть близки многим людям, поэт и «безъязыким» передает свой «дар слова», открывает каждому возможность высказать себя — свою любовь и ненависть, радость и печаль, свое ощущение мира и свои мечты — и тем самым учит и любить, и ненавидеть, и мечтать. Если в эпосе мы видим жизнь, существующую вне нас и помимо нас, то в лирике мы находим самих себя преображенными, лучше, чем сами себя знаем, — слова поэта словно окрыляют нас, выпрямляют, делают выше, заставляют видеть шире и дальше. Именно эта окрыленность дорога нам в лирике, дорого широкое, вольное дыхание, душевный простор, дающий размах воображению. Все это есть в стихах Квитко, он поэт настоящий, лирик по всему своему складу, по характеру своего таланта.

Стихи его можно отнести к разным жанрам — это и короткий стихотворный рассказ, и маленькая поэма, и песня, и сказка, и даже басня. Но настолько ощутимо в каждом стихотворении присутствие самого поэта — слышен его голос, его интонации, его отношение ко всему, — что каждый стих становится лирическим. Вот одно из характерных для Квитко стихотворений — «Однажды»:

Я осенью в своем саду работал,
Готовя место для кустов сирени.
И, чтобы ей просторнее жилось,
Я выкопал две маленькие елки
И положил в сторонку — у плетня.
«...Вы, елочки мои, не обижайтесь,
И вас я не оставлю без призора,
Хорошее местечко вам найду».

Так думает человек, работая в своем саду. Но «на следующий день пришел печник, и мы с ним перекладывали печи», потом убрали картошку, белили дом. Потом пришла зима. Человек забыл про елочки.

И вот однажды, вечером морозным,
Сидел я с книжкой и блаженно грелся
В покойном кресле около огня.
И вдруг во мне похолодело сердце —
Я вспомнил, что про елочки забыл...

Потом приходит весна, человек идет в сад и видит:

Две елочки, два кротких медвежонка,
Игольчатые ветки растопыря,
Стоят, купаясь в солнечном деньке.
Они меня, наверно, долго ждали,
Их дожди охлестывали злые,
Осенний ветер маял и студил.
Тогда они к земле припали близко
И крепко к ней корнями присосались
В неистребимой жажде бытия.
И я стою в молчании глубоко
И думаю: «Какое это чудо —
Земля животворящая моя!»

(Перевод Е. Благиной)

В этом стихотворении отчетливо видны основные черты поэзии Квитко: его сжато отношение к миру, его любовь к жизни, ко всему живому, его близость к земле, истинно поэтический дар — видеть чудо в повседневном явлении — и подлинная человечность. Тот, у кого похолодело сердце оттого, что по его вине, по забывчивости и недосмотру, могло погибнуть

что-то живое, — настоящий человек, и нас заражает его взволнованность, учит его раздумье над жизнью. Самая тональность этого стихотворения характерна для Квитко — эпически спокойный рассказ или разговор с самим собой, почти притча, в которой, как в народной притче, чувствуются здоровье, и зрелость, и ясная мудрость. То, чего добивался Лев Толстой в своих маленьких рассказах для детей, есть и в стихах Квитко: предельная простота и краткость, высокая и умная мораль и образ человека на земле. И в то же время здесь — атмосфера мирной и трудовой жизни, которую Квитко всегда как будто носит с собой, и так свойственный Квитко необычайный, смелый поэтический образ: две елочки — «два коренастых милых медвежонка».

В стихах Квитко образ природы всегда живой, одушевленный, часто очеловеченный:

В корзинах фрукты вносят в дом,
Когда проходит лето,
И оставляют под дождем
За дверью сад раздетый.

Деревья горбятся, хрипят,
Трясутся с головы до пят.

Ну, как деревьям не помочь?
А вдруг морозной будет ночь!
Несут рогожи и мешки —
Деревьям на зиму чулки.
Ногам тепло, одели всех,
А головы укроет снег.

(Перевод Т. Спендиаровой)

Это ощущение природы как живого существа — народное и детское ощущение, оттого-то стихи Квитко так близки детям, так родственны народной поэзии. Стихи Квитко часто роднит с народными сказками образ природы, за которым видится, подразумевается человек. Вот елочка стоит одна перед темной стеной леса, далеко от других деревьев, — «открыта всем ветрам»: не лучше ли ей было бы войти в лесную сень, укрыться среди дубов и сосен? Ведь ее

И град сечет, и буря гнет,
И ветер бьет кнутом.

Но есть одно, за что елочка готова принять все беды:

Лес начинается с меня,
Я начинаю лес!

(Перевод Л. Воронковой)

Этот образ человека, идущего впереди других, принимающего на себя первые удары, и трогателен, и многозначителен, и в то же время прост.

Или вот:

Колодцу по сердцу, когда берут в нем воду...
...Не черпанный давно колодец тот заглох... —

разве это не образ поэта, вообще творческого человека, который чем больше дает другим, тем богаче становится сам, поистине народный сказочный образ? Близость к природе, близость к земле у Квитко органическая, «хозяйская» — поэт сам трудится на своей земле и уважает труд земледельца. Поэтому так естествен у Квитко необычный для еврейского писателя деревенский образ: после грозы солнце

Вдруг вытрет радугой цветной,
Как полотенцем, край земной.

Взлетает к небу теплый пар
От каждой крыши и скирды.
— Здорова будь, моя земля!
Колхозы, с легким паром вас! —

так по-деревенски приветствует поэт омывшуюся летним ливнем землю.

Образ земли, расцветшей после дождя, оживает и в стихотворении «Радуга»:

И, как бы вытянувшись вдруг и радугу поймав,
Она взяла ее концы в раскинутые руки
И покачнулась, разбудив благоуханье трав,
Теченье вод, и пенье птиц, и шорохи, и звуки...

(Перевод Е. Благиной)

Любовь к земле, к природе, к цветам, и плодам, и птицам роднит Квитко с детьми. Во всем мире ближе всего Квитко — дети. Как хорошо он говорит в своей «Хвале новорожденному»:

Прекраснее, чем это — в жизни нет:
Почувствовать, понять и насладиться
Тем, как чудесно заново родиться
Для новых, лучших радостей на свет!

Ребенком быть — и каждый день в году
Умнеть, насторожив глаза и уши,
Стать юношей, и после — зрелым мужем —
Любовь открыть, как новую звезду.

.
И настает чудесная пора:
Любви единой на детей делиться.

Тут нечего считать или скупиться,—
Ведь жизнь всегда прекрасна и мудра!

(Перевод П. Шубина)

Поэт, так любивший жизнь, мирный труд и детей, умел растить и в своих маленьких читателях любовь к родной стране, желание защищать ее от всех врагов. В предвоенные годы не было, кажется, в Москве (да и по всему Союзу) малыша, который не повторял бы с упоением строки из «Письма Ворошилову».

— Товарищ Ворошилов,
Народный комиссар!

В Красную Армию
Нынешний год,
В Красную Армию
Брат мой идет.
.

Слышал я: фашисты
Задумали войну,
Хотят они разграбить
Советскую страну.

Товарищ Ворошилов,
Когда начнется бой,
Пускай назначат брата
В отряд передовой.

И опять поэт вкладывает в уста ребенку слова, которые, выражая его горячее желание, звучат как обещание, как призыв:

Товарищ Ворошилов,
Я быстро подрасту
И стану вместо брата
С винтовкой на посту.

(Перевод С. Маршак)

Когда же случилось то, о чем говорил поэт, и фашистские орды хлынули на советскую землю, с какой болью переживал он народные бедствия и, в особенности, горе обездоленных сирот, гибель ни в чем не повинных детей!

Уже после победы, в 1945 году он писал:

Вы говорите, я умел краснo
Рассказывать о крыльях стрекозы,
О соловьиной трели
Или о том, как вверх по водопаду
Взбираются веселые
Форели.

Умел я видеть, как растет трава
И как рассвет, прикидываясь птицей,
Посвистывает...
И как вращается едва-едва
Подсолнух круглолицый.
Как земляника зреет в тишине,
Какою голой кажется морковка,
Из грядки вырванная... Как горох,
Рассыпавшись, приплясывает ловко...
И это все куда как мило мне!

И правда: трудно лучше самого поэта сказать, о чем и как он умел говорить в своих стихах, что он умел видеть, что было ему мило. Но война заставила его увидеть самое страшное,— и ему не забыть:

До гроба не забыть осатанелых
«Людей» в перчатках безупречно белых,
Спокойно убивающих детей.

(«Возрождение». Перевод Е. Благиной)

В одном из послевоенных своих стихотворений «О слове» Квитко, подобно многим поэтам, раздумывает над своим жизненным делом, над своей задачей. Оглядывая свою землю, на которой еще недавно шли бои и лилась кровь, думая о народе, который встал как один против захватчиков и победил, поэт слушает слова героя недавних битв и побед:

Есть красота рабочих рук, и эта красота,
Как наша правда, велика и, как она, проста:
Немая ткань заговорит, приветлив станет камень,
И облик свой изменит плод — под нашими руками.
И мастер будет рад, и мы
Его работе рады,
И труд нас в дружбе укрепит
И все сметет преграды.

(Перевод Л. Озерова)

Один из самых горьких шутников в литературе — еврейский писатель Шолом-Алейхем мог бы всерьез порадоваться услышав, как прямо, без обиняков, радостно и уверенно другой еврейский писатель говорил «здравствуйте» всем детям великой страны, ставшей ему Родиной не только физически, но и духовно. Эту связь с народом, с родной страной Квитко и чувствовал и сознавал очень сильно. И сказал об этом удивительно просто:

Без Родины умрет мой стих,
Чужой и матери и детям.

С тобой, страна, живет мой стих,
И мать его читает детям.

(«С моей страной». Перевод А. Ахматовой)

У Квитко есть цикл стихов о войне, о героях и жертвах войны. В них первое слово поэта — матерям и детям.

Прижмись ко мне тесней, затравленный заморыш... —
с болью говорит поэт маленькой Миреле, у которой враги отняли все: и дом, и семью, и радость детства, и веру в людей. И так характерна для Квитко горечь именно об утрате главного:

Как очернили мир в глазах твоих, бедняжка!

Глубокой человечностью, настоящей любовью к людям, сочувствием к их утратам и бедам проникнута поэзия Квитко. Вместе с матерью героя он восклицает горько:

Зачем к нему слава посмертно пришла!
Она и живому была бы под стать.

(«Слово матери». Перевод Я. Хелемского)

Суровое испытание войной, перенесенное с честью и со славой советским народом, поэт пережил, как верный сын народа, отдав свое сердце и свое поэтическое мастерство на службу Родине. Как для каждого советского человека, для коммуниста военные годы были для Квитко ступенями новой политической и нравственной зрелости. Многообразный опыт этих лет — кровавых и героических, жестоких и самоотверженных, страшных и трогательных — внес новое звучание в поэзию Квитко, лирика его словно стала взрослее, глубже по мысли.

Я прежним никогда теперь не буду!
Другие мысли мне идут на ум... —

(Перевод Е. Благиной)

говорит поэт в замечательном стихотворении «Лес», написанном в 1945 году: тот мирный лес, который он так любил, который давал ему столько простых радостей, открывал столько чудес, теперь видится ему «причастным другой судьбе», участником великой борьбы, помощником и хранителем, товарищем, другом человеку. Ценность жизни по-новому, острее, ощущает поэт, и к нежности, которую он чувствует ко всему живому, примешиваются теперь серьезное раздумье и грусть.

В другом стихотворении, написанном в последние годы жизни, Квитко сравнивает свои стихи с птицами:

Птиц отпустил на волю я —
Добыть простор и славу,
На радость миру должному
Лететь дорогой правой.

И поэт просит наше время, нашу жизнь помочь ему «на крутизне свершений»:

Пусть птицы мои поздние —
Мой труд в ночи бессонной —
Не падая, удержатся
На высоте бездонной.

(«Стихи». Перевод В. Звягинцево?)

В этом стихотворении, так же как и в другом того же цикла («С моей страной»), содержится итог жизни и работы, своеобразное поэтическое завещание — предвидение и сознание ценности того, что им создано.

Любимые темы Квитко: сад, дом, земля, дождь, солнечное и земное чудо — плод из зерна, веселая работа — лесопилка, кузница, обозы с хлебом и веселые маленькие дети с широко раскрытыми на мир, удивленными глазами, со звонким смехом, с задорным обещанием: «Когда я вырасту...», с вечными выдумками:

Кто умеет,
Кто умеет делать дудочки?
Я умею,
Я умею делать дудочки!

Срежу ветку бузины —
Вот такой длины.
Обстругаю — станет белою,
Сбоку дырочки проделаю.
Дуну,
Дуну
Раз и два,
Закачается трава!

(Перевод Т. Спендиаровой)

Так виртуозно просто ложатся здесь в строки слова — и словно на наших глазах является на свет певучая дудочка, самая естественная и чудесная игрушка детства.

Это сочетание простоты и необычайности, естественности и неожиданности, новизны и какой-то «извечности» характерно для поэзии Квитко — оно во всем: и в образах, и в сравнениях, и в самой музыке слов. «Рассвет, посвистывающий птицей»; косточка сливы, «спящая в сквозном холодке»; «лицо колод-

ца», которое «светится, и дрожит, и вспыхивает в брызгах радуг, когда в него погружают ведро»; первые признаки старости, когда человеку «в море холодно, а в бане слишком жарко» и дерево, посаженное им, «уходит от него все дальше с каждым летом»—все это замечательные поэтические находки, и найдены, увидены они зорким глазом поэта в самой жизни, в том, что каждый из нас встречает на каждом шагу. Так просто: плывут плоты по Каме, на плоту — костер, над ним кипящий чугунок.

И над супом
Пар такой,
Как над утренней
Рекой.

Стихи Квитко часто освещает и согревает улыбка. Поэт умеет вместе с детьми удивляться: «Гляди, соломинка идет! Эй, встречный, берегись!» Но тут же мы видим, как поэт усмеяется: ведь это просто муравей тащит «бревнышко». И как хороша улыбка, с которой поэт говорит:

С любим управишься бревном,
Раз нужно строить дом!

(«Великан». Перевод С. Погореловского)

Юмор Квитко удивительно теплый, веселый, не злой. Даже самый насмешливый стих у него лиричен и мягок. Вспомним его великолепную «Сливу»:

О сладостной сливе, о славе ее
Никто не сказал еще слово свое.
Но скажет когда-нибудь дерзкий поэт
О сливе, которой прекраснее нет, —
О нежных прожилках в ее синеве,
О том, как она притаилась в листе,
О мякоти сладкой, о гладкой щеке,
О косточке, спящей в сквозном холодке,
Как солнце проходит по ней полосой,
Как вечер на ней оседает росой,
Как тонко над ней изогнулся сучок...

Так думал о сливе один червячок.
Пробрался он к самому сердцу ее
И тянет, и пьет золотое питье.
Ну, если так думал о сливе червяк,
То, может быть, это действительно так!

В этом стихотворении, отлично переведенном Е. Благининой, «образ» сливы, словно наперекор насмешливой интонации, нарисован так живописно, так ощутимо и зримо, с таким

подлинным мастерством художника, что победоносная эта красота как будто сама уничтожает «червяка», который «пробрался к самому сердцу ее и тянет, и пьет золотое питье». Великолепно здесь изобразительное искусство поэта!

В своих юмористических, в шуточных стихах Квитко, может быть, больше всего близок к народной поэзии. Такие стихи, как «Жених без невесты», «Луна», «Из Бембы в Дрембу», звучат как народные песенки и прибаутки. Сатира Квитко — всегда поэтический рассказ, который завершается лукавой, разоблачительной сентенцией автора. Как в сказках народных, образ, взятый поэтом из животного мира, не только нацелен на осмеяние человеческих недостатков, но и наделен всегда в высшей степени точными признаками своей породы, окружен своей средой, как, например, тот пышный красавец петух, который с необыкновенным величием, подавляя всех и все вокруг, «кукарекать идет».

Квитко отлично знает повадки зверей. Вот кошка сидит на террасе и ждет, когда придет вечер,— тогда она воображает себя дикой хищницей, способной схватить и терзать добычу. Как хочется ей почувствовать себя немножко тигром! — усмеяется поэт. А потом она все же возвращается как ни в чем не бывало на балкон пить молоко.

В поэзии Квитко явственно ощутим возраст человека — от колыбели и до старости,— оттого, вероятно, и диапазон поэта кажется таким широким. От домика, который собирает строить себе муравей, от норы, в которой живут барсуки,— как высок переход к мыслям о своем родном человеческом доме:

...Орел в грозовых тучах вьется,
А все-таки в свое гнездо вернется.
И я лечу путями грозовыми —
За молниями! Даже рядом с ними!
А все-таки и я вернусь к родному,
Из дерева построенному дому.
Я, как орел, люблю гнездо свое —
Пристанище веселое мое.

(«Разлука». Перевод Е. Благиной)

Кажется, так просто, смело, гордо сказать о своем доме, так возвеличить родной дом сумел только Квитко...

И еще не раз, спустя десяток лет, уже после войны, поэт возвращается к теме «своего дома» (так называется стихотворение, датированное 1947 годом):

Как видно, страх заставил гнезда вить —
Нужна защита верная от зверя.

Здесь может птица преспокойно жить
И слабость тонким прутикам доверить.
Стремление дать новой ветви жить,
Познать любви высокое начало
Звало в уединенье быть
И гнезда строить заставляло.

(Перевод М. Светлова)

Вся планета и свое гнездо, мир и дом словно спорят в сердце поэта. И как образно примиряет их поэт, говоря: «Мы знаем, как планета хороша... и как огромна... и все ж мы помним»,

Что только на ладони узнаем
И постигаем качество пшеницы.

(Перевод М. Светлова)

В 1948 году Квитко написал стихотворение «Краса земли», в котором с новой силой прозвучала юношеская его тяга в широкий мир, любовь к земле, к жизни вольной и неприхотливой. И уже с горечью говорит теперь поэт о «домашнем уюте»:

Мы для покоя своего
Себе возводим дом.
На клетки расчертив его,
Живем и дышим в нем.

Вот в этой клеточке — едят,
А в той — работают, сидят,
А в этой — спят, а в этой ждут
Гостей. И в каждой свой уют,
И всяк из всех стремится сил,
Чтоб дом красивей мира был.

Но прелесть милая земли
Не дастся в тесный плен.
Она не здесь, а там — вдали
От огражденных стен.

Мой друг! Почаще покидай
Четырехстенный рай
И хлещущую через край
Красу земли вбирай.

Вот высота — она твоя!
И ветра влажная струя,
И яблони весенний цвет,
И девичьей улыбки свет,
И медленный разрыв зари —
Все для тебя!

Твое!
Бери!

(Перевод Е. Благиной)

Но и в этой «диалектике чувства» не теряется ощущение цельности, душевного равновесия, человеческого жизнелюбия, которые так пленяют нас в образе Квитко, во всей его поэзии.

Радует каждый раз, когда перечитываешь его стихи, необычайная вера поэта в человека, во все лучшее, что есть в человеке и в жизни на земле. Квитко любил нашу жизнь и хотел жить и работать на нашей советской земле, как жил и работал на ней долгие годы. И потому особенно трогательны последние строки его «Разлуки»:

Мы даже боли переносим вместе.
Едино, общно, слитно, цельно...
Но смерть войдет, не постучась,—
И к каждому из нас отдельно,
И в разный день, и в разный час,
И разомкнет сомкнувшиеся руки...
Любимая, я не хочу разлуки!

(Перевод Е. Благиной)

У Квитко есть стихотворение, подобное венку на могилы павших бойцов,— оно называется «Сила» и построено как народная сказка: поэт говорит о могучих скалах, сильнее которых металл, разрушающий их; об огне, который сильнее металла, ибо плавит его; о воде, которая тушит огонь; о туче, что вбирает в себя воду; о ветре, который рвет в клочки тучи; о людях, которые укрощают ветер; о смерти, которая сильнее людей, и о славе, которая побеждает смерть:

Кто может славу
Заслужить,
Заслужит право
Вечно жить!

(Перевод Т. Спендиаровой)

Продолжая мысль поэта, можно сказать о нем самом: человек может заслужить славу тем, что он сделал, что он оставил после себя на земле. Поэт оставил на земле неуывающее чудо: всегда молодые, живые строки стихов, слова, которым дано волновать и тревожить и радовать человеческое сердце. Стихи живут и будут жить — и жива память о замечательном советском поэте Льве Квитко.

Лев Квитко по праву стоит в одном ряду с лучшими советскими поэтами, писавшими и пишущими для детей: с Маяковским, Маршаком, Чуковским, Михалковым, Барто. Именно рядом с ними отчетливей видны его особенности как детского

писателя и то новое, что он внес в советскую литературу для детей.

Только в таком сопоставлении можно понять, как этот поэт-самоучка, писавший на еврейском языке, работавший сначала как будто в стороне от основного русла, по которому шел поток новой советской детской литературы, не знавший, как работали для детей Маяковский, Чуковский, Маршак в первые годы революции, и по-настоящему замеченный в литературе лишь в тридцатые годы, когда наша поэзия для детей была уже в расцвете,— как он стал равноправным, своим в этой поэзии и одним из самых любимых детьми Советской страны.

Почему именно стихи Квитко из всей многонациональной поэзии народов СССР так органично вошли в золотой фонд нашей литературы для детей, стали явлением русской поэзии? Очевидно, есть в его творчестве черты важной новизны, и его детские стихи существенно дополняют то, что сделано другими поэтами.

Вообще сопоставление, хотя бы самое беглое, этих поэтов, лучших в нашей поэзии для детей, очень интересно: когда видишь их всех вместе и рядом, каждый предстает в том самом характерном и главном, что им открыто и сделано; и в то же время ясно, что они не одиночки, что они делали общее дело, которое придало им какое-то сходство,— из этого сходства и вырисовываются черты, характерные для советской литературы для детей, ее особенности, идейные и художественные, ее новизна.

Своеобразие каждого, их поэтическая индивидуальность, разница поколений, культуры, разное понимание традиций только подчеркиваются, когда поэты стоят рядом. Всех их роднит убежденность в равноправии маленького читателя со взрослым: ребенку нужна подлинная, большая поэзия, нельзя питать ее суррогатом. Все они твердо знают, что ребенок — живой человек, а не «предмет для воспитания», и все они сознают свою ответственность за него и хотят вырастить его человечным, мужественным и свободным хозяином и работником нового, коммунистического мира.

Эта осознанность задачи, и чувство ответственности, и тот новый материал действительности, который дает им жизнь, заставляют поэтов искать новых приемов и добиваться нового мастерства в своей работе.

Одной из характерных и интереснейших особенностей советской поэзии для детей является ее несомненная связь с на-

родной поэзией, использование и развитие тех поэтических приемов и жанров, которые созданы и создаются народом. Колыбельные песенки, сказки, загадки, присказки и прибаутки, считалки и дразнилки, пословицы и поговорки — все, что испокон веков сопровождает детство ребенка, его игры, было для наших поэтов примером, как надо разговаривать с детьми, как помогать им осваивать мир и речь.

Все поэты, о которых я говорю здесь, учились у народа, все черпали из сокровищницы народной поэзии, но каждый искал то, что было именно ему нужно в его работе, для его задачи, и по-разному претворяли они стихию народной поэтической речи в своем искусстве.

Лев Квитко, несомненно, был близок им, был им «по пути», — тем более что для него переход от народной поэзии к современной литературе был не литературной традицией, а самой жизнью. Квитко — поэт-самородок, его поэтический дар был вскормлен народной поэзией, народная речь была его собственной речью. Его бедняцкая трудовая юность пришла к революции естественно, органически, революция все дала поэту, и прежде всего право голоса, возможность писать и печататься. Революция расширила его горизонт, обогатила его словарь. В народную речь, которую он слышал с детства, поэт стал вводить новые слова, рожденные революцией и новой жизнью.

Вот одно из самых популярных в свое время стихотворений, отлично переведенное С. Михалковым, — «Анна-Ванна бригадир». Оно построено как диалог: малыши просят бригадира-свинарку пустить их посмотреть поросят, а она их не пускает, ссылаясь на то, что поросята все время заняты.

Такое диалогическое построение — перемежающиеся строфы с вопросами и ответами — заставляет вспомнить народные песни, каких немало и в русском и в еврейском фольклоре. По-русски больше всего это напоминает: «А мы просо сеяли, сеяли... А мы просо вытопчем, вытопчем...» Но игровой, хоро-водный характер народной песни у Квитко утрачен: все в его стихотворении дано всерьез — это уже не игра, это сама наша сегодняшняя жизнь, и мы слышим здесь не безличный «хор», а живые голоса ребят, по-настоящему заинтересованных, и добрый голос женщины, уговаривающий их:

— Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
Мы их не обидим:
Поглядим и выйдем!

— Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят купать пора,
После приходите.

И хотя дети в стихотворении Квитко так и не увидели поросят, но узнали о них многое: за поросятами ухаживают, как за малыми детьми, с ними много возни — «поросят купать пора», «поросят кормить пора», «поросятам спать пора», и обо всем этом хлопочет, всем этим занята «Анна-Ванна бригадир», с виду строгая, но явно добрая. Новое слово бригадир, такое привычное для взрослых в колхозах и совхозах, входит в обиход детей не пустым или непонятным, а наполненным серьезным значением и уважением.

В стихах Квитко мир ограничен реалистическим ощущением двора, сада, деревни, улицы, но и на этом ограниченном пространстве Квитко сумел показать целую жизнь, и это наша советская сегодняшняя жизнь. На этом пространстве разыгрываются всякие истории: например, с быком и старым пастухом Эзрой, который ничуть его не боится; с жучком, для которого обычный дождь — наводнение, и от него он должен спастись; с коровой, которая заблудилась в тумане; с громадным арбузом, который вырос из маленького семечка; с маленькой Ленкой, с которой в первый раз поздоровались, как со взрослой; с письмом, которое написано самому народному комиссару Климу Ворошилову. Квитко внес в нашу поэзию для детей интимность и тепло нового советского дома, подлинную демократичность, чувство дружбы и товарищества, весь свой оптимизм, рожденный тем, что он видел и знал о нашей жизни в те довоенные годы. Поэзия Квитко внесла теплую и чистую краску в общую поэтическую картину советского детства в тридцатых годах.

Квитко — лирик по преимуществу. До Квитко казалось, что лирика доходит до детей позже, чем сюжетные рассказы, сказки и смешные стихи. Но Квитко сумел и в своих детских стихах остаться лириком в полном смысле слова: он выразил чувства и мысли ребенка, его отношение к миру. Самое удивительное: он сумел выразить чувства и мысли совсем маленького человечка. У Чуковского ребенок обычно только подразумевается как соучастник в игре, как слушатель сказки; Маршак видит ребенка большей частью глазами взрослого, беседует с ним, учит его; у Михалкова и Барто мы встречаемся чаще всего с детьми более старшего возраста — главным об-

разом со школьниками, пионерами. У Квитко совсем маленький ребенок, четырех — шести лет, сам живет в стихах, это его ощущения и размышления переданы словами стихотворения.

А так как ребенок в эти годы живет удивительно «всерьез», то в стихах Квитко почти нет «игры», нет фантастики, нет ничего «понарошку». Секрет обаяния Квитко для детей в той подлинности всего, о чем говорится в его стихах. Чуковский, например, вызывает восторг ребят именно тем, что они сразу чувствуют необычайность, нарочитость, выдуманность событий и персонажей, наслаждаются выдумкой, фокусом, забавной игрой. Квитко не рассказывает детям, не играет с ними, не развлекает их — он просто становится сам ребенком и передает его детское видение мира, его суждения, ощущения. Это перевоплощение в ребенка и составляет главную лирическую силу Квитко.

Квитко замечает в мире то, что прежде всего видит ребенок, — детали у него всегда верны. Вот как ощущает ребенок весну:

Сколько грязи весенней,
Луж глубоких, хороших!
Как привольно тут шлепать
В башмаках и калошах!

(«Весна». Перевод Н. Сидоренко)

Каждый из нас, вспомнив свое детство, найдет там эту «весеннюю радость».

Именно ребенок, притом современный, скажет о жуке: «мотор зарычал». И, конечно, кто, как не ребенок, в картине ливня отметит такую деталь:

Промокли собаки
И просятся в дом.

(«Жучок». Перевод С. Маршака)

Детская речь, ее интонации и обороты органичны для Квитко, он не подражает детям, не пародирует, не обыгрывает их речь, не любит ими, как взрослый, они у него естественны и вполне серьезны. Эта речевая характеристика уже создает образ лирического героя Квитко. В этом образе заключено и то, что присуще вообще детству, младенчеству, и что-то новое, какие-то черты ребенка современного, советского. Любознательность, желание действовать, участвовать в работе взрослых, ощущение важности своего существования в мире

!(такое забавное и милое в маленьком человечке); удивление перед всем совершающимся вокруг: перед появившимся неизвестно откуда и как цветком в саду; перед тыквой непомерной величины, выросшей на бахче; перед тем, что таится на речном дне; перед бесстрашием старого пастуха Эзры, который легко укрощает разъяренного быка,—все эти черты нашего ребенка мы видим отчетливо в стихах Квитко. Ребенок у Квитко учится любить людей и жизнь, а так как это — наша жизнь и наши люди, то рано ему становится доступным и то чувство, которое у взрослых называется патриотизмом. «Письмо Ворошилову» — это от всей души, это искренне и горячо и, конечно, очень по-детски. Недаром это стихотворение пользовалось таким исключительным успехом в предвоенные годы.

Лирический герой Квитко — гуманист и оптимист. Он не разрушитель,— никогда в стихах Квитко мы не видим его, что-то бессмысленно разрушающим в природе, изобретающим злые каверзы. Жучку, который так смело боролся с наводнением, мальчик помогает спастись. За муравьем, несущим на спине громадную соломинку для своего дома, он следит с уважением. Он шалит, веселится, играет, старается помогать взрослым — и во всем этом есть здоровое, доброе отношение к миру. Квитко не сентиментален (иногда только переводчики вносят некоторую сентиментальность в его стихи), он слишком мужествен для этого,— просто быть добрым, человечным, хорошим товарищем для его героя естественнее, чем быть злым разрушителем, ненавистником. В этой естественности добра — воспитательная сила поэзии Квитко.

Как подлинный лирик, Квитко вводит в детскую поэзию природу, пейзаж. Нельзя сказать, что он был новатором в этом: стихи о природе издавна в изобилии преподносились детям, много их и сейчас пишется и печатается. Но чаще всего пейзаж давался детям как «картинка» — для созерцания — или был фоном, на котором разыгрывались всякие истории из жизни детей. Или это была сказочная природа, полная волшебных неожиданностей, непонятная и даже порой пугающая. У поэтов, современников Квитко, пейзаж вообще использован довольно редко. У Чуковского он всегда условно-фантастический, у Маршака и Михалкова чаще всего — городской. Квитко как бы возвращает своему маленькому читателю ту природу, которой в городе его постепенно лишает современная техника: в стихах Квитко живет лес, птицы поют, цветут сады, мчатся «шалые лошадки», барсучата нежатся на утреннем холодке... И, главное, ребенок не просто «созерцает» все это —

он сам живет среди природы, сам учится ее осваивать, быть ее хозяином и помощником.

Надо сказать, что именно эта сторона поэзии Квитко вызвала наибольший отклик в нашей детской литературе и наибольшее число последователей.

Вообще можно сказать без преувеличения, что о значительности поэзии Квитко свидетельствует уже то, что у него оказалось сразу много учеников. Мы знаем, что трудно сейчас найти молодого поэта, в работе которого не видно было бы следов учебы у Маршака, или у Чуковского (почти всегда это две разные линии учебы), или у Маяковского. К этим современным учителям поэзии справедливость требует причислить и Льва Квитко, подлинного лирика, создателя образа ребенка в поэзии.

Учиться у Квитко, конечно, трудно — он самобытен,— можно ли научиться лиризму, дару перевоплощения, умению показывать человека изнутри, особенно маленького, будущего человека? У Квитко почти нет своих особых приемов, излюбленного жанра. Но он учит большому и самому нужному: быть человечным.

Как у многих национальных писателей, которые вышли из народа, которых Октябрьская революция и Советская власть сделали литераторами, у Квитко была потребность «рассказать о времени и о себе», рассказать детям Советской страны о том, как бедный еврейский мальчик, сирота, искал свое место в жизни и как революция вывела его на широкую дорогу свободы, дружбы народов, творчества.

Эту повесть своей жизни Квитко написал в прозе. В 1938 году в Детгизе вышла на русском языке повесть «Лям и Петрик» — история двух маленьких друзей, еврейского и украинского мальчиков: их дружбы, их скитаний, их бедствий, их встреч с людьми, которые готовили революцию, их участия в революционном движении. Первая часть повести — детство Ляма — это детство самого Квитко, да и во всем остальном много автобиографического.

У Льва Квитко был еще один большой и заветный труд, которому он отдал много сил и любви,— это роман в стихах «Годы молодые», над которым он работал почти тринадцать лет — с 1928 по 1941 год. На еврейском языке роман был напечатан в Каунасе перед самой войной, в июне 1941 года. Но судьба этой книги трагична: весь тираж ее был уничтожен — сгорел в огне, когда на город налетели фашисты. И только в 1968 году — через пятнадцать лет после смерти самого поэта —

«Годы молодые» вышли в переводе на русский язык в издательстве «Советский писатель». Эта лирико-драматическая поэма о первых годах революции и гражданской войны на Украине — страстная песнь во славу отважных и молодых бойцов, за свободу трудового люда, за общее счастье. Картины тяжелого быта еврейской бедноты сменяются стремительным ритмом битвы, и много разных людей, то задавленных нуждой и зависимостью от богачей, то восстающих против этого гнета, готовых на подвиг и на смерть, нежных с любимой, гордых перед лицом врага, проходят перед нами на этих взволнованных страницах. Несомненно, в «Годах молодых» живет молодость самого Квитко, и он здесь предстает перед читателем настоящим революционным борцом, очень чутким к боли своего народа.

Жизнь Льва Моисеевича Квитко оборвалась в 1952 году.

Но, как сказал другой замечательный поэт (Китс): «Поэзия земли не знает смерти». В 1956 году в «Советском писателе» вышел сборник стихотворений Л. Квитко «Песнь моей души», составленный Б. С. Квитко, — подлинный памятник поэту, а в следующем году в Детгизе — «Моим друзьям»; оба они переиздавались несколько раз, как и отдельные его стихи для детей. Поэт оставил на земле неувядающее чудо — всегда молодые, живые строки стихов, которым дано волновать, и тревожить, и радовать человеческое сердце. Стихи живут и будут жить — и жива будет память о замечательном советском поэте Льве Квитко.

Н. Ойсландер. Ранние годы творчества Л. Квитко



своем жизненном пути Л. Квитко говорил редко и неохотно. Отвечая на чей-то вопрос, поэт писал в одном стихотворении:

Зачем рассказывать о моей жизни?
Зачем описывать себя и только себя?
Ясно:
День мой не был шелковым...¹

В стихах и поэмах Квитко автобиографическое большей частью отодвигалось на задний план, а то и вовсе замалчивалось. Сохранились, однако, некоторые документальные данные, проливающие свет на жизнь поэта. Особенный интерес представляет небольшая пачка писем Квитко, написанных в годы первой мировой войны и адресованных к другу юности, будущему советскому поэту М. Хашеватскому.

Письма относятся к периоду, когда Квитко готовился переступить порог литературы. Несмотря на то что им было написано уже изрядное количество стихотворений, поэт, по его собственному определению, в одном письме чувствовал себя еще «слишком зеленым яблоком». Местность, откуда Квитко посылал свои письма, он называет «Голованевским болотом»². Свое отношение к среде, окружавшей его, Квитко выражает совершенно отчетливо: «Я здесь задыхаюсь и напрягаю все силы, чтобы вырваться, вырваться отсюда...»

Неудивительно, что герой рассказа Квитко «Медянка» (конец 20-х годов) недобрым словом поминает дореволюционное местечко: «Наше местечко перед Октябрем! Теперь уже и представить себе трудно, что оно так выглядело и что я сам оттуда!»

В том же рассказе, однако, есть строки, в которых местечко

¹ Стихотворения Л. Квитко приводятся в этой статье везде (кроме особо оговоренных случаев) в подстрочных переводах.

² Голованевск — местечко близ села Голосково, где родился поэт.

неожиданно предстает в другом свете. Они появляются там, где герой рассказа — маляр по профессии — вспоминает о своих встречах с мастеровым людом и о своей работе.

В одном из позднейших стихотворений Квитко говорится:

Кто знает, что это значит —
Быть рабом у хозяина
И расти без призора,
Как растет на свалке трава?

Квитко пришлось еще в раннем отрочестве познать эту судьбу. Нужда день ото дня давила его все сильнее, и в одном из тогдашних своих писем поэт сообщает: «Знаешь, из-за моего благословенного положения я начинаю терять (т-с, это — секрет!) веру в себя...»

Нужно сказать, что это и впрямь осталось секретом: в тогдашних стихах Квитко нет и намека на то, что молодой поэт начинает терять веру в себя. В письмах своих он гордится тем, что из-под его пера не вышло «ни одного пессимистического стихотворения». Молодой Квитко имел все основания гордиться этим. Яд пессимизма, который тогда широко разливался в еврейской литературе, его, Квитко, не отравил. Больше того: поэт уже владел тогда своим собственным оружием, помогавшим ему бороться с пессимистическими настроениями. Оружие это он называл: «Мой романтизм».

На эту тему — «мой романтизм» — Квитко говорит часто и охотно. Чувствуется, что здесь идет речь не столько о литературе, сколько о жизни, о нормах поведения, без которых молодой Квитко не может обойтись, ибо только они давали какой-то просвет в его до чрезвычайности тяжелой жизни, помогали сохранить веру в жизнь. «Жизнь,—пишет он в одном письме,— была бы великолепна, мир — изумителен, если бы мы сами не угробили все это...»

Из такого восприятия действительности вытекало и соответствующее отношение Квитко к литературе. «Мне жизнь представляется полной неразберихой, но в ней скрыты жемчужины, это — жемчужины романтизма»,— пишет он. Отсюда Квитко делает вывод: настоящий поэт — это тот, кому удастся найти эти жемчужины. «Настоящий поэт обнаруживает все романтические искры, возводит чудесную башню и показывает нам, какой жизнь была и какой она может быть. Кто создал романтизм, если не сама жизнь?..»

Из этого отнюдь не следует, что Квитко в какой-либо мере склонен был идеализировать окружающую действительность. Нет, ему было чуждо всякое украшательство. Он, однако, на-

стаивает: «Подлинный облик жизни и мира скрыт от нас, искажен...» Назначение поэта, как его понимает Квитко, в том, чтобы «извлечь из-под тяжести вековых руин жизнь действительную, истинную».

Чтобы остаться верным своему назначению, поэт, по мнению Квитко, не должен придавать поэтической форме самоценное значение. В письмах к другу он предостерегает от таких увлечений. Он пишет: «Да, милый Миша, я и сам знаю, что музыка стиха выражает настроение поэта и что настроение является самой необходимой частью содержания. Гейне даже говорит, что хорошая рифма — это поцелуй свежих губок (кажется, так?). Все же я думаю, что поэзия, жертвующая содержанием ради формы, — это не поэзия, а карточный домик».

Таков ход мыслей Квитко в период его пребывания в своем селе Голосково. Случилось в то время приехать к Квитко на несколько дней его другу Эзре Фининбергу, впоследствии — известному советскому еврейскому поэту. Квитко рассказывает об этом в письме к М. Хашевацкому:

«Послушай: Эзра примирился с моим романтизмом и пишет очень хорошие стихи. Вне романтизма, говорит он, нет литературы».

Молодой Квитко торжествует: его романтизм начинает оказывать влияние и на других поэтов. Нотки такого торжества звучат и в другом письме, где речь идет о стихах Хашевацкого. Некоторые стихи последнего Квитко отвергает. Зато большое воодушевление вызывают у него стихи, в которых он находит отражение своего романтизма. Квитко пишет:

«Первое стихотворение из «Альтварг» («Старье») живое, овеженное, это старое дерево с новой корой; стихотворение дышит энергией и мужеством... Приглядишься: у тебя в «Нашем марше» — сила народная, трубный зов под стенами Иерихона. Здесь я чую у тебя боевой дух в начале восстания...»

До нас не дошли стихи Хашевацкого, о которых здесь говорится. Зато в этом письме дошел до нас голос молодого Квитко, пытающегося конкретизировать свои представления о романтизме. Мы видим, как из юношески-туманных представлений постепенно начинают вырисовываться три определенных понятия: «энергия и мужество», «сила народная» и «боевой дух». В этом для молодого Квитко заключаются высшие достоинства поэтического произведения. Это — высший критерий, диктуемый его романтизмом.

Следует при этом отметить еще одно обстоятельство: чем

отчетливее кристаллизуются эти понятия Квитко о поэзии, тем сильнее звучит в его ранних письмах и оппозиционность по отношению к господствовавшей тогда литературной моде. «Я порвал связь с писательским мирком»,— пишет он своему другу. В том же письме он повторяет, что «возненавидел дорогу ему прежде литературную среду». Очевидно, что мы имеем здесь дело не с мимолетными настроениями.

«Да, дорогой Мишок,— продолжает Квитко в упомянутом письме,— я вдруг настроился философски, ищу абсолютную истину, нашел уже и абсолютную ложь».

Эти строки стоит запомнить. Они свидетельствуют о том, что, еще только вступая в литературу, Квитко был полон здорового недоверия к официальному «литературному миру» периода первой мировой войны.

В начале 1916 года в Киеве стали переходить из рук в руки узенькие листочки, исписанные твердым, прямым почерком. Содержание их мало гармонировало с твердым почерком молодого автора,— это были полные мягкой нежности детские стихи о котенке, о выращившем арбуз мальчишке... Стихи были очень музыкальны, их хотелось петь, и чувствовалось, что эта напевность особенно дорога поэту. Она, по всей вероятности, являлась одним из средств, с помощью которых Квитко оберегал «в тиши свои любимые мечты», чтобы их «не удушили рабство и неволя». А такая опасность тогда таилась на каждом шагу — это был самый разгар империалистической войны.

В то время было не легко уберечь любимые мечты, особенно мечту о «празднике свободы». И юный Квитко боролся всеми силами за право на эту мечту, что и придавало своеобразный оттенок уже первым его детским стихотворениям. Мне помнится, какое впечатление произвело в начале 1917 года стихотворение «Жучок». Мы привыкли к тому, что в поэзии смелость и отвагу обычно символизировали большие, могучие птицы. Квитко словно решил показать, что эти качества могут быть присущи и таким крохотным созданиям, как жучок.

...Несет его, кружит
И гонит вода.
Тяжелые капли
По панцирю бьют,
И хлещут, и валят,
И плоть не дают.
Вот-вот захлебнется,
Гуль-гуль и копец...
Но смело играет
Со смертью пловец.

(Перевод С. Маршака)

В этих строках нет ни одного восклицания, ни малейшей попытки показать случай с жучком как нечто исключительное. Это очень характерно и для всего дальнейшего творчества Квитко: высокая жизнестойкость — это, по убеждению Квитко, нормальный порядок вещей.

В то время в еврейской литературе пользовалось большой популярностью стихотворение поэта Х. Н. Бялика «Под зелеными деревцами». Под этим названием стал тогда выходить даже специальный детский журнал на еврейском языке. Стихотворение Бялика было написано с большим мастерством, но, по сути дела, оно не шло дальше бессильных, полных отчаяния рыданий над судьбой еврейского ребенка. В этих тонах были выдержаны и стихи других поэтов, печатавшихся в журнале «Под зелеными деревцами». Все они были пронизаны чувством безнадежности, беспомощности, и — удивительное дело! — такими же бессильными и беспомощными выглядели в них и образы детей.

Детские стихи Квитко не появлялись в журнале «Под зелеными деревцами», и это не случайно, ибо то, что отличало их, находилось в резком противоречии как с литературным стилем, так и с идеологической направленностью всех подражателей Бялика. О какой безнадежности могла быть речь у Квитко, когда в каждом его детском образе была ключом здоровая жизненная энергия, каждое его детское стихотворение было проникнуто верой в то, что рано или поздно эта энергия вырвется на свободу. Персонажи первых детских стихотворений Квитко отличались большой внутренней устойчивостью, было видно, что они каким-то чудесным образом защищены от опасности быть «удушенными рабством и неволей». Это и означало тогда у Квитко — быть верным принципам романтизма, собирать «жемчужинки», скрытые в недрах жизни.

Л. Квитко писал тогда не только детские стихи. В том же 1917 году до Киева дошли в рукописи некоторые образцы его лирики. Не всегда эти стихи отличались поэтической зрелостью, но одна их особенность была совершенно очевидна — их внутренняя сила, здоровая жизненная энергия, ищущая выхода. Особенно примечательно было в этом смысле стихотворение «Хэврэ штралн» («Ватага лучей»). Оно служило наглядным свидетельством того, что и детские и интимно-лирические стихи Квитко идут из одного источника. Здесь, как и в детских стихах Квитко, присутствовал «легкий хмель» пробужденной силы, прилива энергии, взбодрившей поэта. Вместе с ощущением крепнущей силы у поэта крепло и желание нести эту

силу в жизнь, миру, людям. Естественно звучат в устах молодого Квитко такие слова:

Я хочу сегодня весь простор
Огласить криками,
Озарить молниями,
И каждому протянуть
Мою белую тонкую руку...

Протянутая рука поэта, братающегося со всем миром,—это было первое, что запомнилось от ранних стихов Квитко. Правда, порою в них возникал и минорный тон. В стихотворении «Мое сокровище» (1916) поэт рассказывает о том, как к нему подкрадываются «посланцы бездны», расхищающие сокровища его молодости. Такой же мотив звучит в стихотворении «Не приходи, мой друг» (1917), из которого мы узнаем, что у поэта «сейчас гости: уныние и тишина». Чувствуется, однако, что он полон одним желанием: как можно скорее избавиться от незваных гостей.

Подобные мотивы встречаются в ранних стихах Квитко довольно часто: сбросить бремя «уныния и тишины» означало для него возвратиться к самому себе, к подлинным источникам своего творчества, основным тоном которого была жизнерадостность, кипучая сила, жадно ищущая себе применения:

С великим Сегодня я связан навечно.
Дуб, друг мой сердечный,
В меня вдохнул все запахи корней.
С великим Сегодня я связан навечно.
И заступ, друг мой сердечный,
Остер, а земля сыра и богата.
И светит солнце или нет —
Меня живит просторный двор, загон,
Куда коровы сходятся со всех сторон.
А руки крепкие мои?
А сила стойких ног?
Свернуть я голову
Быку бы мог!

(Перевод Г. Петникова)

По-видимому, это стихотворение должно было служить ответом на декадентское смакование всякого рода «утонченностей». Именно поэтому Квитко так подчеркивал «биологическую» силу своего героя. Но суть, разумеется, заключалась не в биологических деталях, а в общем облике лирического героя, выступавшего носителем «энергии и мужества», за которые поэт ратовал тогда в своих письмах.

Ранние стихи Квитко свидетельствуют о том, что уже в те

годы поэт питал большую неприязнь к декадентской поэзии. Не случайны в его произведениях тех лет такие строки:

Ты приходишь с едким выражением лица
И хулишь человека и весь мир,
Ощупываешь их своими ядовитыми пальцами,
Окутываешь их облаками, и тебе становится легче,
Дешевыми радостями тешился твое сердце.
Ступай себе, ступай, я не хочу тебя слушать,
Я еще люблю голубей,
У меня еще есть слезы радости для солнечного восхода,
Чуткий слух — для шепота наивных уст
И слово восторга — для дождя.

В этих строках — весь молодой Квитко, гордящийся тем, что он не написал еще ни одного пессимистического стихотворения. В этих строках — поэт, который борется за свое право верить в жизнь.

Кровное родство поэта с народной массой яснее всего проявилось в стихотворении «Моя тревога». Это первая попытка Квитко конкретизировать свое представление о человеке из массы, из низов:

Шагает человек, обмотанный
Тряпьем и веревками.
Во взгляде — строгое терпение,
В сердце — суровое задание.
Упрямая сила в его движениях,
Он приходит ко мне
С большой, тяжелой тяжбой.

Квитко делает здесь акцент не столько на страданиях человека из массы, сколько на его «тяжбе», требованиях. Поэт так и характеризует главного героя своего стихотворения: «Далекий человек с большой тяжбой». Правда, здесь еще не вскрыто социальное содержание этой «тяжбы», но чрезвычайно симптоматично, что молодой Квитко считал своим долгом солидаризироваться с требованиями «человека массы».

Выступить в годы империалистической войны с таким стихотворением, как «Моя тревога», значило не только конкретизировать вдохновлявшую тогда поэта идею «силы народной». Это было одновременно попыткой конкретизировать и свои представления о назначении поэта.

Отличительной чертой раннего творчества Квитко была подлинная народность. Она заключалась не в использовании готового ассортимента канонизированных приемов, оставляющих впечатление стилизации. Народность его поэзии — органическая, она имеет глубокие корни, живет, развивается

вместе с народной массой, в недрах которой она возникла. Именно поэтому Квитко был в состоянии черпать из народных источников не только поэтически-нежное слово, переливающее лучами народной радости и любви, но и слова сурово-строгие, порою и гневные, в которых отражалось великое социальное беспокойство, овладевшее в те дни «сотнями тысяч сердец». Народное слово, каким оно прозвучало в ранних стихах Квитко, отличалось не только красотой, но и силой.

В стихах этого периода мы не чувствуем никакого антагонизма между тем, что поэт черпал из народного источника, и тем, что шло из литературы: в лучших стихотворениях тех лет мы видим естественное слияние обоих потоков. Это сообщало его стилю цельность и выразительность.

В поисках собственного стиля молодой Квитко вынужден был часто вступать в острый конфликт с принципами, господствовавшими тогда в декадентской поэзии. В условиях того времени такой поэт, как Квитко, мог пробиться к подлинным истокам своего творчества, лишь дерзнув категорически отвергнуть считавшиеся непререкаемыми заповеди декадентской поэтики. Такое дерзание поэт проявлял, например, в ритмическом строе своих стихов.

Выразительно в этом смысле одно из ранних стихотворений Квитко — «Рассвет», где рисуется наступление утра, те его мгновения, когда в полумрак комнаты врываются первые солнечные лучи. Вместе с ними врывается в стихотворение и новый, характерный для Квитко ритм. Песня о рассвете превращается в песню о пробужденной воле.

В том же направлении шла у Квитко работа над поэтическим образом. Поэты-декаденты были страстными сторонниками усложненной образности, но при этом неизменно сказывалась их оторванность от действительности, их отрицание того несомненного факта, что именно из этой действительности черпает свои краски поэт. Льву Квитко эти антиреалистические тенденции были чужды. Даже явная «мечтательность» ранних стихов Квитко не мешала ему оставаться подлинным реалистом.

Реалистическая сущность поэзии Квитко выражалась преимущественно в стремлении сообщить образному слову осязаемость, вещественность, телесность. Своеобычность этих стихов в том, что в них настроение приобретает физическую осязаемость, воплощается в конкретные образы. Так происходит с «радостью молодости» (в стихотворении «Мое сокровище»), которая уже в первых строках начинает принимать

зримые очертания. Точно так же становится пластическим образом и тишина в стихотворении «Молчание».

И еще одну особенность следует отметить в ранних стихотворениях Квитко: каждый раз, когда он стремится усилить идейную нагрузку произведения, он активизирует и свои изобразительные приемы, прибегая к методу подчеркнутого рисунка, пользуется более яркими красками. Так постепенно формируются стилевые особенности поэта, ставшие столь характерными для его творчества дальнейших лет.

Октябрьская революция застала Квитко уже не в его родном местечке, а в столице Украины — Киеве. «Голосковский поэт, музы помощник», как говорит о себе Квитко в одном письме, сразу очутился в центре грозных революционных событий. Он должен был определить свое место в создавшейся обстановке, должен был со всей серьезностью задуматься над вопросом о правах и обязанностях поэта.

Оставаться верным прежнему «романтизму» было невозможно, так как эти юношески туманные представления не могли устоять перед натиском новой действительности. Октябрьская революция оказалась не только «праздником свободы», как это себе раньше представлял Квитко, но и длительной, ожесточенной битвой. Слово революционного поэта должно было стать боевым оружием, служить героическим народным массам. Стало ясно: время «первоначального накопления» сил миновало для Квитко, настала пора применить эти силы.

«Мы — те, кто оценивает», — писал Квитко в одном стихотворении того периода. Резкая, решительная оценка явлений действительности начинает в самом деле занимать видное место в послереволюционной поэзии Квитко. Но значило ли это, что стихи его должны были отойти от своей лирической первоосновы, что они должны были отказаться от живописания настроений, к которому так влекло молодого Квитко? Перед ним вставали тогда и другие вопросы. Лучшие советские поэты того времени всегда подчеркивали свою неразрывную связь с действительностью, но значило ли это, что поэт должен отказаться от права говорить голосом мечты, который был так дорог молодому Квитко? И еще: могут ли в советской поэзии, которая создается в ходе битвы, найти применение морально-этические критерии раннего творчества Квитко?

Ответа на все эти вопросы Квитко не мог в первое время найти. Неопределенность угнетает поэта, он начинает чувствовать, что отстает от хода событий, и с глубокой, нескрываемой болью пишет о себе:

Проходят толпы, проходят облака
Мимо меня, постороннего, маленького,
Мне места нет ни у плетня, ни у дороги,
Ни в бою, ни в суете рынка,
Никому я не могу быть спутником...

Эта подавленность наложила свой отпечаток на ряд стихотворений, относящихся к 1917 году. Но уже и тогда в некоторых произведениях Квитко слышен другой, более уверенный тон. В стихотворении «Тракт широк» изображается массовая демонстрация в большом городе: посреди улицы марширует беднота, рабочий люд, а в стороне, оттиснутая на край тротуара, жмется буржуазная публика; поэт, находящийся в рядах бедноты, чувствует на себе злобные взгляды тех, кто «желает нам скорой гибели». И вот в этот момент происходит нечто неожиданное:

...Из дворов и домов,
Из ворот, квартир, подвалов и ям
Перебегают к нам
Дети, дети!
Радость во вздернутых личиках,
Звонкие голосочки —
Они подбирают шаг
В такт с маршем масс...

Дети, «перебегающие к нам», были для Квитко подтверждением правды, которую несет с собою революция, утверждением той социально-этической силы, которая проявлялась в могучем марше трудовых масс. И это становится для Квитко первой приметой советской поэзии: она воспевает высокий моральный закон, великую правду революции.

Поэзия Квитко хочет быть поэзией этого массового марша. Она будит, она воодушевляет, звучит как призыв. Одно стихотворение того времени так и называется — «Мой призыв». С полным правом можно было бы дать это название и ряду других стихотворений, написанных Квитко в те дни:

...Пойдем, защитим ребенка!
Ад наступает с громом и молнией
На наше дитя,
На его завтра!
Пойдем, мы — полмира,
Защитить ребенка
И отстоять его!

От стихотворения к стихотворению усиливается у Квитко политический акцент, отчетливее выявляются элементы политической сатиры. И характерно: во всех этих произведениях,

пронизанных таким острым чувством современности, часто слышится голос мечты, возникает поэтическое видение будущего.

После ружья
И после меча,
После свергнутого ига,—
Свободной будет новая земля
И силою богата.
Осенит великий дух
Бревенчатую мастерскую,
И новый станок, сверкающий станок
Благословит освобожденный труд.

Видение будущего органически входит в революционную поэзию Квитко, и сам собою решается вопрос о праве советского поэта говорить языком мечты.

Квитко все больше освобождается от имевших тогда хождение ложных представлений о советской поэзии как о поэзии «публицистической», игнорирующей все богатство душевной жизни и отрекающейся от «личностной» правды во имя правды «массовой».

Не удивительно поэтому, что в стихотворении «Мой призыв», рисуя революционную страну, где «над руинами светает», Квитко считает также необходимым передать «весточку» и о себе:

...Эй, товарищ,
Ты ждешь весточки обо мне?
Так слушай:
Никогда я еще не был так пленен,
Никогда я еще не был так оглушен!
Товарищ мой!
Я никогда еще так не любил!
Я никогда еще так не верил!

Такие «весточки» о себе нередки в тогдашних стихотворениях Квитко. Они свидетельствуют о том, что поэт никоим образом не отказывается от лирической первоосновы своего творчества. Так, практически постигая сущность и задачи советской поэзии, Квитко приходит к созданию лучшего своего произведения тех лет — поэмы «В красном вихре».

Поэма издана в 1918 году, в начале гражданской войны. Был ли поэту полностью ясен смысл событий, изображаемых в его поэме? Нет, далеко не все еще было тогда ясно молодому Квитко. Тем не менее поэт был целиком захвачен революционными событиями, всем своим существом потянулся к массам, защищавшим с оружием в руках завоевания революции.

В изображении этих масс и заключается основное достоинство поэмы «В красном вихре».

В этой поэме ощутимо влияние поэмы Александра Блока «Двенадцать». Правда, о Квитко никогда не скажешь, что он подчинился чьему-либо влиянию. Соприкосновение с творчеством другого поэта никогда не влекло за собой у Квитко растворения, утраты поэтического своеобразия. Все же влияние Блока ощутимо в стремлении сочетать политический плакат с интимнейшей лирикой. Есть что-то блоковское и в тех местах, где Квитко стремится проследить, как искорка, зародившаяся в душе одного человека, становится частицей могучего пламени, которое Блок называет «мировым пожаром».

Однако в основу своего произведения Квитко положил свой собственный жизненный опыт, который еще в ранней его молодости слился с опытом широких масс. Это-то и явилось источником творческой инициативы, столь ярко воплотившейся в поэме «В красном вихре».

Главные герои поэмы, как уже сказано, не имеют имени, тем не менее они обрисованы настолько отчетливо, что уже с самого начала нетрудно увидеть: это образ той «силы народной», который витал перед глазами поэта еще в 1916 году, когда он писал о «человеке с великой тяжбой». Тогда Квитко не был еще в состоянии вскрыть социальную суть этой «тяжбы». Теперь время для этого настало. Все, что затаенно жило в сознании масс, вся их вековая ненависть к угнетателям, их решимость раз навсегда покончить со своим рабством — все это сейчас вышло наружу.

Одна из главных идей поэмы Квитко — это идея пролетарского интернационализма, братства народов. Она пронизывает все существо героев Квитко, помогает им преодолеть предрассудки, коренящиеся в прошлом, порвать с привычками и обычаями былых времен. Поэма «В красном вихре» явилась первым в еврейской поэзии произведением, показывающим рождение чувства интернационального братства, той товарищеской любви, которая возникает в огне совместной борьбы против угнетателей.

Поэма «В красном вихре» показывает, что Квитко не закрывал глаза на трагические испытания народных масс, которым пришлось немало выстрадать в годы гражданской войны, немало претерпеть от иностранных интервентов и их внутренних пособников. Поэт ни на минуту не забывает об этих народных страданиях, но, повествуя о них, остается верным своему романтическому оптимизму.

При чтении поэмы перед нами возникает картина «великой разрухи». Мы видим «дымящиеся развалины» городов и деревень, мы внемлем «стону земли опустевшей, стону полей одичавших». Мы слышим вопли матерей, «влачащих своих убитых сыновей». Но героям Квитко присуще, по выражению поэта, одно свойство — умение «чувствовать солнце». Это замечательное свойство не оставляет их даже в самые тяжелые минуты:

Проникает солнце сквозь все проломы,
Идет за нами вслед.

Отсюда своеобразный колорит поэмы: как бы ни было мрачно зрелище «великой разрухи», мы неизменно видим «куски солнца», перед нами возникают светлые перспективы будущего, нас захватывает оптимизм, живущий в глубинах народных масс.

Поэма «В красном вихре» была первой в еврейской поэзии попыткой создания образа советского человека. Большое принципиальное значение поэтому имел тот факт, что поэт стремился к реалистическому методу изображения человека. Страстно борясь против какой бы то ни было риторики, Квитко ставит читателя непосредственно лицом к лицу со своими героями, в чьих монологах предельно обнажается их внутренняя жизнь.

Ощущение того, что «нет пути назад», характеризует ряд сцен в поэме, именно сцен, ибо здесь драматургически наглядна напряженная внутренняя борьба героев Квитко. Но как бы напряженна ни была эта борьба, побеждает в ней революционное сознание, революционная воля. И это определяет весь характер поэмы: будучи насквозь реалистической по изображению героев, она в то же время является подлинно героической песнью о «силе народной».

Сокращенный перевод с еврейского Я. Эдельмана

Квитко Леонович. Замысловатый поэт

В детской литературе немало событий.

Большинство из них — радостные [...].

...Великую радость принес нам Л. Квитко. Когда на первом совещании о детской книге в ЦК ВЛКСМ я впервые произнес это имя, оно было почти никому не известно. Мне пришлось читать «Письмо Ворошилову» по-украински, потому что не существовало еще русского перевода. Теперь в Детиздате выходят два сборника его стихотворений в переводе на русский язык, и для этой работы сплотился очень сильный коллектив поэтов-переводчиков (Е. Благинина, Т. Спендиарова, Е. Тараховская, Н. Сидоренко, С. Погореловский и др.).

Мне, давнему почитателю таланта Л. Квитко, казалось, что в прежних своих произведениях он, так сказать, уже «достиг потолка». Но в нынешнем году он превзошел себя. Его «Колыбельная», которую прочитал он на днях на совещании о детской книге, конечно, выше всех его творений. Эта «Колыбельная» замечательна тем, что ее поет не мать ребенку, а ребенок — матери. Ребенку лет пять, не больше. Его песня — типичный монолог, вроде тех, которые пятилетние часто произносят во время игры. Воспроизводя этот монолог, Л. Квитко еще раз показал себя большим знатоком детской психики. В подобных монологах почти всегда фигурируют страшные звери и всякие могучие враги, с которыми автор монолога всегда справляется победоносно и героически-смело. Мальчик поет в «Колыбельной» (к сожалению, я должен и передать ее в прозаическом и беглом переводе):

Мамуля моя, мамуля моя!
Спи-усни, спи-усни.
Я расскажу тебе сказку о том,
Как я ходил в лес нарубить себе деревьев,

Из статей о Л. Квитко,

Потому что мне нужно было построить корабль
И поплыть по морям —
Чтобы сразиться с лютыми акулами
И наловить себе золотых рыбок.
И вот, как только пробрался я в чащу
И срубил себе дерево для корабля,
Откуда ни возьмись явился заяц
И закричал на меня яростным голосом:
«Я — владыка этого леса,
Не смей здесь рубить деревья,
А не то я тебя съем!» —
«А ну-ка, зайчишка, выходи на бой
И поглядим, кто кого».
Испугался заяц и кинулся прочь!

Потом прибежала лисица. Мальчик так же храбро расправился с нею, а потом налетели на него медведи и волки: бешутся, воют, режут —

Оскалили страшные зубы,
Хотят разорвать меня в клочья.
А какие у них ужасные пасти!
Ой, мама моя, ой, мама моя!..

Это только начало, дальше еще много приключений...

К сожалению, перевод не передает и сотой доли всей подлинности, органичности этой замечательной «Колыбельной». Главное, что она, так сказать, с натуры. Миллионы пятилетних граждан СССР от Артека до Арктики думают именно так.

Поэту удалось дать широчайшее обобщение заветных детских мыслей — и в такой обаятельной форме.

Под названием «Урожайный год» опубликовано в газете «Вечерняя Москва» 13 января 1937 г. (Печатается с небольшими сокращениями).

*

В мире нет молчаливых вещей. Каждая вещь говорит на своем языке. И все они говорят неприятности. Откроешь дверь, а она заскрипит тебе вслед:

— Шляются тут без толку!

Сядешь на скамью, а она:

— Проходи, не засиживайся!

Даже вилка, и та пристает к тебе с колкостями:

— Вымыл ли ты руки перед тем, как садиться за стол?

Обо всем этом я прочитал в детской книге еврейского поэта Лейбы Квитко. То было первое стихотворение Квитко, с кото-

рым мне удалось познакомиться. Читал я его с величайшей натугой, так как написано оно по-еврейски, а я, принимаясь за стихотворение, ни одной еврейской буквы не знал. Пришлось наскоро изучить алфавит и потом по целым часам расшифровывать каждую строчку.

Но такими причудливыми, озорными и свежими показались мне эти стихи, что не жаль было потраченных усилий.

Прочитав эти стихи, я тогда же решил, что Квитко сказочник, затейник, фантазер, и стал разбирать по складам другое его стихотворение, напечатанное на соседней странице,— «Жучок».

Неужели и его сочинил тот же Квитко? Другой голос, другая манера! Уже не сказка, не фантастика, а живая реальность: жук, который барахтается в воде под дождем. И как изображен этот дождь! Читаешь, и тебе опять восемь лет, и ты бегаешь без шапки босиком под веселыми теплыми каплями:

А регн! А регн!

Итак, Квитко — поэт природы?

Но вот третье стихотворение на соседней странице: «Письмо товарищу Ворошилову»,— неужели оно написано тем же поэтом? Как, однако, он разнообразен, этот Квитко! Тема «Письма тов. К. Ворошилову» — политическая, оборонная тема. Мальчик пишет наркому письмо о своем любимом старшем брате, только что призванном в Красную Армию. Такие сюжеты требуют величайшей художественности: одно фальшивое слово, и все стихотворение окажется тривиальной дешевкой. Если бы этот мальчик стал, например, наивничать, щеголять своей детскостью, получилась бы эстрадная пошлость. Но безошибочный художественный такт внушил поэту поднять эту тему на высоту народной лирической песни. Это «письмо» невозможно читать, как стихи: со второй же строки его хочется петь, потому что вся структура его — песенная.

Автор меньше всего хлопочет о том, чтобы показать, какие трогательные и забавные письма пишут иногда наши дети наркомам. У него другая задача: обнаружить, что поется в душе у каждого советского мальчика, когда он думает о своей Красной Армии. Тут обобщение — огромное. Тут, в этой маленькой песне, сконцентрированы мысли и чувства миллионов советских ребят.

«Письмо Ворошилову» окончательно убедило меня, что в лице Квитко поэзия наша приобрела сильного и зрелого ма-

стера. Без фальши писать для детей о политике, оставаясь в то же время и лиричным и «детским», это он умеет, как подлинный поэт. Для него не существует дилеммы: или политика, и л и поэзия. Он так глубоко переживает политику, что политика становится поэзией [...].

Если бы мне пришлось воевать с уродствами современной поэзии, я, в противовес поэтическим заикам, неряхам, губошлепам и путаникам, выставил бы строгую и ясную поэзию Квитко.

Переводить эту поэзию нелегкое дело, так как она всеми корнями вырастает в богатый и сложный еврейский фольклор. Но разве мало у нас мастеров-переводчиков? Не дико ли, что такой первоклассный поэт до сих пор остается для большинства незнакомцем?

Есть у Квитко и проза. Я только что прочитал (на украинском языке) его автобиографическую повесть «Два товарища». Из этой книги я узнал, что Квитко родился в рабочей семье, что в молодости он был маляром, что ему нужно было преодолеть множество трудных преград, прежде чем он завоевал себе право на жизнь.

Книга увлекательная, жгучая, и Гослитиздату давно уже следовало бы перевести ее для русских читателей.

Под названием «Замечательный поэт» опубликовано в «Вечерней Красной газете» 2 июня 1936 г.

*

Маленьким детям [...] как мы знаем, бывает присуща обрывчатость, разбросанность чувств и мыслей. Одна из немаловажных задач воспитания заключается именно в том, чтобы сконцентрировать детские чувства и мысли и придать им компактность, целостность. Оттого-то каждое стихотворение, предназначенное для этого возраста, должно быть конструкцией геометрически правильной, выдержанной в строгих пропорциях, с точным и четким соотношением частей. Недаром все лучшие создания мирового фольклора, сотни лет бытующие в детской среде, начиная от «Ладушек» и кончая аккумулятивными сказками, построены именно так. Всюду вдохновение сочетается с математически точным распределением образов, слов и эмоций. Такая геометрия доступна лишь мастеру. Вглядитесь, например, как виртуозно, классически правильно построено знаменитое стихотворение еврейского дет-

ского поэта Л. Квитко, которое я, к сожалению, вынужден привести в переводе:

— Анна-Ванна бригадир,
Ми прийшли на скотний двір
Глянуть на маленьких
Поросят гарненьких.

— Почекай-но, дівтора,
Не шуміть, малята:
То ж мені якраз пора
Поросят купати.

— Анна-Ванна бригадир,
Ми прийшли на скотний двір
Поросят погладить,
Це ж їм не завадить.

— Почекай-но, дівтора,
Не шуміть, малята:
Поросяточок пора
Всіх нагодувати.

— Анна-Ванна бригадир,
Ми прийшли на скотний двір,
Покажіть уже ви:
Білі чи рожеві?

— Почекай-но, дівтора,
Не шуміть, малята:
Укладать мені пора
Поросяток спати.

— Дуже просим, Анна-Ванна,
Дайте ми хоч оком глянем.

— Тише, тише ви, малята,
Бо послули поросята.
От коли вони проспляться,
Можно буде роздивляться¹.

Стихи чарующие: в них и нежность, и поэзия, и смех, и — большой политический смысл. Об этом политическом смысле можно бы сказать очень многое, ибо, хотя «Анна-Ванна», оберегающая с такой материнской нежностью сон и покой вверенных ей поросят, не произносит ни единого слова о священной обязанности охранять коллективную собственность, о

¹ Существует русский перевод «Анны-Ванны» («Мурзилка», 1935, № 4), но я привожу украинский (И. Кулика), так как он гораздо ближе к подлиннику. (Примеч. К. Чуковского.)

подлинно социалистических методах колхозного животноводства, — едва ли в советской литературе есть другие стихи, где эта огромная тема явилась бы в более осязательной, наглядной, неотразимо-убедительной форме, без привкуса публицистики, без газетных рацей.

Но куда годились бы эти стихи, если бы автор не построил их так, как строят мосты, пароходы, дома и баллады, — по строгому чертежу, по математически четкому плану? Вся художественная убедительность этих стихов обусловлена именно тем, что автор словно циркулем вымерил всю площадь стихотворного текста, разбил ее на равные участки и каждый участок заполнил одним и тем же словесным узором. Эта классическая правильность распределения частей и дает тот эмоциональный эффект, которого добивается автор. Во всем стихотворении восемь строф и распределены они поровну — между Анной-Ванной и детьми. Каждая нечетная предоставлена детям, каждая четная — ей. Причем в каждой четной начальные строки повторяются одни и те же:

Шпейтер, шпейтер, хеврелайт!

И в каждой нечетной тоже:

Анна-Ванна бригадир!

И это сделано не ради каких-нибудь формалистических трюков, а вызвано внутренней сущностью темы: дети так пламенно влюблены в поросят, так жадно хотят их увидеть, погладить, обнять, приласкать, что только при помощи таких упорно повторяемых слов лучше всего могут выразить всю силу своего любовного пыла. Но влюбленность Анны-Ванны несколько не меньшая, чем влюбленность детей, и потому Анна-Ванна столь же упорно повторяет свое, — таким образом забота о геометрически правильной структуре стиха сильно способствовала эмоциональной его выразительности. Я уже не говорю о том, что этот стройный порядок чередования строф облегчает детскому уму восприятие данного произведения поэзии.

Если бы эта тема попала к поэтам-небрежникам, они непременно провалили бы ее — чахлой ритмикой, тусклыми рифмами и, главное, сумбурно-хаотическим распределением частей. Не умея подчинять свое творчество железной дисциплине стиха, они придали бы всей этой теме тот раздробленный, визгливо-неврастенический стиль, к которому их понуждает их же стиховая неряшливость.

Замечательно, что в «Поросятах» Квитко очень ровное, спокойное дыхание, как и подобает монументальному произведению искусства; никаких междометий и суматошливых жестов. Без всяких охов и ахов умудрился он выразить великое свое умиление перед тем новым, прекрасным и трогательным, что подметил он в нашей действительности...

Пользоваться фольклорными, «простонародными» формами для неврастенически-шатких стихов невозможно, ибо тут эти формы выпячиваются очень уродливо, не связанные с общою системою стиля. Здесь опять-таки очень поучительны творческие методы Квитко, который из фольклора берет не одни лишь слова, а подчиняет их фольклорному ритму, фольклорному синтаксису, фольклорной мелодике:

Хто йде першим у жнива?
Бабця Блюмця!
Хто, працюючи, співа?
Бабця Блюмця!

Он знает, что народная речь звучит лишь тогда нефальшиво, когда она связана с традиционными канонами народного стиха, народной песни. И эта верность традиционным канонам нисколько не мешает (а, напротив, помогает) ему насыщать свою поэзию самой жгучей современной тематикой. Бабця Блюмця, оказывается, дружна с пионерами и вместе с ними охраняет урожай:

Наче б то и не прудка,
А дивись, усе по волі
С пионерами у полі
Визбере до колоска ¹.

Здесь для детских поэтов — великий урок творческого использования народно-поэтических форм.

Из кн.: К. Чуковский. От двух до пяти. М.—Л., Детгиздат, 1937, с. 295—301.

¹ Перевод Павла Тычины. (Примеч. К. Чуковского.)

Сергей Михалков. На всех языках



ыдающийся советский поэт Лев Квитко писал стихи на своем родном еврейском языке. Сегодня его произведения звучат в переводах на языках многих народов Советского Союза и неизменно радуют читателей. Лучшие русские поэты положили немало творческих сил, для того чтобы сохранить звучание и образность, лиричность и юмор замечательных стихов поэта большой души и высокой требовательности к себе, каким был Лев Квитко.

Лев Квитко начал слагать стихи еще в раннем детстве. Полуголодный и оборванный, скитаясь в поисках заработка по городам и селам Украины, он тянулся к роднику поэзии, как к свету, словно чувствуя, что литература станет делом всей его жизни.

Великая Октябрьская революция приняла Л. Квитко — юношу, полного надежд, — как сына и зачислила в ряды своих бойцов.

Поэт любит природу и землю, на которой человек-труженик воздвигает города, на которой шумят хлеба и цветут сады, посаженные руками мирных людей.

Есть красота рабочих рук, и эта красота,
Как наша правда велика и, как она, проста... —

пишет поэт в одном из своих стихотворений.

Народ и труд, Родина и Партия для поэта святые понятия. Все его творчество пронизано верой в победу коммунизма, и о чем бы он ни писал, взгляд его устремлен в будущее.

Лев Квитко, написавший немало отличных стихов для взрослых, был и остается любимым поэтом советской детворы. Для доверительного разговора со своими маленькими друзьями у него есть простые и сердечные слова.

— Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
Мы их не обидим,
Поглядим и выйдем.

— Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят купать пора,
После приходите!

Так начинаются стихи Л. Квитко «Анна-Ванна бригадир». Так ясно, легко и просто звучат все стихи этого поэта, пользующегося заслуженной популярностью не только у советских ребят, но и у взрослого читателя.

Поэту-переводчику, даже не знающему еврейского, родного автору языка, хорошо работается над переводом стихов Квитко. Уже самый подстрочник стихотворения располагает поэта к работе над переводом.

Стихи Квитко всегда сюжетны. Не снижаясь до примитива, не переходя на дидактику, поэт конкретен в каждом своем стихотворении, скуп на слова, богат выдумкой и крайне прост и логичен в образе своего поэтического мышления. С присутствием ему мастерством настоящего поэтического дарования Квитко открывает перед ребенком большой мир вещей и понятий, не уходя от тем нашей действительности, тем, волнующих нас в первую очередь как граждан нашей Родины.

Для каждого стихотворения поэт находит простые, легко запоминающиеся слова, четкую народную напевность.

Поэт с большой любовью пишет о животных («Барсуки», «Корова в тумане», «Бык»). Со свойственным ему юмором поэт весело и увлекательно рассказывает о чудо-тыкве, о цирке, о лакомке Лэмл.

Умный и тонкий поэт-воспитатель, Лев Квитко умеет увлечь детей смелой фантазией и веселой выдумкой. Он живет их радостями и печалится их печалью. Он забавляет их и шутит с ними, учит любить животных, цветы, деревья, плоды, птиц — и землю, на которой все это живет, растет, поет, цветет и плодоносит. Но с еще большей любовью поэт воспевает простого человека, его труд и мечты.

В дни Великой Отечественной войны, когда на долю советского народа выпало тяжкое испытание, Лев Квитко отдал на службу Родине всю силу своего поэтического дарования. В его стихах страстно звучал голос поэта-патриота, до конца своих дней остававшегося верным делу революции.

Безвременная смерть вырвала из наших рядов поэта-коммуниста Льва Квитко. Но стихи его, полные жизнеутверждающей силы, живы и будут жить.

Лев Квитко. Начало начал



Тысячи и тысячи давних, неизменных почитателей таланта Льва Квитко будут несказанно рады новой встрече с крупнейшим творением этого чудесного поэта — новой, говорю я, потому что судьба этой книги сложилась так, что на русском языке она появляется впервые лишь сейчас.

Между тем Лев Моисеевич Квитко считал роман в стихах «Годы молодые» одним из основных творческих дел всей своей жизни, отдав ему около тринадцати лет неустанной работы.

Л. Квитко родился, судя по некоторым сведениям, которые можно считать более или менее достоверными, в 1890 году. Отец его был бедным переплетчиком в подольском селе Голоскове. Безжалостная болезнь, туберкулез, истребила всю семью: и родителей, и сестер, и братьев Льва Квитко, который остался на свете круглым сиротой. В десять лет ему пришлось уже взяться за работу, чтобы хоть как-нибудь прожить. И кем он только не был!.. И на маслобойне работал, и разносчиком служил у торговца кожами, и сапожником был, и красильщиком, и подручным маляра, крася в украинских городах и селах дома, крыши, купола церквей. Учиться в школе ему не довелось ни одного дня. Но он сам постиг грамоту, научился читать и писать. И с малых лет пристрастился «выдумывать» стихи. Они складывались у него в голове уже тогда, когда он не знал еще ни одной буквы, чтобы записать возникавшие в его воображении, на голос неожиданно ложившиеся, иной раз шепотком проборматываемые строки.

Потом уже, спустя некоторое время после того, как совершилась Октябрьская революция, захватившая его величием своих идей и первых свершений, он с маленькой тетрадкой, куда были занесены его первые сознательно сложившиеся стихи, пришел к одному видному еврейскому литератору, оказавшемуся в гостях у родственника в Умани. И опытный, внимательный писатель почувствовал, что перед ним в облике

голодного, только еще нащупывавшего свою дорогу по жизни паренька раскрывается поэт редкого дарования. И вскоре Квитко получил из Киева письмо о том, что стихи его нравятся знающим людям и юный начинающий поэт имеет возможность выйти на страницы печати. В киевской еврейской газете через некоторое время появилась поэма Л. Квитко «В Красном вихре». Это было первое в еврейской поэзии произведение о свершившейся революции. В нем молодой поэт с восторгом и пленительной непосредственностью рассказал о вступлении Красной Армии в Киев.

А его уже тянуло к маленьким читателям, потому что давно в пытливых глазах ребят он увидел отражение большого, трудного, но волею освободившихся людей приводимого в новый порядок мира. И ему хотелось, чтобы дети зорче видели красу, движение и смысл окружающей их жизни и чтобы громче звучал в ней радостный детский смех. И в 1917 году вышла в свет первая книжечка стихов Льва Квитко «Лиделах», то есть «Песенки». А через год появился сборник лирических стихов Квитко, адресованных взрослым читателям, — «Шаги» («Трит»).

Он ощущал необходимость пополнить образование, добытое самоучкой. Надеялся сделать это в Берлине, куда в 1921 году перебралось еврейское издательство. Но там он быстро понял, что ему не по пути с эмигрантскими группами и их издательством; разногласия привели к полному и безжалостному разрыву с этими людьми. Квитко пришлось испытать тяжелую нужду, потом он перебрался в Гамбург, стал работать в порту, вступил в коммунистическую партию, начал подпольную деятельность. А через четыре года он смог вернуться в Советскую страну.

Жил он в Харькове, работая секретарем редакции еврейского журнала. Все неодолимее влекла его к себе поэзия для подрастающих читателей. Детские стихи Квитко стали печататься и на еврейском и на украинском языках. И вскоре он стал уже известным на Украине поэтом для детей. А в 1933 году в Харькове проводилась конференция по детской литературе, на которую приехали С. Маршак, К. Чуковский, А. Барто и другие мастера поэзии для детей из Москвы и Ленинграда. Крупнейшие литераторы, отдавшие свой талант и опыт служению детям поэтическим словом, радостно и восхищенно приветствовали Льва Квитко, поздравляя себя с тем, что, как говорится, их полку прибыло. Звучное, доброе, полное то ласкового, то немножко озорного юмора творчество

Квитко отвечало тем высоким, взыскательным требованиям, с которыми привыкли подходить к литературе для детей у нас в стране виднейшие мастера и основоположники детской поэзии. Квитко обогащал ее новыми великолепными возможностями и новыми красками. С. Маршак, С. Михалков, М. Светлов, Е. Благинина с увлечением и радостью принялись переводить стихи Л. Квитко на русский язык.

Действительно, кто у нас и среди взрослых и среди детей не знал уже в те годы стихов Льва Квитко, вроде «Анна-Ванна бригадир», «Письмо Ворошилову», «Слива», «Жених без невесты», «Десять дочерей», «Кисанька», «Скрипка», «Про коня и про меня».

Стихи Квитко, и те, что адресовались взрослым, и те, что заучивались с самых малых лет на всю жизнь миллионами подрастающих читателей, пленяли одинаково всех, как больших, так и маленьких, своей нежной мудростью, веселой добротой, очаровательной выдумкой, всегда искрившейся красками неистощимыми и ласковыми.

Он не следовал с чрезмерным послушанием за всеми меняющимися злободневными требованиями календаря, но в то же время по мыслям, по духу, по всему направлению своей жизнеутверждающей и глубоко демократической поэзии был нашим надежным соратником, нашим отзывчивым современником. И, как всякий настоящий большой поэт, он, оставаясь верным принципам национального своеобразия родного ему стиха, мастерски, изобретательно инструментируя свою поэзию приемами и интонациями еврейского фольклора (что хорошо передано и в лучших переводах его стихов на русский язык), стал поэтом интернационального звучания, выдающимся мастером общенародной советской поэзии. И прав К. И. Чуковский, который, говоря о форме стихов, о распределении строф в поэзии Квитко, сличает его с такими близкими к народному фольклору мастерами мировой поэзии, как Некрасов, Беранже, Шандор Петефи, Фергюсон, Роберт Бёрнс.

Широчайшее признание, которое завоевал Л. Квитко в нашей стране, повсеместное благотворное влияние его поэзии на молодых литераторов, ступавших на нелегкую, но благородную дорогу, ведущую к детям, участие в переводах стихов Льва Квитко на русский язык множества виднейших мастеров советской поэзии — все это может служить убедительным примером и выразительным символом той подлинной интернациональной дружбы, дух которой лежит в основе многоязыкой литературы Советского Союза.

Как было уже сказано выше, Квитко писал не только для детей, но и для взрослых, и ряд его произведений вошел в золотой фонд нашей лирической поэзии. Следует еще добавить, что талант Квитко выражался не только в поэтических строках стихов, но и на страницах художественной прозы. В 1938 году на русском языке вышла повесть Льва Квитко «Лям и Петрик». Повесть эта наполовину автобиографична. В судьбе одного из двух маленьких героев этой книги, еврейского мальчика Ляма, многое напрямую отражает черты детства самого автора. «Лям и Петрик» — это повесть о дружбе двух мальчиков, еврейского и украинского. Немало блужданий, горя, бед и приключений выпало им на долю. После многих мытарств встретились они с людьми, боровавшимися за освобождение народа. Потом и сами приняли посильное участие в революции. В повести, которая впервые была выпущена полностью на русском языке издательством «Художественная литература» в 1957 году, талант Квитко-прозаика сказался и в тонком раскрытии внутреннего духа дружбы Ляма и Петрика, и в ярком изображении быта маленького местечка, и в обрисовке людей трудовой и революционной жизни.

Но значительно более широко охвачен в чем-то перекликающийся с этой книгой по времени и духу историко-бытовой материал, которым был обогащен жизненный опыт поэта, в стихотворном романе «Годы молодые». В этом фундаментальном, написанном с большим эпическим размахом и в то же время опирающемся на великолепно рассмотренные точнейшие бытовые детали произведении рассказывается о некоем Шимке-Шимоне, который на наших глазах, от главы к главе, превращается из долговязого, загнанного нуждой рабочего подростка в настоящего бойца революции, человека с просветленным умом и душой, окрыленной высокими идеями. Шимон становится рядовым, но действенным участником революционной борьбы в первые годы послеоктябрьских событий.

В двадцати трех главах этого «романа в стихах» перед нами проходят чередой не только различные годы из жизни многочисленных, с яркой живописностью очерченных персонажей книги, но и «годы молодые» Советской власти, утверждение которой на юге нашей страны проходило подчас в жесточайшей борьбе с врагами революции и в головокружительной смене бурных, полных высокого трагизма событий.

В «Годах молодых» отчетливо ощущаются все наиболее

характерные и давно уже нас покорившие черты поэтического таланта Льва Квитко: обаятельная задушевность интонаций; мастерски построенный диалог, двумя-тремя репликами отчетливо характеризующий персонажей; безошибочная точность бытовых деталей, превращаемых в элементы внутренней поэтики повествования; простодушная живость в описании чувств и состояния молодых героев романа и рядом с этим мудрые, поэтические сентенции о времени, о народной борьбе за счастье; виртуозное использование самых неожиданных размеров и ритмов стиха, всегда внутренне оправдываемых смыслом и настроением того или иного эпизода.

И в то же время перед нами, ранее не знавшими этого произведения поэта, раскрываются и некоторые для нас новые черты его разнообразного дарования: высокий драматизм событий, нагнетаемый от эпизода к эпизоду умело и рассчитанно построенным сюжетом; широкий диапазон в захвате исторических событий; портретная убедительность в обрисовке каждого из действующих лиц, составляющих на протяжении романа целую галерею самых пестрых по внутреннему складу и социальному положению фигур. Тут и Абрам «деркарежник», и богатое семейство Майдманов, и трепетная правдолюбивая Ася, и Микита Хист — революционный вожак, и легендарный Щорс, и гайдамаки, и петлюровцы, и Шварцман — воин и поэт, и путаной дорогой идущий к революционной правде могучий Волф-Бер, и многие другие.

Воинствующему и нерушимому интернационализму людей революции, скрепленным единством идей, цели и действий, противопоставлена в романе неразборчивая всеядность связей, в которые из-за ненависти к революции готовы вступить и вчерашние хозяева еврейского местечка, и гайдамаки, и петлюровцы, и немцы-окупанты. В звериной, яростной борьбе с народом, начавшим первые годы своей новой истории, враги революции готовы уже позабыть и о национальной розни, лишь бы сокрушить ненавистного противника, поднявшего над собой алое знамя и объединившего в своих боевых рядах и Шимку-Шимона, и Микиту Хиста, и Ваню, и Павлика, и Пахома...

Почти тринадцать лет работал Лев Моисеевич Квитко над этим романом-поэмой. Он начал его в 1928 году. А лишь в июне 1941 года, буквально за несколько дней до начала войны, роман был издан на еврейском языке в Каунасе... Но он так и не дошел до читателя: весь тираж погиб в огне.

Как хорошо, что ныне, когда мы не только снова перели-

стываем с уважением и признательностью страницы уже известных нам и продолжающих свою влиятельную жизнь книг о первых годах Октября, но и с взволнованным интересом встречаем новые произведения, посвященные этой великой теме, среди последних читатель получит впервые зазвучавший на русском языке роман в стихах Льва Моисеевича Квитко, где перед нами, как говорит финальная строка, «начало начал возникает сияя».

Предисловие к кн.: Л. Квитко. Голы молодые. Роман в стихах. М., «Советский писатель», 1968.

Б. Рунин. Поэзия победных чудес

Здесь скрестились пути многих наших известных поэтов и переводчиков разных поколений. А. Ахматова и М. Алигер, Е. Благинина и В. Звягинцева, В. Потапова и Т. Спендиарова, В. Державин и М. Живов, Б. Ирнин и Л. Озеров, С. Маршак и С. Михалков, М. Светлов и Н. Сидоренко, Б. Слуцкий и Я. Хелемский — все они когда-то радостно встретились тут, под крышей этого обжитого дома. Они собрались здесь как переводчики, а следовательно — как люди, горячо любящие хозяина, построившего этот просторный поэтический дом своими умелыми, привычными ко всякому труду руками.

Хозяина звали Лев Квитко. Много лет добрый человек воздвигал здание своих мечтаний и дум с помощью стихов, которые он писал по-еврейски. Стараниями друзей стихи эти волшебным образом зазвучали по-русски и стали доступны миллионам советских читателей, людям разных национальностей и всех возрастов.

Льва Квитко давно уже нет среди нас. Не стало и некоторых его друзей-переводчиков. Но двери этого гостеприимного дома по-прежнему распахнуты перед каждым, кто нуждается в сердечной отраде и хочет согреться у огня подлинной поэзии.

Творческое наследие Л. Квитко при всем его тематическом богатстве и разнообразии поражает органичностью художественного дарования, цельностью лирического характера, воплощенного в стихе. Чтобы по-настоящему проникнуть в особенности этого характера, познать его всесторонне, надо, конечно, прочесть все им написанное. Но, как и у каждого поэта, у Л. Квитко можно найти стихотворения, особенно характерные для него, с наибольшей полнотой передающие своеобразие художественного мышления поэта, логику его метафор, строй его чувств. Одно из таких стихотворений — «Первый толчок», где, на мой взгляд, сказался весь человек, который и в личном общении так хорошо умел облечь в фор-

му милой шутки самую серьезную мысль, который через всю свою жизнь пронес ощущение праздничной первозданности мира, его радостной новизны, возбуждающей жажду деятельности.

Вот это стихотворение:

Славься, первый толчок, его гром, его дым,
Когда мир создавался
Таким молодым:
Первый конь — для езды,
Первый лев — для красоты,
Первый слон — ради шутки,
Первый луг — для росы,
Когда вместе с мужчиной была создана
Для любви, для работы, для дружбы — жена.
И ни крыльев больших,
ни железных когтей —
Только разум был дан
на потребу людей,
Чтобы мысль самолет и топор создала
Крепче острых когтей —
и мощнее крыла.
Мир лежит перед вами —
берите его,
И украсьте его, и раздвиньте его,
А за то, что с тобой
В этом мире живем,—
Славлю первый толчок,
Первый дым, первый гром!

(Перевод Б. Слуцкого)

Здесь иронически и вместе с тем философски осмыслена наивная библейская легенда. В добавление к тому, что выражено в этом трогательном гимне человеческому разуму, следует добавить, что для Л. Квитко каждый наступающий день был днем сотворения мира. Редко кто умел с такой простотой и непринужденностью, позабыв о наслоениях всяческих предрассудков и условностей, сдернуть с привычных вещей и явлений покров обыденности и вернуть им сверкающую росой первоначальную свежесть.

Поэзия была для Л. Квитко наиболее естественной формой жизнедеятельности, и это ощущение не покидает нас, знакомимся ли мы с его публицистической, философской или любовной лирикой или с его пейзажными зарисовками, читаем ли его шуточные миниатюры или так называемые детские стихи. Я говорю «так называемые» потому, что многочисленные стихотворения Л. Квитко, действительно пользующиеся давней и завидной популярностью у детей, в большинстве

своем гораздо шире по содержанию, значительнее по мысли, чем их внешний рисунок, доступный восприятию ребенка.

Помимо наглядности и занимательности, в них почти всегда присутствует второй, а то и третий план. Вернее сказать, они многозначны по своей образной сути. И, может быть, в том-то и заключается секрет обаяния этого на редкость внимательного к жизни художника, что он создает свой, особенный, насыщенный поэтическим воздухом мир, рассказывая о самых простых вещах. Он открывает перед нами широкие просторы бытия, говоря о самом обыденном явлении, даже о забавном происшествии. Поведав нам о какой-нибудь неприметной былинке, он, оказывается, незаметно подвел нас к глубокой обобщающей мысли.

И если правомерно говорить о детской тематике в творчестве Л. Квитко, то не потому, что он писал специально в расчете на уровень детского понимания, а скорее потому, что многие его стихи доставят радость и детям. А к нам, взрослым, они обернутся иной своей гранью и, в частности, позволят проникнуть в детскую душу, понять круг представлений ребенка.

Рассказывают, что знаменитый физик Альберт Эйнштейн не раз отмечал завидную особенность детского сознания, так сказать, творческий потенциал юности. «Дети,— говорил он,— отличаются от нас, взрослых, прежде всего тем, что они не потеряли способности удивляться. Они видят в каждой окружающей их обыденной вещи маленькое чудо и искренне изумляются ему. Я сам испытал впервые это ощущение, когда в детстве мне подарили компас. Потом мне не давал покоя вопрос, почему Луна не падает на Землю, но взрослые, которым я надоел с этим вопросом, не придавали ему, по-видимому, никакого значения... Тот факт, что мне самому посчастливилось открыть кое-что и, в частности, создать теорию относительности, я объясняю тем, что мне удалось в какой-то мере сохранить эту способность удивляться».

Даже в самых, на первый взгляд, наивных стихах Л. Квитко мы всегда почувствуем искренний восторг постижения, жажду открытий, постоянную готовность увидеть все на свете как бы впервые. Ту самую готовность, которую действительно можно считать счастливой привилегией лишь маленьких детей, великих ученых и талантливых поэтов.

Л. Квитко, как добрый волшебник, возвращает взрослому читателю эту, что греха таить, многими из нас уже утраченную способность смотреть на мир, широко раскрыв глаза, и

видеть всю необычность повседневного преобразования жизни, которое неприметно, но непрестанно совершается вокруг. И вдруг мы с чувством легкой печали начинаем понимать, что нас буквально окружают чудеса, мимо которых мы давно уже проходим равнодушно, и, не укажи нам на них поэт, мы бы так и проследовали дальше в своей хмурой озабоченности.

Для него все внове, он никогда не устает восхищаться множеством, казалось бы, таких обыкновенных, а если чуть пристальнее взглядеться, столь важных, полных содержания и скрытого смысла событий, из которых складывается повседневность. И это умение повсюду заметить притаившееся чудо, этот редкий дар чудесным образом роднит поэта с его маленькими героями. Не потому ли так прочна была его дружба с самыми юными читателями? Ведь она основана на полном взаимопонимании и общности поисков. Ее питает неистребимая любознательность.

Вот неуклюже барахтается в траве большой тяжелый жук. Неторопливо перебирая лапками, он с непонятным упорством силится влезть на шаткий стебелек и каждый раз, уже почти добравшись до цели, срывается вниз, «точно спелая слива», ударяясь о землю.

Но все ж он достиг своего —
Сидит на зеленой вершинке...
И вдруг распахнулись на спинке
Прозрачные крылья его.

Так вот где разгадка азарта,
Так вот чего жаждал пилот —
Высокого места для старта,
Высокого места для старта,
Чтоб крылья расправить — в полет!

(Перевод Е. Благиной)

Это стихотворение можно печатать крупными буквами под яркой картинкой, где все так интересно, где стебелек зеленый-презеленый, а жук такой огромный, серьезный и так ослепительно блестит на солнце его лаковый панцирь, так смешно торчат рожки! Это стихотворение можно печатать и в антологии философской лирики, где оно, набранное обычным шрифтом, не сопровождается иллюстрациями, тоже будет оценено по достоинству. Да будет прославлено упорное стремление к цели, непреодолимая потребность широкого, окрыляющего кругозора, самоотверженная настойчивость, отличающая все живое! — как бы говорит нам поэт.

Да, стихи Л. Квитко многозначны. Но без тени ложной многозначительности. Помимо отчетливости чисто изобразительной, нас поражает в них произвольность рождения мысли, ее ясность, простота ее словесного обличья, скромность, с какой заявляет о себе мудрость. Никакой высокопарности, никакой претензии на глубокомыслие.

Вместе со своими юными героями, вместе со своими маленькими читателями, пока они не выросли, Л. Квитко восхищается их игрушками, их лошадками, скрипочками, дудочками. Он дарит им золотую луну, упавшую в ведро с водой, в жажде припавшее к мутной луже ослепительное солнце, чудесный ножик о семи клинках, сулящий столько заманчивых путешествий «с Запада до Востока, с Севера до Юга». Но самое главное — он дарит им, и уже на всю жизнь, безотказный компас человечности и мужества, гуманности и красоты.

Многие стихи Л. Квитко перекликаются со стихами современного итальянского поэта Джанни Родари, которого мы тоже читаем с не меньшим удовольствием, чем наши дети. Но если уж искать аналогии, то еще более будет оправдано здесь упоминание имени Михаила Пришвина. Ведь природа как объект приложения человеческого разума и человеческих рук, как постоянный источник творчества, природа, всегда изумляющая нас своими скрытыми силами и ежеминутным чудом вечного обновления, своей красотой и щедростью,— одна из основных тем поэзии Л. Квитко.

Его, так же как и Пришвина, волнует высокое значение происходящих в природе процессов, ему тоже доступны ее секреты, ее большие и маленькие тайны, его тоже вдохновляют голоса птиц, повадки зверей, смена времен года, произрастание злаков и трав, созревание плодов и овощей, краски, звуки и запахи, обступающие нас за пределами нашего дома.

Поэт чувствует себя причастным ко всему, что составляет «прелесть милую земли», приволье родной страны, благословляющее человека на труд. Он пылливо вглядывается в укромные проявления вечной жизни, и здесь ему часто приходят на помощь его юные друзья. Кто-то, запямятовал уже кто, сказал, что дети лучше взрослых чувствуют природу и ближе стоят к ней, потому что они помнят то время, когда сами еще были ею. В сущности, тут в парадоксальной форме выражена лишь мысль о том, что детство еще не умеет выделить себя из окружающего мира.

Л. Квитко очень хорошо знает об этой особенности своих друзей и умеет обратить ее в средство художественной выра-

зительности. Тема детства и тема природы смыкаются в его творчестве очень тесно. В этом убеждают многие его стихи, в частности стихотворение «И снова...», концовку которого я не откажу себе в удовольствии здесь процитировать:

...Земля, отдыхая под снегом,
Легла на бескрайних просторах,
И час передышки ей дорог,
Чтоб сил набраться к весне.
И спит и мечтает во сне,
Что с нами увидится скоро.

Так спи же, земля! Будь щедра
На каждой полоске и грядке.
С тобою всегда детвора,
Она, и уйдя со двора,
Где смех, и катанье, и схватки,
Оставит на снежных коврах
Фигурок своих отпечатки.

(Перевод Б. Иринуа)

Поэту многое удалось «подсмотреть» в неистребимом празднестве жизни именно потому, что дружба с детворой сообщила его взгляду остроту и цепкость детского зрения. Нигде не погрешив против вкуса и не переступив черту, за которой художника подстерегает сюсюкающая инфантильность, он наблюдает природу вместе с ребятами, а порой и их глазами, то есть разглядывает ее как бы изнутри, и приходит к замечательным поэтическим открытиям.

Мы находим у него образы, полные глубокого смысла, внезапно заставляющие человека задуматься над фактом своего существования, осознать свою судьбу, ощутить законы мироздания, то есть, с одной стороны, почувствовать свою слитность со всем окружающим миром, а с другой — еще полнее выделить себя духовно из природы на пути познания.

Силуэт детской фигурки угадывается за большинством стихотворений Л. Квитко о природе. Но от этого они не стали «детскими», а лишь приобрели столь драгоценное в поэзии очарование непосредственности.

Родная природа — это и материал и почва его такой земной, такой жизнелюбивой поэзии, его многочисленных стихотворных пейзажей, аллегорий, натюрмортов, выразительный фон его жанровых сценок, портретов и даже воспоминаний о прошлом. Л. Квитко не только отличный пейзажист, он еще маринист и анималист. Под его пером грохочет прибор, бушуют штормы, режут быки, ржут кони, заливаются петухи, поют птицы, лают собаки, фыркают кошки, визжат поросята.

Стихотворение «В тумане» — пример той сочной живописи, которая может быть достигнута посредством поэтического слова:

Ой, куда пропала снова
Наша рыжая корова?
Опускается туман
На дороги, на дома.

Скрылась речка, скрылся луг,
И пруда не стало вдруг.
Мгла надвинулась густая,
Вот и я во мгле растаю.

Но высокая скала
Выше облака была:
Головой она тряхнула,
Мглу туманную смахнула.

Все светлее, все алее,
Все румянее скала.
Вдруг из облачной долины
Наша Манька к ней всплыла.

Вот пошла шагать по круче,
Вот вершины достает.
Ей навстречу из-за тучи
Солнце круглое встает.

(Перевод Т. Спендиаровой)

А за всем этим многообразием природы стоит человек. Лирический герой Л. Квитко отличается гармонической цельностью восприятий, полнотой чувств и переживаний, тесной связью с явлениями окружающей действительности. Он активно выражает свою колебимую веру в торжество добра и справедливости. Он совмещает в себе волю к борьбе и труду с горячей радостью бытия и неистребимой потребностью творчества.

Очень далекий от шумного красноречия, от красивой фразы и эффектной позы, он трогает нас именно своей непринужденной, ласковой пронизательностью. Его спрятанное за простыми вещами и простыми словами раздумье, его чуткая участливость и душевная деликатность сразу располагают к нему читателя. За внешней безыскусственностью этих стихов, за их мягким юмором мы чувствуем благородство душевных движений свободного и сильного человека и проникаемся к нему живой симпатией.

Нас покорают мудрое простодушие лирического героя

Л. Квитко, его отеческая отзывчивость на мельчайшие проявления жизни. Всепонимающая улыбка его всегда сдержанна, в ней больше смущения, чем насмешки. Он даже охотно подтрунивает над самим собой, как это обнаруживается в стихотворении «Про льва»:

Я с восхищеньем вижу льва:
Спокойно вскинута и хмура
Его большая голова.
Хвостом он шевелит едва.
Светлеет царственная шкура.
Вот бы ладонями покрыть
Его пылающие очи,
Чтоб трепет птицы ощутить,
Которая стремится жить
И вылететь из плена хочет.
Когда я слышу львиный рык,
Я забываю все на свете,
Я содрогаюсь... В этот миг
Мне чудится пустыни лик,
Ее густой и знойный ветер.
Люблю я льва,— поскольку он
В железной клетке заключен.

(Перевод Е. Благиной)

Стихи Л. Квитко, пронизанные солнечным светом, искрящиеся всеми цветами радуги, омытые весенними дождями и овеянные ветрами родной страны, такие прозрачные и легкие, раскрывают перед нами пылкий человеческий разум, они как бы кристаллизуют в образах большой жизненный опыт.

Но в этом опыте была не только радость бытия — были дни, полные горечи и страданий народа. В мире происходили события трагические, которые не могли не вызвать иных откликов в душе поэта и требовали от него суровых слов. Зверства фашистов, спокойно убивающих детей, нельзя позабыть, даже наблюдая повсюду возрождение жизни после отгремевшей войны. В 1945 году поэт писал:

Но есть другие сны... Они живут!..
От скорби сердце вырваться готово.
И, как на вытяжку испытывают прут,
Я каждое испытываю слово.

(Перевод Е. Благиной)

И в самом деле, неправильно было бы сводить творчество Л. Квитко к одному эмоциональному звучанию. Хотя мажорные ноты действительно звучат в его стихах наиболее явственно, тем не менее важно подчеркнуть разнообразие

чувств и переживаний поэта, богатство переходов, которое мы у него встречаем,— от мужественной скорби и гражданского гнева, проявивших себя в годы войны с фашизмом, до изящной иронии и лукавой басенной назидательности его стихотворных шуток.

Мы найдем у него стихи, отмеченные элегической проникновенностью и обличительной патетикой, мы почувствуем и отчетливо выраженный политический темперамент и доверительную интимно-лирическую интонацию. Мы повстречаем тут и балладную романтику, и бытовой юмор, и ребячью скороговорку, и строгую интонационную дисциплину притчи, и свободное стихотворное повествование, и стихи песенного склада.

В стихотворении «Колодец» есть такие строфы:

...Как светится лицо колодца, как дрожит
От звонкой болтовни в прохладе темной,
Когда с поклоном, в жажде неумной,
Ведро, танцую, по воде бежит!

.
И всадник как-то раз, издавля, приехав,
Вспотевшей лошади своей здесь дал попить,
И в гулкой глубине колодца стук копыт,
И фырканье, и плеск подхватывало эхо.

Уже по этим только строчкам можно судить о присущем Л. Квитко мастерству поэтической детали. Он замечательно владел не только изобразительностью, но и музыкой слова, что отлично почувствовал в этом стихотворении переводчик Б. Иренин. «Колодец» впечатляет как точностью передачи звуковых ощущений, так и всем своим образным строем, атмосферой свежести, душевного здоровья. Здесь выражена огромная, ни с чем не сравнимая радость художника, чувствующего, что он приносит отраду людям, что в нем нуждаются, что он удовлетворяет сердечную потребность своих читателей. А это и есть источник вдохновения!

Колодцу по сердцу, когда берут в нем воду,
Когда ведро, гремя, спускается на дно,
Где, жесткою губой впиваясь в грунт, оно
Зовет студеным ключом из мрака на свободу.

Эти стихи о скрытых силах поэзии. Их надо уметь вызвать к жизни. Они требуют от поэта постоянной творческой траты, постоянной реализации себя на пользу жаждущему правды человечеству. И они гложут, если перестают приносить пользу.

Л. Квитко был щедрый художник. Он тратил себя в поэзии широко и привольно, и эта щедрость в свою очередь вознаграждала, внутренне обогащала его. Ведь он больше всего хотел, чтобы каждое новое стихотворение возвращалось к нему сердечной признательностью простых людей.

Вот почему этот человек с приветливой улыбкой и веселыми искорками в глазах, такой скромный, пожалуй даже застенчивый в жизни, сумел оставить нам в наследство так много света, так много искусства. Его творчество само стало повседневным чудом нашей многонациональной поэзии. Оно может служить убедительным свидетельством реалистического полнокровия и нравственной чистоты советской литературы.

«Дружба народов», 1957, № 9.

Р. Рубина. Большой мир детства



ил-был мальчик, облаченный в длиннополый кафтан «на вырост». И башмаки на ногах у него были слишком просторные, и шапка с надтреснутым козырьком налезала ему на глаза. Худенькое тело мальчика пробирал мороз, когда он зимним вечером с фонарем в руке возвращался после жестокой порки из хедера. А дома его поджидали нужда и строгие религиозные запреты. Ни тепла, ни ласки. И все же мальчик проказничал, мальчик смеялся. «Чем больше его били, тем больше он смеялся, и чем больше он смеялся, тем больше его били».

Этот мальчик живет и поныне в грустных и улыбчивых рассказах Шолом-Алейхема об омраченных праздниках, о несбывшихся детских мечтах. А до Шолом-Алейхема над судьбой мальчика задумывались и Менделе-Мойхер-Сфорим и Линецкий¹. Ибо ребенок — это будущее народа.

Прошло несколько знаменательных десятилетий, и голос ребенка зазвучал в еврейской литературе, и прежде всего в творчестве Льва Квитко, по-новому — свободно и уверенно. Когда «Кисанька» только появилась в печати, мне довелось услышать ее с эстрады, в первый раз в исполнении дебютантки минской театральной студии, второй раз — московской. Творчество Квитко сразу полюбили актеры. Вначале его читали, конечно, только в оригинале. Помнится, меня поразила удивительная ласковость в голосах юных актрис, читавших «Кисаньку». Вместе с тем звучало в их исполнении торжество самоутверждения ребенка. Я думаю, эти исполнительницы правильно поняли поэта.

«Конфликт» между ребенком и взрослым в стихотворении «Кисанька» чрезвычайно мирный, и кончается он победой ребенка. Потому что и семья здесь иная, и атмосфера, и душевное состояние героев соответственно изменились. Ребенок, который был призван к жизни воображением поэта Льва Квит-

¹ Классики еврейской литературы.

ко и остался жить в его произведениях, громогласно заявил обо всем, что ему мило. Он обрел право на радость.

Сам поэт в детстве был, наверно, больше похож на героя Шолом-Алейхема, чем на своего героя. Но это несколько не помешало перевоплощению поэта. Квитко шел в своем творчестве не рядом с ребенком, смотрел на него не со стороны. Он жил его жизнью, видел мир его глазами. Вот это и дало поэту возможность создать не просто стихи для детей, но и своеобразную философскую лирику детства.

В своей «взрослой» лирике Квитко писал: «Юность — мое величайшее сокровище». Это «величайшее сокровище» поэту удалось сохранить на всю жизнь.

Когда Квитко вступил в литературу (в самом начале революции), его творческая индивидуальность произвела впечатление крепкого растения, пустившего глубокие корни в землю. Неорганичное для поэта влияние символизма очень скоро перестало ощущаться в его творчестве. Для Квитко с самого начала была характерна конкретность образа, вещность, реалистическая достоверность пейзажа, эпичность в лирике и широкое использование народного творчества. В поэме «В красном вихре» (1918) находит свое выражение не просто брожение юных сил («Я бы сокрушил быка») — сильный человек, пахнувший землей, выступает здесь как борец против всего отжившего, косного, мешающего преобразованию жизни народа.

Редкостная непосредственность восприятия, интимность в отношении к вещам и людям, влияние фольклора, который всегда бывает, как дитя, одновременно и наивным и мудрым, — все эти свойства поэта сделали для него детскую тему органичной. С самого начала своего творчества Лев Квитко создавал, наряду со «взрослой» лирикой, стихи для детей, сохраняя в них очарование юности и осязаемой реальности, свойственное всему его творчеству. Фольклорность Квитко определила стиль его детских стихов. Для «взрослой» лирики поэта характерны те же типично фольклорные повторы, юмористические концовки, эпичность, что и для детских стихов. Всюду поэт сохраняет свое ясное, добродушно-улыбчивое отношение к жизни. Правда, Квитко чрезвычайно разнообразен в своих темах, образах, художественных приемах. Здесь, однако, мы разбираем только ту сторону его творчества, которая имеет непосредственное отношение к стихам для детей.

В дореволюционной еврейской литературе один лишь И. Л. Перец под конец жизни создал маленький цикл стихов для детей. Если для Шолом-Алейхема ребенок — это скорее

объект изображения, чем адресат, то для Переца ребенок — только адресат. Занявшись во время первой мировой войны материальным устройством детей беженцев, писатель стал сочинять для них стихи. В этих стихах ощущается определенная заданность. Всюду незримо присутствует взрослый — писатель, который ставит себе благородную цель скрасить существование своих голодных питомцев забавными историями. Квитко чужда всякая заданность, как неприемлема для него и дидактика. Именно поэтому ему сопутствовала величайшая удача. Поэту удалось осуществить в области детской литературы лучшие мечты еврейских классиков — все его творчество дышит сознанием раскрепощенных сил народа.

Поэт знал, что «колодцу по сердцу, когда берут в нем воду». Когда случилось так, что колодец был оставлен, «ясное лицо покрыли плесень, мох, и стала гниль точить его живые силы» (перевод Б. Иренина). Квитко в полной мере черпал из народного колодца его живительную влагу. И творчество поэта в свою очередь будило «подземные источники» и множило силы народа. Мечта об органичном единении ребенка с природой, мечта о свободном проявлении личности ребенка превратилась в действительность и расцвела в поэзии Квитко.

Каждый малыш хочет стать поскорее взрослым. В своем росте он осваивает не только вещественный мир, но и общественные идеалы своей эпохи. Это для ребенка так же естественно, как его игры, как любовь к матери. Гражданственность ему не навязана, не находится в какой-то особой плоскости:

Я скачу назад, домой —
Ветер не угонится!
Я учусь, расту большой,
Я с Буденным быть хочу,
Буду я буденновцем!

(«Когда я вырасту». Перевод М. Светлова)

Вот в этом-то и заключается прелесть детских стихов Квитко. Предоставив полную свободу «синей птице» детской мечты, поэт создает образ современного гармоничного ребенка, действующего (только в действии дети познают жизнь) в совершенно конкретной, реальной обстановке. И сама эта реальность оставляет большой простор для полета фантазии.

Каждый ребенок у Квитко в той или иной степени фантазер. Он часто видит наяву то, чего в действительности нет.

Играй, играй же, скрипочка!
Трай-ля, трай-ля, трай-ли!

Звучит по саду музыка,
Теряется вдали.

И воробьи чирикают,
Кричат наперебой:
— Какое наслаждение
От музыки такой!

Задрал котенок голову,
Лошадки мчатся вскачь.
Откуда он? Откуда он,
Невиданный скрипач?

Трай-ля! Замолкла скрипочка...
Четырнадцать цыплят,
Лошадки и воробушки
Меня благодарят.

(«Скрипка». Перевод М. Светлова)

Чудесная скрипочка сделана из старой коробочки. И маленькому скрипачу только кажется, что все зачарованы ее звуками. Таким же мечтателем является и герой «Колыбельной», воюющий с грозными обитателями лесов и морей, и маленький машинист, увлекшийся игрой настолько, что предлагает своей матери посадить стынувшую кашу в вагон или выслать ее по телеграфу.

Маленький фантазер не признает мертвой природы. Все окружающее он наделяет жизнью. Оживают привычные предметы домашнего быта:

Вещи все на разный лад,
Как живые, говорят,—

думает маленький Яша, у которого очень сложные отношения с дверью, со стулом, а больше всего с вилок, требующей, чтобы он мыл руки перед едой, и мальчик расправляется с ней таким образом:

Яша сердится: «Опять,
Длиннозубая, ворчать?
Не хочу с тобой водиться!» —
И воткнул ее в горчицу.

(Перевод Е. Благиной)

Ребенок-мечтатель выступает у Квитко в конкретных социальных связях. Тонкий юмор поэта дает почувствовать читателю грань между мечтой и реальностью. Той же цели служат и диалоги между детьми и взрослыми, а Квитко — исключительный мастер диалога («Танкист», «Машинист», «Анна-Ванна бригадир», «Милиционер» и др.).

Язык вещей, явления живой и мертвой природы предстают в стихах Квитко самым неожиданным образом, как будто их породило детское воображение (это в равной мере относится и к «взрослым» и к «детским» его стихам). Поэтому природа выглядит у него такой девственной, первозданной. Она полна прелести первого непосредственного узнавания. И именно благодаря этому Квитко не является чисто «детским» поэтом даже в своих детских стихах. Как бы дети ни любили Квитко, как бы они ни зачитывались его произведениями, они все же не могут постичь всей их глубины, в то время как взрослого бесконечно волнует очарование детства, ожившее под пером настоящего, умного художника. От поэзии Квитко веет такой чистотой, что читатель самого себя начинает видеть ребенком, вспоминать собственное детство.

Неловкие шаги маленького человека по огромной земле... Что может быть привлекательнее первой встречи с загадкой, поставленной жизнью («Лошадка»), и радости первой преодоленной трудности, пусть даже это выражается в самостоятельном переходе через лужицу («Ясли на прогулке»). А первое «здравствуйте», от робости посланное вдогонку чужой тете, — какой гордостью это преисполняет девочку, решившуюся на такой смелый поступок («Здравствуйте!»). Любопытная деталь: почти все рассказы еврейской литературы о детях — это рассказы о мальчиках. В нищем и аскетическом быту девочка как бы не принималась в расчет, ее можно было заметить разве лишь в роли няньки младших детей. Исключение в этом плане составляют некоторые произведения о детской любви. Достаточно вспомнить шедевр Шолом-Алейхема «Песнь песней». Но и здесь — монолог мальчика.

Дети дошкольного возраста, принято считать, малочувствительны к красотам природы. Статичный пейзаж, каким бы прекрасным он ни казался взрослым, редко привлекает ребенка. Для того чтобы полюбить какое-нибудь явление природы, ему необходимо видеть его в действии, в движении, он должен чувствовать, что это явление имеет непосредственное отношение к нему.

Квитко удалось показать и «ребенка в пейзаже» — и пейзаж, доступный восприятию самых маленьких. В изображении природы и животного мира Квитко берет самое изначальное, простое, близкое и, поэтизируя его, поднимает до большой художественной высоты.

Приспособляется ли в данном случае поэт к детскому сознанию, снисходит ли он к ребенку, создавая некую специ-

фически-детскую пейзажную лирику? Нет, ни в коем случае. Квитко пишет всегда так, как чувствует; создается впечатление, будто он не задумывается, для какого читателя предназначено его произведение — для большого или маленького, — и именно поэтому у него и получается литература для всех, даже когда он пишет о детях и для детей.

Для иллюстрации этой мысли можно было бы сослаться на стихотворение «Слива», где в полушуточной форме проявляется характерное для поэта отношение к природе. Здесь уместно сказать о великолепном переводе этого стихотворения Е. Благиной. Оговорюсь заранее, что с переводами на русский язык Квитко вообще повезло. Случайных или же явно неудачных переводов мало. Творчеством Квитко занимались в основном поэты, любившие и понимавшие его. Они приложили все усилия к тому, чтобы выявить своеобразие его стиля. Каждый из них выбирал то, что ему ближе всего, и это в значительной мере обеспечило высокое качество переводов. Так, Е. Благиной, С. Маршаку, М. Светлову особенно сродни поэтичность Квитко, его мягкий юмор. Т. Спендиарова особо прочувствовала эпический строй его поэзии. С. Михалков бережно сохранил внутреннюю динамику стихов, в его переводах прекрасно звучит диалог. Ну, конечно же, есть переводы и послабее. Так, «Кисанька», в переводе С. Погореловского звучит несколько слащаво, а это совершенно чуждо автору стихотворения. О явных срывах здесь говорить не стоит. Они редки.

Лучшие переводы Квитко следует рассматривать как «поединок» между поэтом и его переводчиком, что неизбежно при встрече разнородных творческих индивидуальностей. Во всяком случае, такой поединок в переводе всегда плодотворнее убогой старательности и буквалистской точности. Слов нет, если бы поэты знали язык подлинника (большинство из них переводило Квитко по подстрочникам), потерь было бы меньше. На русском языке Квитко все же несколько излишне благообразен, приглажен. В оригинале он проще, свободнее, стихийнее и, если можно так выразиться, простонароднее. Больше всего, конечно, пострадала в переводе фольклорная струя в творчестве поэта, а тем самым и национальные особенности, хотя и в этом плане многое достигнуто.

А теперь вернемся к стихотворению «Слива». Можно ли найти здесь основания для претензий к переводчице? Можно. У Л. Квитко четырнадцать строк, у Е. Благиной — шестнадцать. У автора стихотворение названо весьма прозаично:

«О сливах». Просто разговор о сливах. У переводчицы — «Слива». Собирательное, торжественное название, дающее переводчице возможность для несколько «классической» обработки стихотворения, построенной на изящных аллитерациях. При всем том «Слива» остается шедевром переводческого искусства. Отойдя на некоторую дистанцию от оригинала, Е. Благинина как бы с другого конца проникла в самую его сущность. Здесь нельзя не увидеть то открытие, которое сделал Квитко в поэзии для детей, да и не только для детей. В стихотворении узнается «дерзкий поэт», сказавший свое слово о простой сливе, о веселом жучке, избежавшем опасности, и о многом другом, обычном и чудесном. Последними двумя строчками, переведенными с невозможнейшей точностью, перевод как бы закрепляет поэтические акценты Квитко, его добрую иронию.

А вот случай со «Скрипкой», одним из лучших стихотворений Квитко. Оно, пожалуй, при полном отсутствии этнографических реалий, одно из самых национальных в творчестве поэта. Скрипка в еврейском быту была королевой музыки. На ней играли народные самородки, чаще всего и не подозревавшие, что есть еще на свете и такие музыкальные инструменты, как, скажем, пианино. Под звуки скрипки люди обливались слезами, под ее звуки те же люди кружились в веселом танце на свадьбах. Мальчику, смастерившему из сломанной коробки скрипку, которая в его воображении запела и заморозила все вокруг, что-то передалось в наследство от самородка-музыканта. Недаром стихотворение — как в подлиннике, так и в переводе — было неоднократно переложено на музыку.

Существует, как мне известно, два перевода стихотворения «Скрипка». Достаточно привести несколько строк из того и другого, чтобы убедиться, насколько оба они удачны и близки к оригиналу.

У Е. Благиной, как и у автора, мальчик убежден:

Наверно, все засмотрятся
На скрипочку мою.

Скрипка готова. Мальчик видит в ней совершенство:

И все хотят по скрипочке
Хоть раз провесть смычком.

У М. Светлова, опять же, как и у автора, то же мальчишеское:

Никто еще не видывал
Подобного смычка.

Такая вышла скрипочка —
На свете нет такой.

А под конец получилось вот что: поэт Светлов, замороженный музыкой поэта Квитко, добавил от себя две строфы. Их нет в подлиннике, но они удивительно в него вписались, думаю, что с благословения, а может быть, и при участии автора. Тут уж ничего не поделаешь. Так и будет жить изумительная «Скрипка» Квитко в оригинале по-своему, в светловском переводе несколько по-другому. Невозможно не ощутить благодарности к автору перевода за пронзительную поэтичность заключительных строк. Из песни их не выкинешь:

На высоком дереве,
Посреди ветвей,
Тихо дремлет музыка
В скрипочке моей.

Не где-нибудь, а «на высоком дереве, посреди ветвей». Переводчику здесь словно бы жалко расставаться с музыкой самого Квитко, которой поэт так щедро озвучивал природу.

Квитко и не пытался чем-то удивить читателя. Он сам удивлялся, все заново и заново открывая природу. Это и создает впечатление, что он смотрит на природу глазами ребенка. Но какие это глаза! Только большому и мудрому поэту дано увидеть глухую ночь, которая «приходит, ветром громыхая», «верша разбойничий налет»:

Ржут кони,
Гнутся тополя,
И разверзается земля.

И тут же:

Но за ночь ветры отзвучали,
А утром все полно печали.
На мокрый опершись плетень,
Стоит осенний первый день.

(«Первый осенний день». Перевод Е. Благиной)

Осенняя печаль — совершившееся в природе чудо. Но в той же природе совершаются и чудеса совсем иного рода. Вот все окрестности окутал туман. И вдруг в нем всплыла пропавшая было рыжая корова:

Вот пошла шагать по круче,
Вот вершины достает.

Ей навстречу из-за тучи
Солнце круглое встает.

(«Корова в тумане». Перевод Т. Спендиаровой)

Конечно же, несмотря на очень стройное, единое мироощущение поэта, есть все же принципиальная разница между такими стихами, как «Первый осенний день» и «Корова в тумане». Возможно, что в солидном посмертном издании Квитко на русском языке нужно будет как-то по-новому расставить акценты, что частично уже сделано в издании на еврейском языке (Л. Квитко. Избранные произведения. «Советский писатель», 1967). Назрела настоятельная необходимость в появлении большого однотомника, где были бы собраны все лучшие произведения Квитко.

В наиболее известных, издававшихся на многих языках стихах Квитко для маленьких зрелое, философски-осмысленное мироощущение поэта органически сочетается с чистотой и наивностью детского восприятия. Мир простирается перед ребенком неизмеримо большой и подчас непонятный. Едва успеешь удивиться одному чуду, как его сменяет новое:

Вот лошадь трусцой пробежала,
Под нею земля задрожала.
Трава из-под камня растет.
И вдруг из открытых ворот
Ручей выбегает, сверкая.

(«Ясли на прогулке». Перевод Е. Благиной)

Все это загадки жизни, их надо разгадать и «освоить». Ведь герой «Лошадки» глубоко переживает свою беспомощность перед удивительным всезнайством соседа, который, не видев лошадки, знает, что у нее четыре ноги («Лошадка»), а мальчик, посадивший в землю арбузное семечко, весь поглощен разгадкой тайны возникновения и роста:

Что это: сказка, песня
Или чудесный сон?
Арбуз тяжеловесный
Из семечка рожден.

(«Арбуз». Перевод О. Колычева)

Ответы на загадки природы ребенок часто находит — по аналогии — в себе самом. Малыш, героически преодолевший лужицу на улице, может, конечно, с большим сочувствием отнестись к жучку, который спасается на щелке от наводнения. «Чудесному скрипачу», чьей игрой заслушивается и пчела, и

кошка, и жеребята, легко себе представить петуха-фантазера, которому кажется, что весь мир им очарован, а он собирается, в сущности, только прокукарекать. Вода в колодце улыбается ребенку, рыбка в аквариуме смеется, деревьям, оставшимся осенью в саду, холодно и одиноко,— они бы охотно пошли к детям в теплую комнату, но не могут, потому что у них только по одной ноге.

Природа у Квитко веселая, благожелательная, помогающая в преодолении трудностей. Если жучок тонет, то ему навстречу плывет спасительная щепочка, зябнувшим деревьям надевают на ноги мешки, веселый медведь заботится о судьбе леса и просит зиму поскорей закутать его снегом:

Стал на цыпочки медведь,
Лапы вытянул медведь:
«Ветер, ветер, не свисти!
Тучей снежной налсти!
Все деревья запуши,
Все кусты запороши!»

(«Медведь в лесу». Перевод Е. Благиной)

В игре дети познают природу, ее закономерности и проникаются мечтой о победе над ней. Вот мальчик мечтает о том, чтобы запрячь в машину вольный ветер, другой мальчик говорит смеющейся рыбке: «Рыбка, милая, твое жилье — вода, мое — повсюду...» Даже бык, страшный бык, под которым земля гудит, сгибает свою шею перед человеком:

...Стоит бесстрашно Эзра,
Гладит бороду рукой.
Молча шею бык склоняет
Пред хозяйской бородой.
Эзра говорит: — Ты что тут
Вытворяешь, озорник? —
И с мычаньем, пристыженный,
В руки сам дается бык.

(«Эзра и бык». Перевод Вл. Державина)

У Квитко очень много стихов о природе и о животных, но главным героем его произведений всегда и везде является ребенок. Ребенок у него всегда естествен и убедителен — прислушивается ли он к журчанию ручейка, укладывает ли спать своих кукол, рассуждает ли с серьезным видом о политике.

С большой тонкостью воспроизводит Квитко психику ребенка. Убедительность детского образа достигается не посредством описаний или портретных изображений, а в диалоге, в

действии, в живой реакции ребенка на окружающее. Квитко удивительный мастер и коллективного портрета, где отдельного индивидуума как будто и вовсе нет, как в стихотворении «Анна-Ванна бригадир» или «Кузнец», — но тем не менее в этих стихотворениях, может быть, больше, чем где бы то ни было, ощущается живой конкретный ребенок, и в этом живом конкретном ребенке наряду с современными и социальными чертами есть что-то вечно детское, а стало быть — общечеловеческое. Поэт это знал и в свои сборники для взрослых обязательно включал детские стихи.

У человека, читающего подряд стихи Квитко, создается впечатление, будто он интимно познакомился со множеством детей, в то время как в действительности количество детских образов у Квитко совсем невелико. Творчество поэта напоминает в этом отношении композиции великих мастеров живописи, где человеческих фигур немного, а перед зрителем открывается целый мир. Квитко часто изображает одного и того же ребенка, не называя его по имени, в разных ситуациях, в разнообразнейших проявлениях его индивидуальности, с точки зрения различных возрастных особенностей и т. д. Стоит строгому «милиционеру» снять свою каску (она же — новая кастрюля) — и он может превратиться в расторопного «машиниста», который успевает съездить из Киева в Москву, прежде чем успела остыть приготовленная для него каша. И тот же «машинист» может, став немного постарше, написать письмо народному комиссару. Квитко дает собирательный образ ребенка, рисуя различные индивидуальные проявления его личности, и эта обобщенность становится удивительно живой и конкретной.

Квитко создал в своей поэзии красочный, маленький и одновременно большой мир, мир искрящейся энергии, неисчерпаемой изобретательности, где фантастика и реальность сливаются воедино и восхищают своей гармонией, где сокровеннейшие побуждения детской души выступают в их нетронутой свежести, где ребенок узнает себя, а взрослый с улыбкой вспоминает свое собственное детство.

Эммануил Казакевич. Диалог

Первый. Только что я прочитал сборник Льва Квитко «Новые стихи»¹ и еще полон впечатлений от пронизывающей книгу глубокой народности, от ее мягкого юмора, замечательной игры оттенков, теплоты и задушевности. Эта книга — явление в нашей поэзии. И я весьма удивлен, что критика до сих пор не сказала ни слова об этом.

Второй. Чему же удивляться? Вы ведь сами заметили, что это — явление, стало быть, общими словами здесь не обойтись... Я тоже читал этот сборник.

Первый. Ну, и что скажете? Что до меня, я уверен: эти «Новые стихи» — начало *нового* и очень интересного периода в творчестве Льва Квитко. И состоит это *новое* в том, что поэт — как лирик — уходит от себя, чтобы найти себя в других, увидеть свое «я» в судьбах других и сквозь них. Это признак зрелости, тем более что Квитко был всегда сюжетен в своей лирике.

Второй. Что вы понимаете под «сюжетностью» в лирике?

Первый. Такой способ построения стиха, когда чувство или мысль не проявляются лишь посредством узкого лирического соотношения «Я и Мир». Когда сама жизнь, кусок жизни, имеющий имя и адрес, вдруг заиграет в стихотворении всеми красками, принося лирическое обобщение.

Второй. Вы, конечно, заметили, что множество стихов Квитко звучит афористично.

Первый. Действительно. И притом афористичность здесь не притянутая, поэт не гонится за ней, она приходит в стихи естественно и органично. Афористичность Квитко не нарочита,

¹ Эта своеобразная по форме рецензия Эм. Казакевича на книгу Л. Квитко «Новые стихи» (М., «Дер Эмес», 1939) была написана для литературного альманаха «Советиш». Тринадцатый выпуск альманаха за 1941 год со статьей Эм. Казакевича был набран и сверстан, но в свет не вышел из-за войны. Перевод сделан по экземпляру верстки, хранящемуся в архиве журнала «Советиш Геймланд». Название дано составителями.

она связана со всей поэтической системой, и потому она мне приятна и дорога. Эти афоризмы лишены броскости и в то же время однообразия. Афоризмы Квитко — словно скромные цветы, но не те табачные цветы, о которых Квитко остроумно заметил, что они восхваляют свою скромность нескромными словами. Здесь не библейская мудрость, выраженная в стихах, а жизненное наблюдение, ставшее обобщением.

Второй. Мне кажется, вы словно с кем-то полемизируете?

Первый. Вы угадали. У нас есть немало поэтов, которые в последнее время страсть как увлечены формулами сентенций, и не столько глубиной, сколько претенциозностью афоризма.

Второй. Да, афористичности ради афористичности у Квитко нет. Его стихи полны здоровым ощущением настоящей жизни — из крови и плоти, каждая его картина и образ дышат жизнью.

Первый. Вы помните стихотворение Квитко «Песнь в трех частях»? Оно рассказывает о любви, физической и духовной, о полном единстве любящих супружеских сердец и кончается так:

Едино, общно, слитно, цельно...
Но смерть войдет, не постучась,—
И к каждому из нас отдельно,
И в разный день, и в разный час.
И разомкнет сомкнувшиеся руки...
Любимая, я не хочу разлуки!

(Перевод Е. Благиной)

Здесь афористичный финал не является самоцелью, а как бы вытекает из всех трех частей стихотворения, делая еще полнокровнее и человечнее чувство «единства» и «общности» двух любящих людей.

Еще одно увлекло меня в книге Квитко: это его картины природы. Природа связана с поэтом интимными узами. И он до последней жилочки чувствует ее, они беседуют друг с другом, как близкие друзья.

Второй. Можно квитковское отношение к природе характеризовать как «пансоветизм». Советская действительность проникает во все картины природы у Квитко. Возьмите стихи «Радуга», «Утром», здесь Квитко перекликается с Маяковским в чувстве природы. Хотя поэтика Маяковского не близка поэтике Квитко, но его «пансоветизация» также присутст-

вует и у Квитко. Небо, земля, утро, радуга — все это ему кажется родным, потому что земля эта — советская, небо это — советское, и мотор, гудящий в небе — советский и т. д. Поэт спаян самым глубоким чувством с советской новью.

Первый. И ко всему примите во внимание горячую убежденность поэта в непреложной красоте советской жизни. Вы помните его гневные стихи «Право и слуга», где он уничтожает тех самых «своячков», о которых писал когда-то. Или стихотворение «С моей страной», где Квитко ясно выразил свое поэтическое кредо словами: «Без родины умрет мой стих...»

И все эти стихотворения написаны с величайшей — воистину народной — простотой.

Второй. Я считаю, что страницы, написанные по народным мотивам, самые прекрасные в книге Квитко. Стихи «Любовная песня», «Хоть тресни», «Десять дочерей», «Дуэт», «Чтобы мне в печали...», «Нэха», «Жених без невесты», «Крестьянская песня», — все они являются большими достижениями поэта.

Первый. Уж не хотите ли вы этим сказать, что стихи по народным мотивам удаются Квитко больше всего? Я не могу целиком согласиться с такой классификацией. Все творчество Квитко глубоко народно. Это уже давно утвердилось в его поэзии. Но в его ранних стихах преобладала необузданная стихия народного слова, и поэт не всегда бывал разборчив, он не умел отсеять то, что ему не годилось; ему не хватало строгого поэтического контроля при отборе средств народной поэтики. Теперь я вижу в его стихах идейно-художественную чистоту языка и богатство слова. Квитко отбирает опытной рукой только то, что ему необходимо. И его поэзия пронизана народностью, но не той, какой обладает одаренный слагатель анонимных фольклорных песен, а народностью талантливого самобытного мастера. Это не народный примитивизм, а изысканная работа поэта-ювелира, основанная на чистых находках и на глубоких корнях, которыми поэт связан с народной почвой...

На меня произвел глубокое впечатление «цикл о животных», как можно было бы назвать целиком стихи второй части книги.

Второй. Да, стихи этого цикла действительно великолепны!

Первый. Сколько в них мудрости, юмора и иронии, знания повадок животных, проникновения в самую суть жизни.

Каждое живое существо имеет у него свой характер. Каждая коллизия естественна и совершенна. Возьмите такие стихи, как «Кошкина добыча», «Куда шагает петух?», «Кто раньше?», «Тайнес-майнес», «Крыса», «Принесли петуха домой». Я не могу отказать себе в удовольствии привести целиком, в качестве примера, стихотворение «Кошкина добыча», которое знаю наизусть.

Вот кошка сидит на балконе и ждет,
Когда ж это вечер на землю придет.
И вечер приходит... И кошка
Бежит пометать — хоть немножко!

Она пробирается вдоль цветника,
И чудится ей, что природа дика,
Что кровь ее хищным огнем налита,
Что нет и у тигра такого хвоста.

Что стыдно бежать на смешное «кис-кис»,
Что сильные мышцы ее напряглись,
Что в дебрях добыча тaitся...
И фыркает кошка и злится.

Шагнет — и назад, постоит — и вперед,
И вдруг как рванется в потемки... И вот
Уж острые когти вонзает
И мнимую жертву терзает...

А ужинать все же идет на балкон,
Где хищницу мальчик поит молоком.

(Перевод Е. Благицкой)

Это стихотворение, как и другие стихи такого рода, содержит иронический смысл, который, сочетаясь с реалистическим изображением природы, дает единое художественное целое, наполненное пониманием и любовью к живой природе, к ее удивительным существам, любовью к самому умному творению природы — человеку, которого природа наделила «крылатым разумом», как сказано у Квитко в стихах:

...И ни крыльев больших, ни железных когтей —
Только разум был дан на потребу людей.

(Перевод Б. Слуцкого)

Мне кажется, Квитко мог бы и должен был бы написать большой «животный эпос», своего рода еврейского «Рейнеке-Лиса», который, обладая всеми достоинствами стихов Квитко, мог бы стать шедевром.

Второй. Вы абсолютно правы в отношении глубины и

силы изобразительных средств поэта. Но мне, будь я коротко знаком с поэтом, хотелось бы все-таки указать ему на употребление иногда в стихах старых рифм. И на то, что он часто рифмует слова, имеющие украинские диалектные окончания, а не окончания литературного языка (литовского диалекта)¹. И еще меня смущают некоторые словосокращения у Квитко, к которым он прибегает ради сохранения ритма.

Первый. Что касается стихотворной техники, то в «Новых стихах» Квитко я вижу необычайный рост поэтического мастерства поэта. Такие стихи, как «Пивная подставка», «Встреча», «Колыбель», «Ледник Шокальского», и многие другие великолепны не только своим содержанием, но и музыкальностью, благозвучием, поэтическим мастерством.

Второй. Согласен, но тем обиднее указанные мною мелкие недостатки.

Первый. Давайте вспомним слова остроумного француза Монтеня. Он говорит: «Я не отношусь к тем, которые полагают, будто качество стиха зависит от качества рифм. Даже если они несут в себе высочайший слог. Потому что рифмы сковывают мысли. И если мышление и фантазия сделали свое дело, то я скажу: вот хороший поэт, но плохой версификатор».

Второй. Мысль и фантазия Квитко в самом деле сделали свое в «Новых стихах», но ведь рифма и смысл, глубокое содержание и отточенность формы могут идти согласно рука об руку и не мешать друг другу. Квитко подтверждает это лучшими своими стихами. Но он должен подтвердить это и каждой своей строкой.

Первый. И все же общее впечатление от книги у меня такое: «Новые стихи» Льва Квитко полны жизненной силы нового советского человека, глубоким и своеобразным пониманием природы, сознанием человеческой целостности и гармонии, что напоминает нам ясную гармонию античных героев.

Второй. И хочу добавить: Квитко, уже немолодой поэт, растет и становится еще крепче. Это признак постоянного упрямого поиска поэта...

¹ Л. Квитко писал стихи на украинском диалекте, издательства же, следуя общепринятым нормам литературного языка (литовского диалекта), исправляло окончания некоторых рифмующихся слов, что и создавало впечатление неблагозвучности, в чем автор, по сути, был неповинен. (*Примеч. составителей.*)

Первый. И творческой неудовлетворенности собой, о чем он сам так выразительно написал в одном из своих самых мудрых стихотворений — «Утро»:

Я встал чуть свет, с трудом освобождаясь
От паутины сна, меня оплетшей.
· Лучи косые солнца, тишина
· Мне придали и свежести, и силы.
Мысль ожила. Но прерванная нить
Исканий, недовольства и сомнений
Окрепла вновь...
Моя рука тверда, мой труд почти свершен,
В мозгу же все долбит раздумья дятел:
«Нет мысли, мало взлета, мало страсти,
И задушевности, и мастерства...»
Все тело изнутри обожжено,
Стакан воды, прозрачной и студеной,
Переливается в моей руке.
Я медленно к губам его приблизил
И охладил живительным питьем
Огонь, проникший в самые глубины.
И только дятел, не переставая,
Долбит свое!..

(Перевод Е. Благиной)

Сокращенный перевод с еврейского Л. Фрухмана

Г. Мертенко. Страница биографии



сенью 1934 года Борис Степанович Житков выбрался наконец отдохнуть в Коктебель, в писательский дом отдыха. Длинный деревянный дом с террасой напоминал пассажирский пароход. За это сходство отдыхающие называли его «Кораблем». Сходство с пароходом усиливали комнатухи-«каюты», в одной из которых и поселился Борис Житков.

Солнце уже скупно грело иссохшую крымскую землю. Но все-таки это был Крым и рядом было любимое Черное море. «Мне приятно ощущать,— писал Житков 3 октября в Москву В. М. Арнольд,— что во мне от солнца закопошились земные соблазны... Видите, что сделало со мной осеннее море, и солнце, и эта зеленая вода, в которую я гляжу безнадежно влюбленными глазами».

Той осенью в Коктебеле отдыхали несколько известных литераторов: поэт Григорий Петников, Мария Шкапская, театровед Александр Кугель. Здесь же впервые встречались Борис Житков и Лев Квитко.

Житков наслаждался отдыхом. Он испытывал редкое и необычное для себя ощущение. «Солнечный день и легкий ветер,— писал он В. М. Арнольд.— Что хочу, то могу делать: то есть пойти валяться на пляж, лежать и спать тут на койке, пойти на Кара-Даг...» (3 октября 1934 г.).

Григорий Николаевич Петников рассказывал автору этих заметок о памятных для него беседах с Борисом Степановичем, затягивавшихся незаметно за глубокую южную полночь.

«Ходили в Феодосию...— писал Житков в Москву.— Мы втроем: старик Кугель, Петников (поэт) и я часа полтора бродили по Феодосии, смотрели эти старые и старинные углы, где перепутались эпохи, национальности, быт» (21 октября 1934 г.).

В уцелевших письмах Житкова из Крыма нет, к сожалению, строчек о Квитко, в данном случае имевших бы особый

интерес. Зато в архиве Г. Н. Петникова сохранились снимки, на которых Житков и Квитко запечатлены рядом. На одной из фотографий трое: Квитко, Петников и Житков сидят на скамейке, чуть-чуть позируя. На другой — Житков и Квитко лежат на коктебельском пляже. В руке у Житкова — папироска. Фотограф, видно, прервал их спокойную беседу...

Встретились они снова летом 1935 года, на этот раз в Ленинграде и совсем в другой обстановке.

В июне 1935 года в Ленинград приехала группа писателей Украины, в основном поэтов: Микола Бажан, Павло Усенко, Леонид Первомайский, Лев Квитко, Савва Головановский. Литераторы Украины хотели познакомить ленинградцев со своими новыми произведениями.

Квитко, в частности, писал тогда большой роман в стихах «Иона» («Годы молодые»).

Житков всегда интересовался поэзией, писал стихи сам (впрочем, никогда их не публиковал) и тонко поэзию понимал. Поэтому совсем не случайно он оказался 26 июня в ленинградском Доме писателей на вечере украинской поэзии. Он слушал стихи Квитко, беседовал с ним.

В ту пору Житкову жилось трудно. Тяжелые личные переживания принесли ему много страданий. О встрече с Квитко он писал В. М. Арнольд 27 июня 1935 года: «О моем деле теперь будут знать и в Киеве: я рассказал Л. Квитко, украинскому еврейскому поэту (с которым я снят в Коктебеле на море). Я его здесь вчера встретил, он в числе украинских поэтов, которые вчера выступали. Читал он очень хорошо... Сегодня он звонил, что едет в Киев...»

В 1936 году Борис Житков начал работать над книгой «Что я видел». Есть в этой знаменитой энциклопедии «для четырехлетних граждан» эпизод: ее главный герой Алеша-Почемучка приходит с бабушкой в киевский Дворец пионеров. Обстановка, в которой происходят события, не была выдумана Житковым.

В начале сентября 1936 года он писал художнице Е. В. Сафоновой (первому иллюстратору книги «Что я видел»): «Дворец пионеров в Киеве — не видел. Поеду погляжу и тогда напишу». Две недели спустя он пишет: «Мне тут уж прямо надо (для книжки) в Киев» (В. С. Арнольд, 15 сентября 1936 года).

Свое намерение он осуществил в ноябре. Очевидно, заранее было решено остановиться в Киеве у Квитко. В открытке, посланной из Киева в Москву 19 ноября, Житков сообщал:

«Сейчас я на вокзале. Еду на улицу Ленина (бывшая Фундуклеевская)». Он пешком дошел до нужной ему улицы, никого не спрашивая, разыскал дом Квитко.

На следующий день он писал В. М. Арнольд: «Все, как по писанию: нашел без труда Квитку. Он был дома, в зеленом халате, здоровый и загорелый. Очень мне обрадовался. Поил меня чаем с хлебом, с маслом, с икрой — он был один. Жена и прислуга в покупках, дочь Ета в школе...

Мы болтали о литературе и совсем не о людях. В Киеве оказался и Петников, тот, что был с нами в Коктебеле. Лейба сказал ему, что я здесь (по телефону). Он пришел после обеда. Дочь — лет 17, Берта — жена Квитко, Лейба сам, Петников, я — в столовой пили чай. Спорили даже.

Совсем поздно пришел Копыленко. Вид у него бурсака. Сказал, что все мои нужды завтра (то есть сегодня) устроит к благополучию. Позвонит в половине 1-го, и мы пойдем в этот Дом пионеров, там у него все знакомы.

Потом пришел Лурье, еврейский прозаик. Он мне очень понравился. Он ни в какой школе сроду не учился, как и Квитко. Вся мудрость впитал сам из книг... Он очень точен в словах, говорит по тугой проволоке, но за этим — страсть...

Сейчас половина 12-го. Хозяева еще, видимо, не встали. Погода серая, ветреная, но Киев из окна даже — красив» (20 ноября 1936 г.).

Борис Степанович пробыл в Киеве пять дней. Корней Чуковский, тоже находившийся тогда в Киеве, вспоминал о встрече с Житковым на квартире у Квитко. Он писал: «Помню, приходил к нам в это время Борис Житков, обычно тоже расположенный к молчанию. Но в присутствии Квитко он становился безудержно говорлив и общителен. Однажды мы просидели с Житковым у Квиток, не вставая из-за стола, от обеда до ужина, и разговор не прекращался ни на миг. Порою (очень редко!) после наших усиленных просьб Квитко доставал из кармана тетрадку и читал свои последние стихи — сначала невнятно, застенчиво, а потом увлекался музыкальным напевом и читал с большим одушевлением, лелея каждую аллитерацию, каждую рифму, каждый ритмический ход».

23 ноября 1936 года Житков записал в дневнике, большой тетради в твердой обложке, которую всегда возил с собой: «Я в Киеве, у Квитки. Приехал сюда 19-го, чтоб посмотреть Дворец пионеров для «Почемучки»... Теперь знаю и писать могу уверенно. Сегодня еду».

Борис Житков обладал великолепной способностью моментально и почти безошибочно оценивать людей. Льва Квитко он признал сразу — и как человека и как поэта. Встречи их не были частыми. Об этих встречах известно немного. Но, думается, даже то, что известно, бросает все-таки свет на взаимоотношения двух замечательных писателей и должно быть учтено их биографами.

И. О. Оксенов, *Тонкий наблюдатель мира*

Дев Квитко — один из выдающихся советских поэтов. Некоторые его стихи, например «Письмо Ворошилову» или «Анна-Ванна бригадир» в переводах С. Маршака и С. Михалкова, приобрели широкую популярность, особенно среди юных читателей. Может быть, самой характерной чертой творческого облика Квитко является юмор, — юмор очень мягкий и лирический, не исключая других поэтических тональностей, у Квитко достаточно разнообразных.

Разнообразие тем, свойственное Квитко, встречается у наших поэтов не часто. Между тем именно такая широта восприятия мира способна породить подлинную большую поэзию. Из этого не следует, что творчество Квитко безупречно. Наряду с глубокими и эмоционально насыщенными образами у него попадаются и отдельные прозаизмы и целые стихотворения, написанные упрощенно-гладко. Но Квитко, несомненно, на том пути, на котором вырастают большие поэты, работающие не только для настоящего, но и для будущих поколений. Об этом свидетельствует и свойственное Квитко стремление к наибольшей поэтической объективности, к той ясности и той глубине поэтического образа, которые служат залогом долговечности стиха.

Тонкий наблюдатель мира, Квитко по-своему опозитизировал природу: и лес, и сад, и огород, и скотный двор, — с любовью приняв в свое поэтическое хозяйство «фламандской школы пестрый сор». В этих темах проявляется жизнерадостный юмор поэта. Созданная Квитко поэзия природы роднит его, с одной стороны, с Багрицким, а с другой — сближает с таки-

И. О. Оксенов (1897—1942) — русский советский поэт и критик, автор статей о Н. Тихонове, Л. Рейснер, Б. Пастернаке, Ю. Тынянове и др. Ряд работ И. О. Оксенова посвящен жизни и творчеству Пушкина, судьбе пушкинского наследия в советской литературе. «Тонкий наблюдатель мира» (название дано составителями) — неопубликованная рецензия на кн.: Л. Квитко. Разговор с близкими (Стихи. Авторизованные переводы с еврейского. М., Гослитиздат, 1940). Публикацию подготовил А. Парнис.

ми художниками природы, как М. Пришвин и В. Бианки. Сопоставление имен поэтов и прозаиков в данном случае должно быть оправдано, потому что речь идет не только об их общей теме, но и о раскрытии этой темы, о характере восприятия мира и в связи с этим — о воспитательной ценности произведений названных нами писателей. Квитко и Багрицкому, Пришвину и Бианки в разной мере и с различными оттенками свойственны очень свежее, непосредственное ощущение явлений природы, способность видеть и переживать происходящие в ней события, вплоть до таких мельчайших, как охота на гусеницу в стихотворении Квитко «Веселый жук» (перевод С. Михалкова):

Он маленьких гусениц
Лапкой не тронет,
Он честь и солидность
Свою не уронит.

Ему после всех
Огорчений и бед
Большая добыча
Нужна на обед.

И вот, наконец,
Он встречает такую
И к ней подбегает,
От счастья ликуя...

О характере стихов Квитко, посвященных образам природы, дают представление самые названия этих произведений: «Слива», «Курица», «Кошкина добыча», «Первый осенний день», «Барсуки» и т. д. Многие из этих стихотворений заслуженно являются любимым чтением наших детей и развивают в них не только любовь к природе, но и наблюдательность и зоркость к ее явлениям. Излишне доказывать, что эти качества входят в круг свойств гармонически развитого человека.

Не менее оригинален Квитко в стихах, навеянных еврейским фольклором, — например «Десять дочерей» или «Заколдованный портняжка, или Волшебная коза» (это последнее написано, как гласит примечание, по мотивам Шолом-Алейхема). Веселый юмор этих стихов скрывает за собой их глубокое социальное содержание. Поэзии Квитко ни в какой мере не свойственна национальная ограниченность. Если поэт пишет на еврейском языке, если ему близки мотивы еврейской жизни и быта в прошлом и настоящем, — все же он прежде всего поэт Советской страны, ощущающий свое родство с

передовым человечеством. Об этом говорит не только интернациональная тематика многих стихов, посвященных, например, борьбе китайского народа или образам Германии 1923 года, но и весь характер поэтического мировоззрения Квитко, находящий себе выражение и в произведениях на более узкие и интимные темы.

Русский читатель воспринимает стихи Квитко в переводах, то есть как произведения, уже освоенные русской поэзией. Значительная часть вошедших в сборник переводов представляет собой тщательно и безупречно выполненную работу. В первую очередь это относится к переводам С. Маршака и С. Михалкова, но и у других переводчиков (а их всего около полутора десятка) встречается ряд бесспорных художественных удач (переводы Е. Благиной, О. Колычева, В. Звягинцевой и др.). В то же время в некоторых стихотворениях можно найти недоработанные детали, отдельные строки, звучащие подчас беспомощно и неуклюже. Хотя это и заставляет думать о недостаточно внимательной редакции сборника, все же книга с успехом выполнит свое назначение и познакомит широкие круги читателей с образом поэта.

РО ГПБ, им. М. Е. Салтыкова-Щедрина,
ф. 709, оп. 1, ед. хр. 216.

Мирон Петровский. Мажда излюбности



казать, что поэт любит природу, — значит ничего не сказать. А про кого, собственно, из поэтов не говорили, что он любит природу?

В любом учебнике литературы и в любой популярной статье можно прочитать, что Фет «любил природу», Заболоцкий тоже «любил природу», ну а Есенин, так тот вообще «любил природу». Любовь к природе стала самым общим среди всех общих мест поэтического мирозерцания. Между тем ничего не стоит показать, что природа, любимая Фетом, — не та, которую любили Заболоцкий или Есенин, что среди множества ее явлений они выбрали и облюбовали не одно и то же и что различие в этой области так же характерно, как и в любой другой.

Отношение поэтов к природе может быть таким же многообразным, как сама природа. Надо проследить, что именно любит поэт в природе, что он в ней видит, что из ее многообразия переносит в стихи. Эти, на первый взгляд, незначительные черты могут оказаться исполненными значения.

Проследив мелкие подробности отношений Льва Квитко с природой, можно прийти к важным выводам, тем более что сам поэт просит не пренебрегать мелочами, так как через них раскрывается та же истина, что и через большое, великое или грандиозное:

Ты истину в явлениях познал —
Она в большом и в малом схожа.

(«Свой дом». Перевод М. Светлова)

Лев Квитко не столько любит природу, сколько овладевает ею и других призывает к тому же:

Вот высота — она твоя.
И ветра влажная струя,
И яблони весенний цвет,
И девичьей улыбки свет,
И медленный разрыв зари —

Все для тебя!
Твое!
Бери!

(«Краса земли». Перевод Е. Благиной)

И чтобы не подумали, будто этот призыв случаен, поэт повторяет в другом стихотворении:

Мир лежит перед вами —
берите его!
И украсьте его, и раздвиньте его...

(«Первый толчок». Перевод Б. Слуцкого)

В понимании поэта, у природы нет большей радости, чем принадлежать человеку. Нет в стихах Льва Квитко такого колодца, который не любил бы отдавать накопленную влагу. «Колодцу по сердцу, когда берут в нем воду», — доверительно сообщает поэт («Колодец»). И нет такой яблони, которая не предлагала бы своих плодов:

Все деревья просят:
— Дети!
Вы снимите с нас плоды!

(«Сады». Перевод О. Колычева)

Земляника, едва родившись на свет, просто умоляет, чтобы ее съели. Возможность остаться несъеденной представляется ей трагической:

Я к детям в рот хочу тотчас!
Ведь через два или три дня
Засохну! Кто ж возьмет меня!

(«Земляника». Перевод Е. Благиной)

И вишни с дерева окликают человека: «Мы здесь, ты только руку протяни!» («Старость». Перевод Т. Спендиаровой). Подсолнух и кукуруза, изнывая от зрелости, мечтают:

Хоть бы руки проворные
Их сорвали скорее!

(«Подсолнух и кукуруза». Перевод Е. Благиной)

И все плоды буквально вопят от желания быть сорванными: «Рви, ребята, суй в карманы, если переполнен рот!» («Сады»). Этот мотив, встречающийся и в фольклоре¹, стал

¹ Конечно, из фольклора попал этот мотив в сказки братьев Гримм. В их сказке «Госпожа Холле», например, читаем: «Ах, потряси меня, мы — яблоки — все уже созрели!» То же самое в русских сказках.

в поэзии Квитко сквозным и определяющим. Порой он варьируется, принимает не вдруг узнаваемые формы, но, приглядевшись, мы и в непохожих на первый взгляд строчках увидим все ту же отдающую человеку природу и все того же овладевающего ею человека.

Героиня одного стихотворения Квитко уверена, что деревья мечтают подрубленными упасть к ногам человека — все сосны завидуют своей подруге, которая уже удостоилась этой великой чести.

Падает, вытягивая руки,
Смуглые от солнца и дождей.
Стройные завидуют подруги
Сверстнице подрубленной своей...

Следующие строки этого же стихотворения открывают, что отношения между рубящим лес человеком и срубленным деревом мыслятся в лирике Квитко как любовный поединок-союз. Томимая любовной тоской, девушка признается:

Так и я, о, так и я желала б,
Как сосна, склониться перед ним!

(«Сосна». Перевод Н. Сидоренко)

Даже в тяжелую послевоенную пору, когда переменился лес, еще недавно служивший убежищем партизанам («Теперь ты, лес, не тот...»), и переменился поэт, многое вынесший за эти годы («Я прежним никогда теперь не буду!»), Квитко отмечает эти перемены, кажется, только для того, чтобы воспеть все тот же союз, все ту же взаимоотноша, которая всегда составляла один из существеннейших мотивов его лирики:

Я прежним никогда теперь не буду!
Другие мысли мне идут на ум,
Но я тебе, как празднику, как чуду,
Сердечно рад! Твой шелест и твой шум
Твои дары — мне, мне припасены!
Мои — тебе. И мы с тобой равны!

(«Лес». Перевод Е. Благиной)

Так буквально в каждом стихотворении Квитко: все сущее в природе мечтает служить человеку. И когда поэт призывает: «Мир лежит перед вами — берите его!» — то голос человека сливается с голосом самой природы: «Возьмите меня!» Человек создан, чтобы владеть ею, она — чтобы принадлежать человеку. Никаким противоречиям здесь нет места. Гармония —

вот как представляются взаимоотношения человека и природы поэтическому взгляду Льва Квитко.

Жажда гармонии свойственна всем людям, а поэт является воплощенным стремлением человечества к гармоничному существованию. Поэтому-то поэты и воспринимают так трагически дисгармоничность бытия. Лев Квитко был поэтом настоящим, поэтом божьей милостью, но свою мечту о гармонии он нередко воспевал как реальность. Некоторые его стихи создают образ столь благоустроенного и благополучного мира, что в нем даже между кошками и мышами нет никакой вражды. Как заметил К. Чуковский, знаменитая «Кисанька» Льва Квитко не охотится на мышей, а водит с ними хороводы... Примеров такого рода — множество.

Бабушка Мирл живет в лесном домике. Волков в этом лесу, конечно, нет и в помине, так что маленький внучек может без опаски навещать бабушку («В гости»). Правда, в лесу обитает лисица, но она и сама любит заглянуть в бабушкин домик, да не тайком в курятник, а прямо к столу — отведать голубцов, которые так искусно готовит старая Мирл...

На строительной площадке, там, где возводят новый дом, среди известки, досок, кирпичей и опилок затесалась березка — «прохладна и свежа» («Березка»). С трогательной нежностью обходят рабочие дерево, стараясь не задеть, не повредить его. Человек внес мир и гармонию в отношения между живым деревцом и бесчувственными камнями новостройки, и поэт так восхищен этим, что мысль о происхождении досок, щепок и опилок, валяющихся вокруг березки, в стихотворении не возникает. Сколько бы ни описывал Квитко рубку леса, никакой намек на то, что, мол, лес рубят — щепки летят, невозможен в его стихах.

С первых шагов в литературе «жизнерадостный оптимизм стал своего рода манифестом Квитко»¹. Под этим манифестом своей юности поэт мог бы подписаться и в годы зрелости. Жаль только, что его оптимизм бывал порой чрезмерен и придавал его поэтическому миру характер своеобразной утопии. Достаточно напомнить, что стихи о кисаньке, водящей хороводы с мышами, были написаны в годы гражданской войны, в пору чуть ли не еженедельной смены властей, погромов, разгрома жестокости. Независимо от намерений поэта его стихи становились утопической альтернативой суровой реальности.

¹ И. Добрушин. Литературно-критические статьи. М., «Советский писатель», 1964, с. 96.

«В древней сказке рассказывается,— писал Квитко в одной довоенной статье,— почему народ избрал пастуха своим вождем. Народ присмотрелся, как он пасет овец. Сначала выводит на луг самых маленьких ягнят, чтоб им достались нежные верхушки трав, которые легче всего разжевать. Потом выводит старых слабозубых овец, чтобы им досталась средняя часть травы, тоже мягкая еще. Лишь потом он выводит молодых, здоровых, которые своими крепкими зубами разрежут и самые жесткие остатки.

«Тот, кто умеет выказывать такую заботливость к немым существам,— решили люди,— тот сумеет проявить преданность и любовь к своему народу».

Тот, кто умеет так заботиться о детях, ведет народ к победе и счастью¹.

Дело не в том, чтобы отметить у поэта «наличие, наряду с достоинствами, также и некоторых недостатков», а в том, чтобы осмыслить и достоинства и недостатки как систему, как составные части одной и той же поэтической структуры.

Поэтическое мировосприятие Льва Квитко так целостно и непротиворечиво, что даже недостатки его стихов являются прямым продолжением их достоинств — прежде всего страстной жажды гармонии, душевности, человечности.

*

Вчитайтесь внимательно в стихи Квитко — и вы непременно обнаружите одну их поистине замечательную особенность.

Оказывается, Лев Квитко видит в природе и любит переносить в стихи не перемены, которым подвержена природа, не ее прочный, устоявшийся характер и не легкие, исчезающие настроения, которые она навевает. Красоту природы он видит в другом и другим утоляет свою жажду красоты:

И если красотой простора
Насытить хочешь глубь души,—
Не опоздай к вступленью хора,
К начальной ноте поспеши!

(*«Вставай с рассветом»*. Перевод Е. Потановой)

Вот эта «начальная нота» и занимает его больше всего в многоголосом хоре природы. Во всех явлениях, происходящих в природе, поэт больше всего интересуется началом этих явлений. Не упустить начало нового в природе, пусть хоть начало самой

¹ «Детская литература», 1938, № 20, с. 47.

крошечной зеленой жизни,— вот о чем он больше всего заботится. Неповторимость возникновения — вот о чем он готов говорить бесконечно.

Он посадил цикорий, а тот почему-то не растет: «Все нет его, все нет его, все нет на грядках ничего!» И только после долгого ожидания поэт наконец вознагражден:

А нынче! Побежал чуть свет —
Не знаю, верить или нет?!
Среди березок рябеньких —
Ряды побегов слабеньких.

(«Цикорий». Перевод Е. Благиной)

И он счастлив, что не упустил момент появления слабеньких побегов, не опоздал к «начальной ноте»! Можно открыть наугад книжку его стихов — и почти наверняка книжка откроется на прославлении этой «начальной ноты». Вот другое стихотворение, а речь в нем о том же:

Семечко-крошка
Лежало в земле,
Лежало, согрелось,
Разбухло в тепле.
Сначала разбухло,
Потом проросло,
Тонким росточком
На грядке взошло.

(«Чудо». Перевод В. Донниковой)

В третьем стихотворении сами зерна ждут своего возрождения, словно их, как и поэта, тоже больше всего волнует «начальная нота»:

Когда прогреемся насквозь,
Мы вылезем наружу.

(«Зерна». Перевод Т. Спендиаровой)

Поэт ждет вместе с ними, потому что, как он сам объясняет в четвертом стихотворении,

Прекраснее, чем это, в жизни нет:
Почувствовать, понять и насладиться
Тем, как чудесно заново родиться
Для новых, лучших радостей на свет.

(«Хвала новорожденному». Перевод П. Шубина)

«Заново родиться» — это основная тема лирики Льва Квитко. В непрерывном возрождении природы — основа оптимизма поэта. Словно язычник седой древности, поэт не признает ни-

каких концов, никаких смертей: есть только непрерывная цепь возрождений. Одно свое стихотворение он так и назвал — «Возрождение», и в нем опять-таки говорится о том же: «Как это чувство превосходно — родиться вновь!»

Глядя, как ветер разносит по всему белу свету «парашютики семян» одуванчика, поэт думает только об их будущем возрождении, а вовсе не о дальних странах, где приземлятся парашютики:

Где и как — неважно это!
Им бы только лишь присесть,
Чтобы вновь с приходом лета
Одуванчиком расцвевть...

(«Одуванчик». Перевод Е. Благиной)

Он готов прославить всякое рождение, начало, возникновение. Если он держит в руках сухой кокон, то уж, безусловно, думает о том, что бывшая гусеница «бабочкой пробьется из волокон в последнем превращении своем».

Пристальное внимание поэта ко всякому начатию в природе, к прорастанию, или, как говорили в старину, «прозябанию» любой травинки, тем более удивительно, что был он человеком скорее городским, родился и рос в местечковой ремесленной среде, в гуще народа, не имевшего доступа к земледельческому труду. В его безмятежном воспевании природы есть скрытый, быть может, непредусмотренный мятеж против мертвящих догм, есть присущая каждому народу вера в животворные силы земли и чисто детское любопытство ко всему, что растет.

Даже заведомо прозаическую стирку рубахи Лев Квитко воспевал как процесс возрождения:

Постирали на реке,
Положили в холодке,
Колотили, полоскали,
Выжимали, отряхали,
Чтоб сорочка вновь была
Ослепительно бела.

(«Свежая сорочка». Перевод Я. Хелмского)

Если он заговорил об осени, можете быть уверены, что это будет не середина, не конец и не осень «вообще», это будет начало осени, ее рождение, и поэт встретит ее ранним утром у самой калитки, где,

На мокрый опершись плетень,
Стоит осенний первый день.

(«Первый осенний день». Перевод Е. Благиной)

Если он описывает лес, то это наверняка будет начало леса, даже просто одна елочка, которая со скромной гордостью заявит:

Лес начинается с меня,
Я начинаю лес!

(«Начало леса». Перевод Л. Воронковой)

И поэт рад за елочку и рад за лес, который ведь должен с чего-нибудь начаться! А если он копает землю, не сомневайтесь, что эту землю никто еще до сих пор не копал:

В ладонях лопату сожми посильней,
Впервой целина познакомилась с ней.

(«Целина». Перевод П. Шубина)

Если он станет рассказывать о полете жука, то это, конечно, будет рассказ о начале полета, о взлете, и в рассказе будут поэтизированы и взлет и самое место взлета:

Так вот где разгадка азарта,
Так вот чего жаждал пилот —
Высокого места для старта,
Высокого места для старта,
Чтоб крылья расправить — в полет!

(«Место для старта». Перевод Е. Благиной)

Есть в науке такой термин — *in statu nascendi*, что значит: в состоянии зарождения, в момент образования. Химикам, например, он понадобился потому, что некоторые вещества в этот момент, в этом состоянии, обладают наивысшей химической активностью. Столь высокой активности у них потом уже не будет.

Все, что образуется в мире, обладает для восприятия Льва Квитко наивысшей поэтической активностью в момент образования — *in statu nascendi*. Все рождающееся в мире сильнее всего воздействует на поэта в состоянии своего зарождения — *in statu nascendi*. В этом характернейшая особенность поэтического видения Льва Квитко. Эту свою особенность он готов приписать и самой природе:

Сад фруктовый в изумленье,
Удивлен и огород:
На деревьях появился
Яблочек неизвестный род.

(«Новая яблоня». Перевод Е. Оболдуева)

Конечно, это свое радостное изумление при виде неизвестного доселе сорта яблок Лев Квитко поручил выразить саду и огороду. Но разве не замечательно, что эти яблоки тоже увидены поэтом в момент образования, словно они не висели на ветках все лето, постепенно вызревая, а появились на свет сразу, подобно цыплятам, про которых в стихах Квитко, разумеется, сказано, что «вот только сейчас народились они...».

Квитко множество раз прославил рождение, возникновение, появление — все добрые начала в природе. Но одному из них поэт пропел особенно торжественную (хотя и чуть ироническую) осанну. Такой чести удостоилось самое первое начало — начало всех начал:

Славься, первый толчок, его гром, его дым,
Когда мир создавался
Таким молодым:
Первый конь — для езды,
Первый лес — для красоты,
Первый слон — ради шутки,
Первый луг — для росы,
Когда вместе с мужчиной была создана
Для любви, для работы, для дружбы — жена...

(«Первый толчок». Перевод Б. Слуцкого)

Если поэт так любил подмечать всяческие начала в природе, прославляя высокий акт возрождения, как должен был он любить жизнь, в которой сами люди ежедневно творят новое:

Я вблизи и в отдаленье
Вижу новые селенья,
Там, где лишь была пустыня,
Там сады в степях воскресли.

Где бы ни был поэт, везде — «вблизи и в отдаленье» — он видел:

Растут дома.
Ложатся камни в три ряда.
Кувалды глухо ухают по шпалам,
Из деревушек вырастают города,
Рождаются просторные кварталы.

Простор омыт грозой и радугой расцвечен,
И малыши бегут родителям навстречу...

(«Не жалуйся, не сетуй, дорогая...»). Перевод Я. Хелемского)

Эта тема так прочно овладела поэтом, что, выйдя из стихов, проникла в его разговоры, переписку. Редкий мемуарист,

вспоминая о Квитко, забывает упомянуть о любви поэта «ко всему новому». Характерно, что в приведенном стихотворении, как и во многих других стихах Льва Квитко, над омытым грозой миром возникает радуга — символ радостного обновления.

Свой роман в стихах «Годы молодые» Лев Квитко завершил знаменательной строчкой: «Начало начал возникает сияя», — потому что именно таким, соотношенным с первым днем творения (ср. «Первый толчок»), было его восприятие революции. Эта формула почти дословно повторена в стихотворении конца 20-х годов «Мой друг» — о революционере, обрекающем себя на аскетическое существование во имя счастья других, о человеке, который уверовал в необходимость сегодняшней жестокости ради завтрашней доброты. Поэт уговаривает героя стихотворения «не поддаваться сердцу и в болях не забыть, что мы — начало всех начал, мы — начало движения вперед» (подстрочный перевод¹). Поэт пристально присматривался к этим «людям начала» и запечатлевал их в своих стихах, как запечатлел он в стихотворении «Счастливая подруга» девушку, которая сообщает о себе:

Большое зная
Я первой несла.
Я только-только
Жить начала.

(Перевод В. Звягинцевой)

Разве мог такой поэт не заметить ребенка — начало человека и детство — вечное возрождение человечества? Разве мог он не стать поэтом людей, которые «только-только начали жить», — поэтом ребенка, поэтом детства?

*

В нем в самом много детского.

Созданный им в стихах для детей поэтический мир — и впрямь «детский мир». «Детский», конечно, не потому, что в нем отсутствуют явления и реалии «взрослого» мира, напротив, Квитко, как мы знаем, охотно вводил в свои стихи для детей даже политические мотивы. Он «детский» потому, что все изображенное в этих стихах видится как бы глазами ребенка, причем для такого видения Льву Квитко не приходилось ни особым образом шуриться, ни надевать специальные

¹ Есть авторизованный украинский перевод в журнале «Авангард» (Харьков), 1929, № 3.

очки,— это было его собственное поэтическое, подобное детскому видение.

Популярность его «Письма Ворошилову» в довоенные годы ни с чем не сравнима — в наши дни даже песня редко достигает такой популярности. «Письмо Ворошилову» вспоминается не просто как один из литературных фактов, но как очень заметный факт довоенного быта страны — в одном ряду с массовым движением «ворошиловских стрелков», пропагандой Осоавиахима или учебными воздушными тревогами. Стихотворение преследовало ту же оборонную цель, что и другие акции этого ряда. Но, приглядевшись, нетрудно заметить, что хотя война, изображенная в «Письме Ворошилову», — это, конечно, та самая, предчувствуемая и все же неожиданная война, которая нам угрожала и вскоре разразилась, но изображена она так, как должна была представляться тогдашнему маленькому мальчику. Фронт, например, изображается здесь местом, где «стреляют по врагам» — ответные выстрелы словно бы не предусмотрены этим изображением...

Как дети, поэт убежден, что жизнь создана для счастья. Как дети, не верит, что когда-нибудь умрет. Как дети, уверен, что яблоки растут только для того, чтобы быть съеденными. Как дети, воспринимает мир с непосредственностью, ошеломляющей во взрослом человеке, и обуян безмерным любопытством, как дети.

Словно ребенок-почемучка, он пристаёт с расспросами ко всем и всему — березке, ветру, солнцу. Увидит на поляне елочку — давай выспрашивать:

— Не лучше ль, елочка, тебе
В лесную сень войти?

(«Начало леса». Перевод Л. Воронковой)

Услышит о барсуках — сразу же поинтересуется:

Как могут они
Под землю расти
И скучную жизнь
Под землю вести?

(«Барсуки». Перевод С. Михалкова)

Чем могут привлечь внимание две крошечные мушки, опустившиеся на тонкий зеленый листок, и какие такие важные вопросы можно им задавать? Но для Квитко это микрособытие полно интереса — «Мне так любопытно за ними следить в

заросшем травую саду!»—и он уже готов расспрашивать этих мушек:

Я думаю, учатся мушки ходить,
А может быть, ищут еду?

(«Мушки». Перевод Е. Ильиной)

Разговор так и не состоялся — мушки вдруг улетели, огорчив поэта своим исчезновением: «А я ни о чем расспросить не успел!»

Поэт не играет в любопытство: оно так и рвется из него. У Квитко есть стихотворение о цветке, целиком состоящее из вопросов, обращенных к этому цветку,— пять строф, около тридцати строк одних вопросов:

Откуда ты, белый, как снег,
Нежданный, как чудо?
Принес ли тебя человек?
Иль бабочка?
Кто ты, откуда?

(«Откуда ты...». Перевод Е. Благиной)

Любознательность поэта так велика, что даже самые подробные ответы не удовлетворяют ее, а, напротив, лишь подстегивают. И что очень характерно для Квитко, он должен все увидеть сам, своими глазами:

О кукушке я слышал так много рассказов,
О малиновке слышал немало чудес.
Я даю себе слово — обшарить, облазить
Нынче летом дремучий, диковинный лес.

(«Говорят...». Перевод Е. Ильиной)

Все это — следствие необыкновенной, изощренной пристальности, без которой нельзя себе и представить поэзию Льва Квитко. Он десятки раз описывал прорастание семян — и ни разу не повторился, потому что каждое прорастание обладает у него своими, совершенно конкретными чертами и воплощено в стихи с неповторимым ритмическим рисунком. В его стихах ничто не существует «вообще». Ему мало заметить, что слива — прекрасна, он должен просмаковать детали бытия сливы во всей их конкретности и рассказать

О нежных прожилках в ее синеве,
О том, как она притаилась в листе,
О мякоти сладкой, о гладкой щеке,
О косточке, спящей в сквозном холодке,
Как солнце проходит по ней полосой,

Как вечер на ней оседает росой,
Как тонко над ней изогнулся сучок...

(«Слива». Перевод Е. Благиной)

О своей юношеской прозе Лев Квитко вспоминал, что она «была нескончаемой. Я никак не мог довести своего героя до конца. Мне казалось, что я должен описывать каждую прожитую им минуту его жизни, и впадал в отчаяние — удастся ли мне закончить его жизнь»¹. Здесь тот же неистощимый художнический интерес к конкретному, то же любопытство к «каждой прожитой минуте».

Столь же ненасытно любопытен он был как читатель. «Читая его стихотворение,— писал Квитко о Павле Тычине,— хочется читать еще, как, слушая одну народную или шевченковскую песню, хочется слушать еще»².

В знаменитом стихотворении «Анна-Ванна бригадир» пионеры настойчиво требуют показать им поросят. При этом дети вываливают целый ворох вопросов и как бы уже заранее наслаждаются видом своих любимцев. Прислушайтесь к вопросам детей — в них содержится и ответ, который, однако, только разжигает детское любопытство:

— Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
И потрогать спинки —
Много ли щетинок?

Рыльца — пяточками?
Хвостики — крючками?

(Перевод С. Михалкова)

Дети знают, что у свинок есть рыльца, хвостики, щетинка; но для полного счастья им нужно не умозрительное знание, а прямое «очевидное» — то есть «видимое глазами» — созерцание. Поэт изобразил поросят в подробностях — для читателей, не смотря на то что дети — герои стихотворения — так и не увидели «рыльца — пяточками»...

У Квитко есть еще стихотворение, конфликт которого основан на том, что один герой склонен к конкретному видению вещей и наслаждается их конкретностью, а другой удовлетворяется абстрактным знанием. Понятно, что Квитко всецело на стороне первого и осуждает второго. Первый — маленький мальчик лет четырех, второй — взрослый, слишком взрослый!

¹ Из письма К. Чуковскому (сентябрь 1935 г.).

² «Детская литература», 1940, № 4, с. 57.

На предложение ребенка полюбоваться игрушечным конем он отвечает из-за двери:

— Я видел его:
Два глаза и хвост
У коня твоего.

Столь явное пренебрежение конкретностью — этими двумя глазами и этим хвостом — поражает и возмущает малыша:

— Но ты же не видел
Ни глаз, ни хвоста:
Стоит он за дверью,
А дверь заперта!..

(«Лошадка». Перевод С. Маршака)

Словно в наказание за свое позорное нелюбопытство к конкретному, этот взрослый жестоко наказан: поэт лишил его самого всяких признаков конкретности, и «сосед» как бы существует в стихотворении — вне зримых черт, где-то там, за дверью, как некая абстракция человека.

Не знаю, как это случилось, но никто почему-то не заметил, что «Лошадка» и «Анна-Ванна» — вещи взаимосвязанные. Попробуем отвлечься от столь дорогой Льву Квитко конкретности и рассмотреть эти два стихотворения чисто ситуативно — и связь их станет очевидной. В самом деле, в одном случае дети страстно желают посмотреть своих любимцев, в другом — показать; ни осмотр, ни показ не осуществляются (хотя мотивировки разные); в «Анне-Ванне» детское неудовлетворенное любопытство наталкивается на взрослое лукавое упорство, в «Лошадке» — детское стремление поделиться удовлетворенным любопытством и приобщить к нему соседа наталкивается на душевную лень и черствость. В обоих случаях дверь отделяет детей от вожделенной цели.

Две баллады построены, так сказать, симметрично, они отражены одна в другой зеркально: левое становится правым и наоборот. Но балладный, лиро-эпический жанр стихотворений в обоих случаях очевиден.

*

«Чистый» лирик Квитко был замечательным мастером баллады в широком смысле слова. В широком, потому что современная баллада — жанр трудноопределимый, лишенный твердого однообразия. Ситуативная «симметрия» «Лошадки» и «Анны-Ванны» не была замечена, скорей всего, потому что,

схожие на уровне ситуации, они решительно разнятся на всех других уровнях, причем самая заметная особенность «Анны-Ванны» — ее органическая, нестилизаторская фольклорность¹.

К этой балладе близка по фольклорному духу и фольклорной конструкции другая — «Песня» — о батраке, которого пан послал покупать быков и снабдил деньгами. По дороге батрак встречает поющих рыбаков, затем музыкантов, и за их песни расплачивается панскими деньгами, а потом за панские деньги — песнями: даже под розгами он продолжает петь. Трудно не увидеть в этом эпическом сюжете лирический образ поэта, собирающего песни в народе и возвращающего их народу, — поэта, который за все расплачивается песнями, поющего и под самыми злыми ударами судьбы.

Вместе с балладами, ориентированными на фольклор, у Квитко много других, более «литературных» по характеру.

Лирик Квитко был самым настоящим «балладником» (этим словом Пушкин назвал однажды Жуковского) и более того — новеллистом. Вернемся еще раз к знаменитой «Сливе». Поначалу она воспринимается как восторженный лирический гимн, прославляющий прекрасный плод, но неожиданно, на полуфразе, славословие, которое мы считали произнесенным голосом самого поэта, обрывается, и мы узнаем, что «так думал о сливе один червячок»... Вот как?! Червячок? Значит, все сказанное во славу сливы нужно переосмыслить? Значит, это был, так сказать, дифирамб наоборот? И славословие нужно понимать в ироническом смысле?

Червячок съедает не только сливу, он «съедает» и романтический пафос, превращая лирический гимн в ироническую новеллу.

Снижение романтического пафоса иронией, столь свойственное национальному мышлению, издавна связывается с именем Генриха Гейне. Еще в прошлом веке русский поэт Д. Минаев «расшифровал» секрет гейневской иронии:

Я постиг отлично тайну,
Как писать оригинально:
Стих начну высокопарно,
А окончу — тривиально...²

¹ Фольклорные черты этой баллады проанализированы К. Чуковским в книге «От двух до пяти» (в изданиях конца 30-х годов). См. в наст. сб.: К. Чуковский. «Замечательный поэт».

² «Поэты «Искры», т. 2. Л., «Советский писатель», 1955, с. 172.

Вот этот переход от «высокопарного» к «тривиальному», от «возвышенного» к «сниженному», от патетического к бытовому Квитко делает сюжетным ходом своих стихотворений, превращая их в новеллы, которые развиваются последовательно и целенаправленно вплоть до определенного момента, а потом вдруг меняют смысл на противоположный (как в концовках новелл О. Генри). «Слива» — быть может, лучший, но далеко не единственный образчик подобной новеллы.

Вот кошка выходит на охоту, и вовсе не кошка она уже — хищник, свирепый, сильный, ловкий, беспощадный: «кровь ее хищным огнем налита», «нет и у тигра такого хвоста», «сильные мышцы ее напряглись», «в дебрях добыча таится», «и вот уж острые когти вонзает...» На самой высокой точке этой кровавой охоты поэт делает паузу и кончает таким двуступенчатом:

А ужинать все же идет на балкон,
Где хищницу мальчик поит молоком.

(«Кошкина добыча». Перевод Е. Благиной)

Вместо истекающей кровью жертвы поэт подсовывает кошке блюдечко с молоком — и переосмысливает всю картину охоты.

А вот уже не кошка — настоящий хищник:

Я с восхищеньем вижу льва:
Спокойной вскинута и хмура
Его большая голова.
Хвостом он шевелит едва.
Светлеет царственная шкура.
Вот бы ладонями покрыть
Его пылающие очи,
Чтоб трепет птицы ощутить,
Которая стремится жить
И вылететь из плена хочет.
Когда я слышу львиный рык,
Я забываю все на свете.
Я содрогаюсь... В этот миг
Мне чудится пустыни лик,
Ее густой и знойный ветер.

Не странно ли, что Квитко, преисполненный любви к жукам, муравьям, птицам, барсукам, ко всякой мелкой живности, населяющей гармоничный мир его поэзии, принялся вдруг восхищаться грозным зверем? Но серьезная подлинность стиха не оставляет сомнений в подлинной серьезности чувства. Тем не менее стихи кончаются следующей сентенцией:

Люблю я льва,— поскольку он
В железной клетке заключен.

(«Про льва». Перевод Е. Благиной)

И снова — полный переворот, трансформация, переосмысление. Конечно, кровожадного хищника, вносящего разлад в гармоничный мир природы (его природы), Квитко должен любить только в клетке. Но для нас здесь чрезвычайно выразителен ход, которым поэт приводит льва в клетку, а читателя — к нравственному выводу. Ход этот — характерно новеллистический.

А вот стихи о поросенке — этот маленький дурачок хвастает хозяйской любовью: и кормят-де его вволю, и моют, и чистят, и гладят, а придет время, продолжает поросенок в той же хвастливой интонации, и его «ам! — съедят». Последняя фраза иронически переосмысливает весь хвастливый рассказ. Подобным же образом переосмысливается стихотворение «Куда идет петух». Шествие петуха — а петух здесь именно парадно шествует, а не буднично идет — описывается как событие, потрясающее мир:

И гребнем своим горделиво
Он пилит простор голубой.
И миру на зависть, на диво
Возносит свой хвост над собой.

Весь мир — то есть, конечно, маленький мирок скотного двора — с замиранием сердца следит за этим шествием:

. влюбленная клушка
Разахалась, прямо беда.
— Ах, батюшки,— стонет пеструшка,—
Куда ж он идет? Куд-куда?

(Перевод Е. Благиной)

Подробно, долго, не спеша живописует Квитко движение петуха, нагнетая значительность происходящего события, чтобы разрядить вопрос, поставленный в названии стихотворения, коротким развенчивающим ответом: «Кукарекать идет».

То же самое в стихотворении «У богатого стола». Здесь описывается роскошная, завидно сытая жизнь цепного пса. И чем роскошней, чем завидней она изображается, тем сокрушительней поворот, придаваемый стихотворению последними строками — о том, как «украдкой плачет, ох как плачет пес цепной!». И в стихотворении «Ложка-поварешка»: чем значи-

тельной роль поварешки в приготовлении обеда, тем резче и обидней звучит поворот концовки:

Кончена работа,
Суп на стол уносят,
А стряпуху-ложку
Не зовут, не просят!

(Перевод С. Маршака)

Каждый из этих расчетливо подготовленных автором сюжетных поворотов ведет к ироническому эффекту. Но смех Квитко — не гейневский саркастический, беспощадный смех (по крайней мере, в стихах, которые можно прочесть по-русски). Однажды Квитко рассказал о ручье, который бежал, «давясь от смущенного смеха» («И снова...»). Вот так — застенчивым добрым смехом — смеется и сам поэт. В своих стихах-новеллах он сначала создает эмоциональный переизбыток, а затем, словно боясь показаться излишне сентиментальным или патетичным, извиняется смехом, страхуется иронией.

*

Может показаться, что излишняя пристальность подводит Квитко, что он, подобно людям, страдающим близорукостью, рассматривает вещи в упор и видит разные мелкие подробности, тогда как целое остается вне поля его зрения. События и конфликты у него тоже какие-то незначительные...

Но такое утверждение само страдает близорукостью.

В одном из стихотворений Квитко юный герой рассказывает о своей страстной мечте — пойти на рыбалку. Все необходимые снасти уже подготовлены, но взрослый человек — сосед — не берет его с собой. И вот настал долгожданный день, когда сосед нехотя буркнул: «Ну что же, пойдём?» Наш рыбак кинулся к ларю, где лежало его добро — «грузило и лески, крючки и шпагат», — и вдруг видит, что на ларе, спрятавшись от зноя, спит мама!

Со смены ночной из пекарни пришла,
Наверно, устала и вот — прилегла.

В прохладной кладовке стоит тишина.
Пусть мать отдыхает. Устала она.

А я порыбачу один как-нибудь...
...Стою и не плачу, ну разве... чуть-чуть.

(«Рыбак». Перевод Е. Благиной)

Неужели это стихотворение о хорошем, воспитанном ребенке, одном из тех очаровательных созданий, которых принято хвалить и ставить в пример, но любить невозможно? Ведь Льву Квитко гораздо более по душе озорные и веселые мальчишки, каких множество в его стихах — хлюпающих по лужам, кубарем летящих с горы. Наверное, герой этого стихотворения тоже из их компании, судя по тому, что совсем небольшая победа над собой далась ему с трудом — понадобилась внутренняя борьба. Эти стихи — скорее не о хорошем поведении, а о свободе, которую человек приобретает победой над самим собой. И более всего эти стихи о том, во имя чего добывается эта победа, — о человечности, о «дивной способности человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого, переживать их судьбу, как свою», о «драгоценной способности со-переживать, со-страдать, со-радоваться, без которой человек — не человек» (К. Чуковский).

Другая «маленькая трагедия» — это «Лошадка». Здесь герой еще меньше, чем в «Рыбаке». Его так и тянет поделиться со всеми неожиданной радостью — у него появилась прекрасная новая лошадка, в которую малыш моментально влюбился, даром что она картонная и на колесиках. Счастливый обладатель лошадки стучится в дверь к соседу, приглашая его порадоваться вместе. Однако соседу неинтересна какая-то там лошадка:

Зевает лениво
За дверью сосед —
И больше ни слова,
Ни звука в ответ.

Но ведь это чужая радость неинтересна соседу, а не чужая лошадка! Что касается лошадки, сосед, возможно, прав: у нее действительно четыре ноги, хвост и грива — все, как у прочих лошадок. Но радость, которую испытывает ребенок, владея этой лошадкой, единственна и неповторима, как любая другая человеческая радость. «Лошадка» — тоже стихотворение о человечности, проявления которой ребенок наивно требовал у черствого соседа.

В третьем стихотворении трагедия совсем уж, кажется, ничтожная. Поэт, работая у себя в саду, выкопал две елочки, намереваясь пересадить их в другое место, но, втянутый в ежедневные житейские хлопоты, совсем забыл о двух деревцах.

Потом пришла зима.

И вот однажды, вечером морозным,
Сидел я с книжкой и блаженно грелся
В покойном кресле около огня.
И вдруг во мне похолодело сердце —
Я вспомнил, что про елочки забыл.

(Перевод Е. Благиной)

Стихотворение «Однажды» — не о зеленых насаждениях, а о человеческом сердце, похолодевшем из-за двух живых существ, которые замерзают, тогда как человек блаженно и покойно греется возле уютного огня: «А я забыл! А я про них забыл!»

Замечательно, что в тяжкую военную пору Квитко не поверил в бесчеловечность действительности. В одном стихотворении того времени, прижимая к груди крохотную девочку, выхваченную прямо из огня войны, поэт заботится прежде всего о том, как бы ребенок не подумал, будто бесчеловечность есть неотъемлемое качество бытия. «Как очернили мир в глазах твоих, бедняжка!» — сокрушается и негодует он. Только бы ребенок не разуверился в доброте и человечности людей!

Воистину — каждому воздается по вере его: Квитко, поверивший в поэтический мир, где нет никаких концов, завершений, смертей, а есть только одна бесконечная цепь непрерывных начал, возникновений, возрождений, и сам возродился к новой жизни. Словно воспетый им кокон, который «бабочкой пробьется из волокон в последнем превращении своем», он в своем последнем, посмертном превращении вернулся к читателям — книгами, прежде всего детскими.

Человечность — вот что хотел бы воспитать Квитко у своих маленьких читателей. Да это вообще, пожалуй, одна из самых важных целей детской литературы. Нравственность поэта целостна, как его мир. Поэт знает, или догадывается, или чувствует, что нельзя стихами отдельно воспитывать любовь к труду, отдельно — почтение к старшим, отдельно — честность, отдельно — доброту, отдельно — щедрость, отдельно — верность. А между тем именно так пытаются действовать некоторые авторы детских книг, обманывая себя и других двойной иллюзией: литературы и воспитания.

С трогательной прямолинейностью они создают книжки, где каждому правилу поведения школьника посвящено по одному рассказу или стихотворению и не забыто ни одно правило, кроме самого главного: детская литература существует не для иллюстрации правил, а для воспитания человечности.

Воспитание всегда апеллирует к чувству ответственности, и нет человека с более острым чувством ответственности перед другим человеком, чем влюбленный. Сильнее любовь — сильнее чувство ответственности, на которое опирается воспитание. И это не причуда языка, а его высокая мудрость, что любовь к женщине, к Родине, к ребенку, к природе, к искусству называется одним и тем же словом — любовь. Влюбите своего воспитанника в человека! Воспитайте в нем человечность — и он будет любить труд и Родину, уважать старших, будет добр и честен, не подведет друга, не погубит дело.

Человечность — вот к чему взывают стихи и судьба Льва Квитко.

*

Все предыдущие главки этого очерка о поэзии Льва Квитко начались с рассмотрения незначительных на первый взгляд мелочей — каких-то пустяковых подробностей природы, будто бы случайных языковых и композиционных совпадений, мелких черточек детской психологии, крошечных ребячьих радостей и неприятностей. И мелочи каждый раз с неизбежностью приводили к важным выводам, — важным, по крайней мере, в масштабах темы очерка. Это не особенность стихов Квитко, а свойство лирической поэзии, которое заметно тем сильнее, чем мельче изображаемые поэтом проявления жизни.

Лирический поэт может изображать вещи как угодно малые и незначительные сами по себе. Они станут большими и приобретут значение благодаря присутствию в стихах личности поэта, которая скажется в своем отношении к этим вещам. Личность поэта как раз и является подлинным содержанием лирики, и все написанное выше продиктовано стремлением отыскать в стихах Квитко характерные приметы этой личности.

Таким образом, переход «малого» в «большое», их единство является законом лирики. Но поэзия Льва Квитко, помимо того что осуществляет объективно этот переход, это единство, занимается ими, как своей темой. Пристальное внимание поэта на каждом шагу отмечало эту диалектическую черту действительности.

Раз десять, не менее, Квитко брался за тему «дом и мир», «квартира и вселенная» и ухитрился даже в такой традиционной теме усмотреть не противопоставление, а единство. Когда он однажды пристыдил людей, пекущихся о том, «чтоб дом красивей мира был», то сразу же в другом стихотворении внес

поправку: от сознания красоты мира «тебе твой дом роднее стал». Опасаясь обвинения в «мещанстве», не каждый решится на такое признание:

И я люблю свое жилье,
Пристанище веселое мое!

(«Разлука». Перевод Е. Благиной)

Квитко не проклиняет жилище за то, что оно отгораживает человека от мира, а прославляет его как часть мира.

Если большое не поддается непосредственному познанию, то его можно познать по его малой части:

Созвездия в небе нельзя осязать,
Но можно по нежным прожилкам листка
Поведать чудесную тайну роста.

Большое отражено в малом, подобно тому как весь мир отразился в одной чудесной вишенке:

Как чистое зеркало
Кожа на ней.

И в ней отразились
И лес, и поля,
И сочная зелень,
И солнце, и я.

(«На заре». Перевод В. Донниковой)

Снова и снова, может быть сам того не замечая, поэт возвращается к теме единства мира, потому что именно таким — единым в большом и малом — мыслится ему мир. Ничто малое он не представляет обособленным, отъединенным. Даже покачивание младенческой колыбели сливается с покачиванием всего земного шара:

И вместе с колыбелью и со мной
Покачивается весь шар земной.

(«Я слышал, не баюкают ребят...»). Перевод Е. Тараховской)

Особенно близка была ему мысль о единстве поэта со своим народом, со своей страной. Незадолго до кончины он так и писал:

Без Родины умрет мой стих,
Чужой и матери и детям.
С тобой, страна, живет мой стих,
И мать его читает детям.

(«С моей страной». Перевод А. Ахматовой)

Он понимал, что судьба народа отражается в личной судьбе каждого человека, с особенной силой — в судьбе поэта:

...Судьба народа —
Певца народного судьба!

(«Пушкин и Гейне». Перевод С. Михалкова)

Все связано со всем: рождение человека и рождение крошечного зеленого ростка; земля, колыбель человечества, и деревянная «колыска», люлька, зыбка в какой-нибудь местечковой глуши; начало новой, лучшей жизни и утро нового дня; поэт и самое маленькое из его стихотворений; судьба народа и судьба поэта:

Ты истину в явлениях познал —
Она в большом и малом схожа...

И. Рацкая.
Поэзия Л. Квитко —
неиссякаемый источник вдохновения



кажете, что привлекло вас в творчестве Квитко? Почему именно к его стихам вы обратились, задумав маленькую песенную кантату для детского хора? К тому же, насколько я знаю, это ваша первая «проба пера» в области музыки для детей?

— Вы правы,— последовал ответ композитора А. Холминова, автора оперы «Оптимистическая трагедия» с ее монументальными хоровыми полотнами.— Я действительно никогда раньше детскую музыку не писал. Естественно, что, прежде чем приняться за работу, перечитал великое множество детских стихов, искал в них внутренней «контактности» с собственным душевным настроем. Искал... и нашел в поэзии Л. Квитко. Она пленила меня не только своим смысловым значением и конкретной образностью, но какой-то поразительной озаренностью, светлым, мажорным мироощущением, доброй улыбкой друга и мудрого наставника. Без назойливой дидактики ведет он детей к радостному познанию окружающего их мира, вместе с ними способен восторгаться чудесами живой природы и плодами умелых рук человеческих. Как музыканту мне особенно дороги потенциальная мелодика и ритмический пульс его стиха, которые многое могут подсказать композитору.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что любой из композиторов, когда-либо обращавшийся к поэзии Л. Квитко, охотно подпишется под этими словами. Его стихи обладают какой-то магической силой притяжения для композиторов самых разных творческих индивидуальностей. Их немало — москвичей и ленинградцев, украинцев, молдаван,— около пятидесяти имен, возрождающих поэзию Л. Квитко в ее новом, музыкальном обличии.

Некоторым оказалась ближе его «взрослая» лирика из сборника «Песнь моей души». И тогда появлялись романсы, из которых заслуживают внимания «О дальнем и дорогом»

Г. Брука, «Я лелеял в сердце радость» Л. Бирнова (на еврейском языке) и др. В песенный репертуар тридцатых годов вошли произведения на стихи поэта, посвященные Красной Армии, — «Красноармеец-большевик» (автор — Заграничный), «Красные конники» (автор — Б. Шварцштейн). В 1931 году вышла из печати хорошая партитура (для смешанного хора без сопровождения) С. Файнтуха на стихи «Урожай». Это — развернутое полотно с контрастными эпизодами, в сопоставлении и чередовании которых раскрывается идейный смысл произведения: урожай нужен для Красной Армии, оберегающей наш покой, он нужен детям — будущему нашей страны.

Дети... Редкие стихотворения Л. Квитко не напоминают нам о них. К ним обращено с любовью сердце большого поэта. Им посвящено почти все его творчество. «Я не знаю другого поэта, который умел бы так, как Квитко, с такой открытой, веселой сердечностью и так всерьез выразить чувства и мысли маленького советского человека, живущего сегодня на свободной мирной земле, вложить в его уста такие нужные ему простые и прекрасные слова», — читаем мы в критико-биографическом очерке В. Смирновой¹. Отличная мысль! И не потому ли так тяготеют к малышовым стихам поэта композиторы, посвятившие свое творчество делу эстетического воспитания детей?

Однако, прежде чем перейти к основной теме нашего очерка — к обзору детской музыки на стихи Л. Квитко, остановлюсь вкратце еще на одном его «взрослом» произведении хотя бы потому, что не зря же оно привлекло внимание четырех композиторов. Это полная юмора, легкой иронии жанровая миниатюра «Жених без невесты». Наиболее близки авторскому замыслу песни Е. Жарковского и, в особенности, Б. Мокроусова. Мчится «скачущая» мелодия и в тон ей звончатый аккомпанемент. Тонкий, но легко ощутимый национальный колорит роднит эту песню Мокроусова с многочисленными еврейскими народными шуточными.

Датой рождения первых детских песен на стихи Л. Квитко можно считать 1922 год. Именно в это время обратила внимание на детские стихи молодого поэта преподавательница пения и ритмики на курсах дошкольных педагогов Р. Боярская, выпускница Фребелевского института в Киеве и Киевского музыкального училища РМО по классу рояля и композиции. Л. Квитко с его стихами, обращенными к дошкольному возра-

¹ Вера Смирнова. Лев Квитко, М., Детгиз, 1957, стр. 14.

сту, дал молодому композитору верный ключ к сочинению малышей песен¹.

Ощутимые сдвиги происходят в музыке для детей в тридцатые — сороковые годы. Разветвленная сеть дошкольных учреждений, обязательные уроки пения в начальной школе, бурно растущая детская художественная самодеятельность — все это требовало увеличения, а главное, обновления песенного репертуара. На помощь композиторам пришли детские поэты, пришел Квитко с его веселой выдумкой, с его особым свойством говорить о самых обыкновенных вещах как о первозданном чуде, с его неизменным лейтмотивом — «как много в жизни интересного!».

И вот уже звенят детские голоса в оживленном музыкальном диалоге с «непреклонным» колхозным бригадиром-животноводом в песне «Анна-Ванна бригадир» (для детского двухголосного хора и солиста), автор которой, признанный мастер детской музыки М. Красев, сумел привести в нее элемент игровой, полутеатрализованной. Это же стихотворение привлекло внимание такого выдающегося композитора, как С. Прокофьев: песня «Поросята» вошла в его детскую песенную триаду.

Весело и озорно заиграла «Дудочка» в умелых руках композитора З. Компанейца. Простенькая, непрехотливая, но милая детская песенка М. Иорданского рассказывала о чудесной «Скрипочке» маленького фантазера-изобретателя. Зазвучали, новыми красками заиграли эти же стихи в четырехголосном хоре мальчиков государственного хорового училища, которому посвятил пять песен на стихи Л. Квитко композитор И. Неймарк: «Зерна», «Урожай» (детский вариант, в котором поэт, а вслед за ним и композитор звукообразно передают веселый шум обозов, везущих новый урожай), «Анна-Ванна бригадир», «Ручеек» с его звенящими, поистине поющими стихами и, наконец, та самая «Скрипочка», которая не раз еще «соблазнит» своей одухотворенной музыкальностью самых разных композиторов.

Об этом произведении стоит поговорить особо. Нет среди стихов Квитко таких, которые были бы столь разножанрово представлены в музыке, как его «Скрипочка»: одnogолосная песенка, рассчитанная на исполнение детьми младшего возраста,

¹ Одна из этих песен Р. Боярской — «Дудочка» — включена в обработке М. Раухвергера в ее авторский сборник песен на стихи еврейских поэтов. М., изд. «Музыка», 1966.

хоровая — для подвинутого, полупрофессионального детского хора, сольная — для концертного слушания (В. Нечаев, В. Блок — Эстрада для детей) и, наконец, один из важнейших компонентов большого симфонического полотна (М. Вайнберг. Шестая симфония).

«Скрипочка» дала название всему семичастному циклу «вокальных картинок» В. Блока на стихи Л. Квитко (для высокого женского голоса в сопровождении фортепиано). В каждой из этих семи «картинок» есть свои интересные музыкальные находки. Не связанный ограниченными возможностями детского исполнительства, композитор усложняет фортепианную фактуру, обогащая инструментальную партию образной выразительностью интересного музыкального «комментатора» поэтического текста. Драгоценный ритмоинтонационный сплав мелодических оборотов, близких разговорной детской речи, в очень ясной, простой по существу вокальной партии воссоздает достоверный образ маленького лирического героя, от имени которого выступает автор. Цикл начинается торжественным «зачином» — «К солнцу», за ним следуют «Качели», «Дудочка», шуточная «Из Бембы в Дрембу», медлительная «Медведь в лесу», «Веселый жук» и завершающая весь цикл «Скрипочка».

Потребность в новом концертном репертуаре для детей побудила не одного В. Блока обратиться к творчеству Л. Квитко. Еще в конце тридцатых годов зазвучали песня П. Акуленко «Письмо Ворошилову» на стихи, которые, казалось, знали наизусть все дети нашей страны, и две песни для голоса с фортепиано В. Нечаева — «Корова» и «Скрипочка». Позднее появляются обаятельные вокальные миниатюры для маленьких слушателей композитора З. Левиной. Сколько неизбывного юмора в песне «У Левушки только одна голова», особенно в чередуемых долгими паузами, коротеньких «недоуменными» репликах! Обаятельна в своей воздушной крылатости грациозного шестидольного размера мелодика песни «Две мушки». А диалогическая форма стиха и затейливый наигрыш, завершающий каждую музыкальную строфу песни «Пастух», при вполне доступной младшим школьникам вокальной партии, таит в себе благодарный игровой материал.

Знанием специфики детского музыкального восприятия (имею в виду дошколят и первоклассников) отличаются песни М. Мильмана «К солнцу», «Лесопилка», «Дудочки» и «Урожай», с их простой и ясной, легко укладывающейся в детском сознании мелодикой и прозрачной фортепианной партией, вто-

рящей поющему голосу, но неизменно сохраняющей свое «лицо», несущей в себе музыкальный образ, подсказанный поэтическим текстом.

Все больше появляется в последние десять — пятнадцать лет хоровых песен на детские стихи Л. Квитко. Неизмеримо возросший уровень детских хоровых коллективов — как качественно, так и количественно — позволяет композиторам создавать произведения с более сложной, раскрывающей богатство и красочность образной речи поэта партитурой. Интересно сделаны три хора для детских или женских голосов: «Про коня и про меня», «Ветер» и «На катке». Автор музыки И. Неймарк сумел чисто голосовыми средствами, в хорах без сопровождения воссоздать образы, подсказанные поэтом, найти в хоровой палитре соответствующие краски, помня, однако, что петь-то должны сами дети. Не забывает об этом и композитор М. Грачев, в чьем цикле из четырех детских песен для голоса и хора в сопровождении фортепиано впервые положены на музыку такие стихи Л. Квитко, как «Утро», «Чьи вы?» и «Первый певец». Автор широко использует в своих песнях прием звукоподражания.

Внутреннее родство стихов «К солнцу», «Первый певец» и «Ручеек» почувствовал композитор А. Холминов. Этот трединый гимн вечно возрождающейся природе, так любовно воспетой поэтом во многих и многих его детских стихах, позволил автору музыки объединить три детских хора, рассматривая их как равноправные части маленькой песенной кантаты. Апофеозом пробуждающегося дня звучит первая часть — «К солнцу» — в хоре без сопровождения. Радостно откликается хор на голос, на щебетание первых вестников весны во второй части кантаты — «Первый певец». Своеобразна музыка третьей части — «Ручеек». Вся песня построена на близкой народной, постепенно повышающейся припевке-прибаутке. Особую прелесть финалу маленькой кантаты А. Холминова придает постоянное чередование двух сложных ассиметричных размеров — семидольного и пятидольного.

...Поет хор мальчиков. Поет легко и привольно, заполняя своим звучанием всю вторую часть симфонии М. Вайнберга. Словно соревнуясь друг с другом, вышивают узорчатые виртуозные фиоритуры флейта пикколо и скрипки. Свет безмятежной радости жизни — вот что символизирует включение «Скрипочки» Квитко в симфонию, в которой автор детскими устами (четвертая часть и финал симфонии тоже построен на

хоровом материале) прославляет мир, бичует жестокость, призывает к походу против войны.

Обратившись к стихам Квитко в симфонии глубокого идейно-художественного замысла, композитор словно почувствовал то главное в творчестве прекрасного советского поэта, что делает его любимым и взрослыми и детьми, что помогает нашим композиторам создавать художественно полноценную детскую музыку и о чем столь красноречиво сказал С. Маршак: «Он (Квитко) находит к самым ответственным темам ту дорогу, по которой идет к ним ребенок».

ВОСПОМИНАНИЯ



II

Р. Квитко.
Мальчишество добро —
было сущностью его жизни



Маленький белый глиняный домик на высоком берегу Буга, на Украине, в селе Голосково. Стекла-окна без занавесок сверкают чистотой и пропускают много света и солнца. В домике две комнаты и кухня, в которой всегда пахнет цикорием, а по пятницам еще и жареными семечками. Кухонька тоже залита солнцем, в ней тепло и уютно. Тут в детстве Лев мастерил свои игрушки, играл со своими товарищами, стал писать стихи и отсюда ушел в большой мир.

Когда Лев Монсеевич родился, то, по выражению тогдашних бабушек, его записали «среди рябой фасоли», то есть попросту — нигде, а вспомнили об этом спустя несколько лет, и Квитко, который никогда не ладил с цифрами и датами, всякий раз называл год своего рождения по-разному: 1893, 1895, а позже, во всех официальных документах писал: год 1890. Так и осталось: 1890 год, 11 ноября.

К десяти годам он остался сиротой. Отец, мать, брат и сестра умерли от туберкулеза, а спустя несколько лет — еще один брат и две сестры также погибли от туберкулеза.

Друзья детства запомнили его длинным, тощим мальчонкой с поднятыми вверх худыми плечами, с большими, блестящими, полными любопытства глазами. Сверстники дразнили мальчика и прозвали его большие глаза «буркалами». Это было обидно. Маленький Лейб (дословно — Лев) где-то слышал, что от слез глаза становятся меньше, и он старался их уменьшить, плача по всякому поводу.

Мать, пришибленная горем, погруженная в тяжкие думы о своих погибших детях, стала гложуть, забросила заботу о двух своих самых младших детях — о Льве и его сестренке Лийке. Во всех ее рослых, красивых детях где-то глубоко таялся очаг туберкулеза и пожирал их одного за другим.

Отец не любил оставаться дома. Его тянуло странствовать. По рассказам Квитко, это был красивый человек с черной, пушистой бородой, мастер на все руки. Все мог он смастерить: вытесать стол, лежанку, отлить подсвечники, переплести книгу, одного только он не мог — обеспечить своей семье верный кусок хлеба. Обладая некоторыми знаниями, он стал учительствовать, переезжая из одного села в другое.

Когда он, поднакопив немного денег, приезжал домой, дети переполнялись гордостью: и у них дом как дом, и у них есть отец. Но счастье длилось недолго, отец томился в своем доме и вскоре снова исчезал.

Главным человеком в семье была бабушка, на ней все держалось. Она одна из всех не поддавалась бедам, которые, точно из дырявого мешка, сыпались на голову ее единственной дочери. Друзья и знакомые Квитко, знавшие бабушку, превозносили ее удивительную доброту и дружелюбие, ее мудрость и стойкость. Большая любовь связывала внука и бабушку. Бла-

годаря ей маленький белый домик сверкал чистотой и опрятностью. Искусство с умом тратить каждую копейку, попадавшую в ее руки, давало бабушке возможность постоянно иметь горячее варево для домашних, а для детей — и козье молоко. Хлеб бабушка не пекала, считала свежий хлеб лакомством. Она покупала за полцены черствый хлеб или мешок сухарей у крестьянки на базаре. По утрам варила цикорий с козьим молоком, в обед кулеш и мамалыгу, которая камнем ложилась в желудке, зато по пятницам обязательно было вкусное жаркое, по субботам — бульон и маленькая костистая рыбка-плотва с картофелем в рыбном соусе, а для бабушки и чарочка водки, в которую она макала субботнюю булку.

Хождение в хедер было для Квитко мукой, и он придумал способ избавления: хватался за живот и истошно кричал. Его крик буравил уши — и его оставляли дома. Поэтому до десятилетнего возраста Лев был неграмотным.

С малых лет он «говорил» стихи, но записывать их, по неграмотности, не умел. Часть стихов, которые он «говорил», потом вошла в его первый сборник стихов для детей «Лиделах», изданный в 1917 году.

Десяти лет Квитко самоучкой овладел грамотой и стал взахлеб читать все, что попадало в руки. Русскую азбуку он знал на память. Вместе с приятелем, взявшись за руки, они ходили вокруг дома и дружно выкрикивали: «А-Б-В-Г-Д-Е...» — и так весь алфавит. Но как выглядит этот алфавит в печатанном виде, он не знал. Не было пятака на покупку азбуки. Однажды, решившись, он кинулся к глухой матери и, крича ей в ухо, что у него болит зуб, что ему нужна «азбучка», потребовал у нее деньги. Чтоб отвязаться от него, она сунула ему пятак.

Купив желанную азбуку, он, как это принято в еврейской письменности — читать справа налево, тут же стал заучивать русские буквы справа налево. Получилась абракадабра, пока какая-то добрая душа не объяснила ему его ошибку. Умение читать показалось ему таким огромным счастьем, что он стал всех своих товарищей втягивать в чтение и прежде всего взял за свою маленькую сестренку. Он с пылом принялся вколачивать в нее свои знания, не пускал ее на улицу играть с детьми, требовал, чтобы ребенок сидел только за книжкой, и приходилось силой отрывать учителя от ученицы. Сам же он носился по селу, выпрашивая книги, и вскорости ему удалось составить для своих товарищей «библиотеку».

С десяти лет он стал работать по найму. Первая работа была на маслобойне — погонять слепых лошадей по кругу. Потом началась череда работ у разных хозяев. Шил на машине заготовки для обуви, работал у кожевника при сырых кожах, был маляром, красильщиком, подручным на складе, легом батрачил на панских полях. С юных лет пристрастился к странствованиям. Пешком исходил все близлежащие села, местечки, пешком, а иногда на подводах добирался до Херсона, Николаева, Одессы. Постоянное пребывание на свежем воздухе закалило его и, по-видимому, помогло предотвратить туберкулез, который, возможно, и в нем таился.

Испробовав множество профессий, он, однако, нигде подолгу не задерживался, вернее, его не задерживали. Не нравился он хозяевам. Его отсутствующий вид и рассеянность раздражали их, он пропускал мимо ушей приказания, и его все чаще стали отсылать домой. Не раз являлся он к бабушке с вестью: служба кончилась. Но дни между одной и другой службой были для него подлинным праздником. Дома ждали его друзья, книги, незаконченные переплетные, столярные дела. Он доказывал бабушке, как важно закончить все эти дела, и бабушка принимала его сторону.

Домик на берегу Буга стоял на просторе, обвеваемый ветрами со всех четырех сторон, доступный солнцу, и солнце стало самым сильным впе-

чатлением его детства. Поэтому, должно быть, в стихах его так много гимнов солнцу. Его друзья и поклонники называли его «солнечным Квитко». Огромное влияние оказала также близость реки Буг.

Летние вечера он со своими друзьями проводил на реке. Они соревновались в плавании под водой, читали стихи, спорили, а в зимние вечера стужа загоняла их в бабушкин теплый домик, и бабушка гостеприимно угощала их горячими жареными семечками, кипятила для них чай. Квитко рассказывал, что в такие вечера она сидела в улке притихшая, раскрасневшаяся, в своей неизменной старой шали на плечах и взволнованно слушала стихи и разговоры молодежи. Она твердо верила, что внуку ее предстоит большая дорога в жизни.

Один только раз я видела Квитко плачущим — это когда он, живя у нас в Умани, узнал о том, что бабушки уже нет в живых.

Позже он, бывало, задумавшись, глядя куда-то вдаль и горестно вздыхая, выводил:

«Бида, биду,
нэма, ништу-у,
як я до дому
без вивци прйду...»

Это была песня его бабушки, которую она певала, думая о горькой судьбе своей семьи. Часто вспоминал Квитко свою любимую бабушку-мать, ее натруженные руки, доброе, мудрое лицо, ее любовь и заботу о нем. Свои первые ненапечатанные стихи он подписывал: «Лев Бабушкин».

Шестьдесят верст отделяют село Голосково от города Умани, если добираться на подводе или с извозчиком-балагулой. Стоило это недешево. Но худенький подросток занимал мало места и с него брали полцены. Таким образом Квитко, напущаемый бабушкой, каждое лето появлялся у своего дяди, бабушкиного брата в Умани. Дядя, человек недалекий, имел одно большое достоинство — пристрастие к литературе. В молодости сам мечтал посвятить себя ей (в роду у них были дяди-литераторы), но обзавелся семьей и стал приказчиком в мануфактурном магазине. Бедняк, он тем не менее охотно принимал племянника. Он гордился тем, что в их семье подрастает поэт.

Умань притягивала Квитко своим роскошным парком Софиевкой. Заложенный в 1796 году графом Потоцким для жены Софии, парк славился как один из красивейших на Украине.

Парк этот — действительно чудо, он тянется на многие километры, в нем есть пруды, подземный канал, пещеры, роскошные водопады, острова, скульптуры, разнообразнейшая флора и фауна и один из крупнейших на Украине институт садоводства.

Выбираясь из затхлых, кривых улочек в Старом городе, на Раковке, где жил его дядя, Квитко с утра уходил в Софиевку на весь день и возвращался к вечеру, с записями новых стихов в тетрадке.

Как поэт Лев Квитко сложился в Умани. Этот небольшой украинский городок с пятидесятитысячным (до революции) населением¹ сыграл немалую роль в развитии советской литературы. В Умани жили, родились, учились, становились литераторами и посвящали этому городу свои про-

¹ Умань считалась революционным городом. Вокруг небольшого завода «Труд» концентрировались революционно настроенные рабочие. В 1905 году в его подпольной типографии перепечатывалась газета «Искра»,

изведения такие писатели, как Юрий Смолич, Микола Бажан, Иван Кулик, Александр Корнейчук (родившийся на станции Христиновка, в полчаса езды от Умани). Уроженцами Умани были поэты Эзра Фининберг, Мойша Хашеватский, прозаик Григорий Полянкер, а также классики еврейской литературы: Дик, Спектор, Браславер — поэт, сказочник, философ.

Известный прозаик того времени Давид Бергельсон, родившийся близ Умани, подолгу живал в этом городе у своего брата и изучал там своих героев. Умань дала целую плеяду известных музыкантов, художников и политических деятелей, особенно проявивших себя после Октябрьской революции.

*

Нас было шестеро у матери: три дочери и три сына. Старшей дочери было двадцать лет, средней — восемнадцать, мне — шестнадцать. Мы зачитывались стихами и прозой, любили музыку. Устраивали литературные вечера. Я училась в музыкальном училище по классу фортепьяно, сестра — игре на скрипке. Отец — потомственный виноградарь, родом из Бессарабии, самоучкой играл на скрипке молдаванские дойны и любимые всеми нами украинские песни.

У нас часто собиралась молодежь. Приходили спорить о литературе, петь под аккомпанемент пианино, некоторые приносили свои скрипки и часто все гурьбой отправлялись в Софиевку.

Софиевка была местом встреч и гуляний уманской молодежи. В 1915 году в этом парке нам повстречался незнакомый юноша, окруженный целой ватагой девушек.

Слухи о Квитко как о талантливом поэте дошли и до нас. Однажды летним вечером в сопровождении нашего друга появился тот незнакомый юноша из Софиевки. Он как-то боком продвинулся в дверь, медленно, настороженно. Выше среднего роста, худой, с приподнятыми, широкими плечами. Правильные черты лица, большие светло-карие, блестящие глаза, красиво очерченные губы, привлекательная белозубая улыбка. Красивые руки с тонкими пальцами. Сняв шляпу-котелок, он обнажил высокий лоб и целую копну густых, очень черных волос, торчавших, точно пружинки, вверх.

В тот же вечер, почувствовав себя среди нас непринужденно, он вынул из кармана узкую тетрадку, исписанную бисерным почерком, и стал читать свои стихи. Читал он звучно, отчетливо, очень естественно, словно разговаривая.

После этого вечера он стал у нас частым гостем. Я тогда кончала музыкальное училище и много играла. Он усаживался вблизи меня, вынимал из кармана свою узкую тетрадку и, опустив веки, обрамленные густыми, короткими ресницами, беззвучно что-то шептал, временами вписывал строки, держа левой рукой огрызок карандаша и поднимался со стула только тогда, когда я кончала играть.

*

Он тихо входил в дом, тихо разговаривал, держался с достоинством. С юмором рассказывал о своих домашних неполадках. Готовность подтрунивать над собой была в его характере.

Он озадачивал нас непонятными поступками; почему-то носил не кепку, а котелок. Иногда сбрасывал свою пышную шевелюру, что очень ему не шло и делало его старше. На вопрос, зачем он это делает, отвечал, что шевелюра мешает ему носить котелок...

Вертя в руках старую брошку из граненых стекляшек под бриллианты, он долго любовался игрой их лучей на солнце, потом попросил разрешения поносить ее и приколот к своей серой байковой блузе. Эту брошку он некоторое время носил и даже сфотографировался так с нами, сестрами. Мы относились к этому как к причуде поэта и не решались сказать ему, что мужчинам не подобает носить брошки.

История с котелком объяснилась позже: ненавидя царский строй, царскую армию, он твердо решил уклониться от призыва и жил по чужому паспорту. По паспорту он был намного старше, а котелок, по его мнению, придавал ему солидность. И хотя котелок совершенно не вязался с остальной его одеждой, он, казалось, этого не замечал.

Одним солнечным летним днем он появился у нас вместе со своим другом, поэтом Хашчеватским. Оба были в приподнятом настроении. Глядя на меня сияющими глазами, он протянул мне маленький альбомчик. Альбомчик был исписан аккуратными, маленькими, словно бисер, буквами...

— Эта поэма посвящается вам,— сказал Квитко. Он прочел поэму вслух.

В поэме говорилось о чудесном саде, но... наглухо закрытом. Поэма была написана как бы на одном дыхании, она звучала как музыка. Смущенная, я взяла из его рук альбомчик, забыв сказать спасибо.

Его друг смотрел на меня, улыбаясь и покачивая головой. «Поняла ли она прелесть этой поэмы?» — вероятно, думал он. Разбирая потом поэму строчку за строчкой, я училась по ней читать, как потом училась литературному языку по письмам Квитко ко мне.

Эпистолярным искусством на языке идиш он владел в совершенстве. Мне кажется, что никакие дневники, если бы он их вел, не могли бы сказать о нем больше, чем эти написанные ярким поэтическим языком письма, в которых так колоритно, живо отражалась его жизнь. Десятилетиями я складывала его письма в пачки и берегла, но уберечь их мне не дано было.

*

Живя подолгу в Умани, он подружился с поэтами Фининбергом и Хашчеватским. Как-то они прослышали, что в Умань к своему брату снова приехал замечательный прозаик Давид Бергельсон. Друзья настояли на том, чтобы Квитко почитал ему свои стихи.

Ранним утром с бьющимся сердцем Квитко появился у писателя. Стихи произвели на Бергельсона сильное впечатление новизной и самобытностью. Бергельсон понял, что перед ним недоюжинный талант, но сколько он ни старался выпытать у Квитко, есть ли у него образование, какие у него знания, из какой он семьи, Квитко отвечал односложно и неохотно. Неожиданно в комнату вошла хозяйская собака, и тут Квитко преобразился. Он стал играть с собакой и рассказывать Бергельсону интересные истории об этой породе собак, потом перешел на другие породы и с увлечением, со знанием дела рассказал ему о характерах и повадках разных пород собак.

Позже Бергельсон сообщил своей невесте, жившей в маленьком городке поблизости от Умани, о том, что познакомился с интересным поэтом, пригласил его к ней в гости! Узнав о приглашении, невеста встревожилась: мало того, что сам Бергельсон был не очень желанным гостем в доме ее матери, их брак висел на волоске,— он еще пригласил к ним своего случайного знакомого! Ее строгая мать могла указать на дверь жениху вместе с его дружкой... Но все обошлось как нельзя лучше. За те несколько дней, что Квитко провел в ее доме, мать невесты словно прикипела к нему душой и к тому же прониклась уважением к своему будущему зятю

и его работе писателя, к которой она относилась довольно пренебрежительно. Обладая даром убеждения, Квитко раскрыл перед ней значимость таланта Бергелсона, и хозяйка дома уверовала в него.

Уезжая, Квитко оставил писателю свои стихи, а тот увез их в Киев, где тогда находилось издательство «Культур-лига», и вскоре сообщил Квитко, что стихи его пользуются большим успехом и что ему следовало бы приехать.

Стоя в тамбуре переполненного вагона, опухший от голода и холода Квитко добрался до Киева.

Был конец 1917 года. Обрадованная тем, что царизм пал, что все запреты сметены, я, через несколько месяцев после отъезда Квитко в Киев, уехала туда же поступать в консерваторию.

Вид чудесного Киева, необычайное оживление на улицах, яркая, полнокровная жизнь большого города увели мои мысли далеко, и я даже мало вспоминала о доме, как вдруг получила переданное кем-то письмо о том, что мать при смерти — рак. В тот же день я повидалась с Квитко и сказала, что еду домой. Он решил ехать со мной, и мы отправились на вокзал.

Была зима. Поезда тогда, в дни революции, возили пассажиров бесплатно. Надо было только изловчиться и найти место для сидения или хотя бы для стояния.

Когда мы пришли, поезд был уже переполнен. Мы нашли в проходе более или менее свободное местечко и уселись на своих вещах. Вагон не отапливался, тепло было только от дыхания людей, я уснула, и Квитко, сняв свое пальто, подбитое ветром, укрыл меня. Поезд еле тащился, и на дорогу ушло несколько дней.

В Умани он снял темную комнатенку в старом городе. Иногда я навещала его. Чтобы попасть в его каморку, я должна была проходить сквозь строй любопытных взглядов хозяев и их домочадцев. В их глазах я была дочерью уважаемых родителей, «пианисткой», и им казался непостижимым мой интерес к человеку, которому, похоже, и за квартиру-то нечем будет платить...

Бутылки подсолнечного масла и мешочки сахара, которые я тайком выносила из дома, были в тот голодный год большим подспорьем для Квитко.

Позже он нашел несколько уроков и снял недалеко от нас комнату с электрическим светом, с балконом. Однако прежние вечера в убогой комнатухе с маленькой керосиновой лампочкой на стене, когда Квитко вполголоса читал мне свои стихи, бережно листая листок за листком, навсегда врезались мне в память.

Однажды Квитко пригласил меня на прогулку. На одной из улиц он неожиданно остановился и, прижимая руку к груди, волнуясь, сказал:

— В сердце у меня расцветает дивный цветок, прошу вас, не рвите его...

— Разве я рву?!

— В клочья, — ответил он с силой.

Сестра моей недавно умершей матери, узнав о сватовстве и считая, что она должна взять опеку надо мной, спросила:

— А чем занимается твой жених?

— Он пишет стихи.

Тетя всплеснула руками:

— И на стихи ты собираешься жить?!

По настоянию отца свадьбу пришлось совершать по еврейскому ритуалу. Это произошло у нас в садике за домом, и когда я, с кружевной повязкой на глазах, делала торжественные круги под красным балдахином, тетя что-

то шепнула мне на ухо. Я рассмеялась: «Тетья советует мне наступить тебе на ногу!...»

Мне шел девятнадцатый год, была революция, и весь этот ритуал казался мне смешным.

Я не наступила ему на ногу, но наша совместная жизнь сложилась так, что Квитко почти всегда считался с моим мнением, и когда я, следуя своей склонности казнить себя за несправедливые поступки, укоряла себя вслух, он, закрывая уши руками, говорил:

— Не говори о себе плохо, ты так действуешь на меня, что я все начинаю видеть твоими глазами.

В Киеве его уже издавали и считали талантливым поэтом.

Время было чудесное, полное надежд и неожиданностей. Книжки Квитко, его выступления на вечерах, на предприятиях пользовались большим успехом. Квитко обладал даром привлекать к себе людей, и нас постоянно навешали литераторы, художники, критики; горячие споры о литературе, о новом искусстве затягивались допоздна. В 1918 году в Киеве он опубликовал свою известную поэму «Ин ройтн штурм» («В красном вихре») — одну из первых на Украине, воспевающих революцию и только что сформированную Красную Армию.

Критики склонны считать, что Лев Монсеевич написал эту поэму под влиянием «Двенадцати» Блока. Вряд ли это так. Он начал писать ее в 1917 году в Умани. Умань — небольшой город на Украине, железной дороги дальше Умани нет. Город был в оккупации. В ту трудную пору полной разрухи до Умани не доходили ни газеты, ни журналы не только из Петрограда, но даже из Киева.

Напечатал Квитко поэму в 1918 году, когда приехал в Киев во второй раз. По содержанию обе поэмы несхожи, роднит их только революционный пафос.

Критик Г. А. Ременик в своей статье, напечатанной в журнале «Советиш Геймланд», № 11, в 1970 году, говорит: «...Квитко написал свою поэму буквально на следующий день после революции, она полностью пронизана ее великой поступью, ее интонациями и ритмом, ее темпом и дыханием...»

*

В киевском ревкоме нам предложили квартиру на выбор, но мы сказали, что хотели бы получить комнаты с пианино (я поступила в консерваторию). Это было выполнено немедленно, словно по шучьему велению!

Жить было весело и интересно, но существовать на гонорар было невозможно, и Квитко поступил грузчиком на склад того издательства, которое выпускало его книги, а позднее стал работать в детском доме.

В Киеве, на Кузнечной улице, где мы жили, на углу находилась тогда студенческая столовая, которая была местом встречи писателей, художников, музыкантов. Столовая ощутимо поддерживала нас супом и пшенной кашей. Иногда к каше добавлялся кусочек мяса. Но и эти обеды не всегда были нам по карману: надо было покупать абонемент, то есть платить вперед.

Весной 1919 года я была вынуждена вернуться в Умань. Пришлось прервать занятия в консерватории, голодная жизнь в Киеве измотала меня, надо было срочно подумать о будущем: я ждала ребенка. Квитко тогда был студентом театральной студии при Культур-лиге, но время было тревожное, он не мог решиться отпустить меня одну, и мы уехали вместе.

Уже на вокзале в Умани началось неладное: поезд был окружен бандой «зеленовцев». Всех высадили из вагонов и выстроили перед зданием вокзала. Мужчин куда-то уводили. Стало ясно, что сейчас случится непоправимая беда. Вглядываясь в лица окружавших нас бандитов, я заметила стоявшего сзади меня паренька с довольно привлекательным лицом.

— Послушайте,— сказала я ему тихо,— мы студенты, приехали на поевку к родителям... я... у меня тут... — И я растерянно похлопала рукой по карману пальто, где лежали все наши сбережения.— Пропустите нас в город...

— Пошли! — сказал он просто.

Я потянула Льва Моисеевича за рукав, и мы вышли из круга.

У меня оборвалось сердце: мне казалось, что остальные сейчас накинутся на нас и растерзают. Но ничего не произошло.

Паренек вывел нас за пределы вокзала. Квитко шел немного впереди, парень рядом со мной и для чего-то часто вскидывал ружье. Вскоре он сказал:

— Ну, я иду обратно...

— Погодите,— сказала я и взялась за карман.

— Не надо,— ответил он и торопливо ушел.

Я опустила руку в карман. Карман был пуст. Ошеломленная, смотрела я ему вслед: ворнишка сам взял все, не дожидаясь какой-то доли. Позже мы узнали, что многие мужчины с вокзала не добились.

В Умани нам пришлось прожить несколько месяцев. Одна банда смеяла другую, город переходил из одних бандитских рук в другие. Выбраться из города было абсолютно невозможно. Смельчаки, решавшие прорваться сквозь их кольцо, дальше Христиновки не добирались.

Как-то раз я отправилась по какой-то срочной надобности на другую улицу. Проходившие мимо бандиты стреляли в меня, и с тех пор у меня начались сердечные приступы. Врач сказал, что не ручается за благополучный исход родов.

Погромы, происходившие в городе, Квитко переживал намного сильнее меня. Точно затравленный, ходил он по комнате из угла в угол, исписывал стихами каждый попадавшийся ему клочок бумаги, загадывал, каким будет его ребенок. Он писал:

«Будет дитя мое, цвет мой радости,
Печальным ребенком с сумрачной душой.
Будет дитя мое — пугливой веточкой,
Овечьими страхами, серыми сумерками...»

(Подстрочный перевод)

Вопреки всем предположениям, дочь родилась ладной, крепкой. Но появились новые страхи: нельзя было допустить, чтобы плач ребенка привлекал внимание бандитов, и мы заглушали его подушками.

При вступлении первых красных частей в город Квитко уехал в Киев, увозя книгу стихов.

Для издания книг 1921 год в Киеве был самым тяжелым; хотя они печатались на серой газетной бумаге — истощились и эти запасы в издательстве «Идишер фолкс ферлаг», и тогда издательство решило перенести свою деятельность в послевоенную Германию.

Нескольким известным писателям было предложено последовать за издательством в Берлин. Главное, что прельщало Льва Моисеевича в этом пред-

ложении, было обещание издательства напечатать все книги, которые он когда-либо напишет, и этим самым дать ему возможность получить образование, которого он был лишен и которого ему так не хватало.

Улица Кант-штрассе, на которой мы поселились, изобиловала пансионатами и была привлекательной для иностранцев своим видом. В отличие от большинства берлинских унылых, сероказарменных улиц в ней было какое-то очарование, то ли потому, что была она обсажена тенистыми деревьями, то ли потому, что на ней не было шумных торговых магазинов, одни только небольшие, элегантные продуктовые магазинчики и небольшие, уютные кафе.

В нашей комнате было большое окно-фонарь, через которое далеко просматривалась улица. Под нами находился прославленный в то время дорогой еврейский ресторан «Кошер»¹, куда ходили обедать крупные бизнесмены. Ежедневно приходил туда и знаменитый поэт Нахмен Бялик.

Бялик, живший в то время в Берлине, занимался издательской деятельностью и привлекал к работе нуждавшихся начинающих литераторов. Эти литераторы навещали Квитко, и, перемежая свои рассказы о Бялике сетованиями на свою голодную жизнь и на его, Бялика, прижимистость, восторгались им как поэтом.

Встретив его однажды на улице близ ресторана, Лев Моисеевич сказал ему: «Я частенько вижу Вас через окно моей комнаты и говорю своей дочери: «Гляди, вот идет гениальный поэт Бялик, который променял поэзию на коммерцию»...

*

Обещания издательства оказались мыльным пузырем. Для того чтобы существовать, надо было сотрудничать в реакционной прессе, на это Лев Моисеевич ни за что не соглашался.

Однажды группу писателей, приехавших в Берлин из Советского Союза вместе с Квитко, пригласили посетить промышленный район Германии — Рур. Перед возвращением в Берлин гости зашли в ресторан пообедать. Там, вольготно расположившись в кресле, один из писателей, слышший хорошим рассказчиком, похвастал своей удачей: его богатый родственник в Берлине предложил ему жить в его обширном особняке. О том, что ему было предложено пустовавшее подвальное помещение, он умолчал. Затем он представил в лицах свой разговор с глуховатой, пришибленной кухаркой этого родственника.

К концу рассказа Квитко, наливаясь гневом, стукнул кулаком по столу: «Эта женщина — моя мать! Это с ней ты так разговаривал?!» В наступившем молчании Квитко поднялся и ушел из ресторана. Приехал в Берлин подавленный. Назревал разрыв. Необходимо было уйти из этой среды, которая уже стала разлагаться. Тогда Квитко обратился в советское торгпредство. Там ему помогли издать два сборника украинских и белорусских сказок в его переводе и обработке, с иллюстрациями замечательного художника Лисицкого. По его просьбе Кожсиндикат при советском торгпредстве направил Квитко в гамбургский порт приемщиком кож из Рио-Гранде для Советского Союза.

¹ Еврейская религия запрещала есть мясо, не проверенное на бойне специальным резником. На таком проверенном мясе ставили клеймо, и оно называлось «кошерным».

Проведя весь длинный рабочий день в порту, он возвращался домой пропахший острым запахом кож, начинал усиленно мыться, переодеваться, но все же этот запах был почти неистребим.

В порту он столкнулся с злоупотреблениями и хищениями. Он не мог допустить, чтобы обворовывали его Советскую страну, и стал писать в Москву и в Лондон, где находились начальники «Аркоса»¹ и крайне огорчался, что никто не отзывается. Наконец его стараниями был прислан из Москвы специальный товарищ для упорядочения этих дел.

Рабочие, находившиеся под началом Квитко, открыто говорили ему:

— Хорошо вам, вы сами себе хозяин...

— Какой же я хозяин? Я не хозяин...

— И все же хозяин. За вами никто не надзирает...

Служка действительно была жесткая, ни единой лишней минуты для передышки. Бесправность рабочих и его собственное бессилие помочь им удручали его.

Вместе с ним в порту работал молодой англичанин, присланный английской фирмой следить за отправкой товара в Лондон. Как сдружились эти два человека — непонятно. Англичанин не знал никакого другого языка, кроме своего собственного. Только два русских слова он знал: «Конский волос», Квитко знал два английских слова, заимствованные у англичанина: когда тот отправлялся с работы домой, он показывал Квитко на часы и говорил: «Севан о'клок» (семь часов). И Квитко так и окликал его: «Севан о'клок».

Перед отъездом англичанина на родину мы пригласили его на обед, хотя недоумевали, как мы будем с ним объясняться. Англичанин оказался вихрастым, рыжеволосым, румяным парнем с улыбкой во весь рот. Чокаясь, он поднимал свой бокал и, улыбаясь, говорил: «Конский волос!» Квитко, поднимая бокал, отвечал с такой же сердечностью: «Севан о'клок!» Бесконечно повторяя свои два слова, они вкладывали в них такое разнообразие интонаций, которое было красноречивее целых фраз. Рекомендую ему какое-нибудь блюдо, Квитко, восторженно покачивая головой, восклицал: «Севан о'клок!» — а тот в восхищении отвечал, хватаясь за голову: «Конский волос!»

Весь обед они веселились, как дети. Ни тени пресловутой английской чопорности не было в англичанине. Прощаясь, он приложил руку к сердцу и с чувством сказал: «Болшевик!»

*

В Гамбурге Квитко стал членом Германской Коммунистической партии. Чтобы ввести его в круг партийной работы, его познакомили с одним коммунистом, поляком по национальности. Фамилия этого человека была Льву Монсеевичу неизвестна. Только первую букву имени он знал: товарищ И. Товарищ И. иногда приходил к нам домой, но чаще они встречались в кафе. Мысли, высказанные им, совпадали с мыслями Квитко, и, возвращаясь домой после таких встреч, Квитко восхищенно рассказывал мне о нем. Он доверял ему безоговорочно.

В Гамбурге он стал свидетелем и участником знаменитого восстания гамбургских рабочих в 1923 году. Об этом говорит его стихотворение «Гамбург, октябрь 1923».

¹ «А р к о с» — советско-английское кооперативное объединение.

Ярость и ненависть вызывали в нем биржевики, спекулянты. Он видел, как они, точно хищники на падаль, съезжаются из разных стран и, пользуясь инфляцией, скупают Германию за бесценок. В стихотворении «На берлинской бирже» он писал:

«Гляжу, как толстопузые
Дела ворочают на бирже,
Как цифры катятся, хихикая,—
Пришла пора мне матери письмо писать:
Мать моя,
Ох, мать моя,
Зачем ты родила нас.
Свет дала нашим глазам,
Кормила нас и холила?
Почему ты с малых лет
Нам сталью ногти не оковала,
Не научила калить утюги
И по этим толстым, жирным складкам
Раскаленным водить утюгом...
Мать моя,
Ох, мать моя,
И там, где надо позарез,—
Утюг остановить...»

(Подстрочный перевод)

Жгучей ненавистью к людям, сосущим кровь рабочих, были продиктованы эти и многие другие гневные строки. «Черви»,— называл он их. «Черви» — было самым бранным словом в его языке, и даже красивые, румяные плоды он с гадливостью отбрасывал, если в них оказывалась червоточина.

Переехав в 1922 году в Гамбург, он не прерывал связи с Советским Союзом и все рвался домой, но для отъезда с семьей нужны были средства, и Квитко передал свою последнюю книгу стихов издательству «Идишер литераришер ферлаг» в Берлине, надеясь на гонорар от книги вернуться на Украину.

Каково же было его горе, когда он спустя некоторое время, отпросившись с работы, приехал из Гамбурга в Берлин, чтобы получить гонорар за вышедшую книгу и не нашел ни издательства, ни хозяев. Издательство ликвидировалось, а хозяйка уехала в Америку, увезя с собой также и его гонорар... Так лопнула надежда на возвращение.

*

Следуя примеру Квитко, в Гамбург приехал известный писатель Дер Нистер¹. Чтобы не сотрудничать в реакционной прессе, он, оставив семью в Берлине, приехал сюда зарабатывать на жизнь в Кожсиндикате специалистом по квебраховой коре, которая была необходима Советскому государству для кожевенного производства. Живя одиноко, он почти ежедневно после работы приходил к нам. В его портфеле было множество

¹ Дер Нистер приехал в Берлин вместе с Квитко и другими писателями в 1921 году.

белых мешочков — пробы квебрахо. Он высыпал их на стол и сравнивал один сорт с другим.

В Гамбурге мы жили на Гурлиц-штрассе, которая спускалась прямо к чудесному, воспетому многими поэтами озеру Альстер. Озеро разделяло город на две части. На набережной Альстер, свободной от транспорта, располагались аристократические особняки, на аллее вдоль реки стояли скамьи, и мы ходили туда отдыхать и любоваться видом на озеро. Это было поистине феерическое зрелище, когда по вечерам над яхтами, лодками (это были главным образом собственные лодки зажиточных горожан) зажигались разноцветные фонарики. Лодки устлались яркими коврами, сидевшие на дне лодок люди развлекались, попивая вино под музыку, которая доносилась из плавучих ресторанов. Рестораны были ярко освещены, а пиротехники соперничали в показе фейерверков. Фейерверки были чудом пиротехнического искусства: над нами вспыхивали целые картины, которые долго держались в воздухе, прежде чем рассыпаться.

Лев Монсеевич брал напрокат лодку, и мы час-другой медленно скользили по воде, так как из-за множества лодок надо было искусно лавировать, чтобы не удариться бортом о чужой борт. Грести Квитко очень любил и всячески упрашивал Нистера сесть с нами в лодку, но тот неотрез отказывался. Однажды мы все-таки убедили его, но уже минут двадцать спустя он настойчиво потребовал, чтоб его высадили. Его бледно-зеленоватое лицо, расширенные от ужаса глаза испугали нас. На берегу он сказал, что на лодке его всегда тянет в воду...

Вместе с Нистером мы посещали известный гамбургский район Санкт-Паули, славившийся своими значными местами: разного рода увеселительными заведениями, кабачками. Сюда стекались матросы со всех кораблей, которые швартовались в Гамбурге. Нам нравилось наблюдать за веселящимися матросами, хотя посещение таких кабачков было небезопасно. Во время драк подвыпившие моряки пускали в ход ножи.

Гамбургские впечатления дали Квитко материал для его первой книги прозы «Кожи из Рио-Гранде» и для ряда стихов под названием «На чужбине».

Немецкий язык давался Нистеру плохо, и мы помогали ему в хозяйственных делах. Снимая очередную комнату в Гамбурге, он прежде всего осведомлялся, нет ли за стеной музыканта — слева, справа, над ним, под ним.

Музыка уводила его мысли в сторону, и он не мог писать, но, как и Квитко, глубоко любил музыку, и мы ходили на органные концерты Баха, которые там часто бывали в кирхе.

В Гамбург приезжал навестить нас писатель Меир Винер. Живя в Берлине, Квитко с ним очень сблизился и считал его своим лучшим другом. Винер был всесторонне образованным человеком, знал языки, учился в нескольких европейских университетах.

Много времени проводили друзья вместе. Часами оба могли мерить шагами берлинские улицы и вести бесконечные разговоры. Квитко с жадностью впитывал в себя большие знания Винера, а Винер с не меньшим интересом слушал воспоминания Квитко о его жизни, о большевиках, о Стране Советов.

Человек с привычками европейца, Винер любил проводить досуг в кафе. В такие вечера я была их неизменной спутницей. Уложив дочку спать и оставляя ее на попечение хозяйки пансиона, мы отправлялись в очередное кафе, которых Винер знал великое множество. Сидя за чашкой кофе с пирожным из творага и рюмкой ликера «Шерри-бренди», мы слушали интереснейшие рассказы. Кочуя из одного европейского университета в другой,

Винер много повидал; он много рассказывал нам о жизни и обычаях этих стран. И случилось так, что Винер, сын богача-фабриканта, подпал под сильное влияние Квитко. Вскоре после нашего отъезда на родину Винер навсегда покинул Вену, в которой постоянно жил с родителями, и приехал в Советский Союз уже как член Коммунистической партии.

Месяца два он прожил у нас в нашей тесной харьковской квартирке, затем его вызвали в Киев на педагогическую работу.

Живя за границей, Винер, блестящий знаток западной литературы, писал и печатал свои книги на немецком языке. По приезду в Советский Союз он темпераментно, со всей энергией окупился в изучение литературы на языке идиш. Автор исторических романов, литературовед, критик, историк, эссеист — он стал одним из лучших исследователей литературы, сочетая свою работу с чтением лекций в одном из московских институтов и большой общественной работой.

В первые же дни Великой Отечественной войны Меир Винер ушел на фронт добровольцем и погиб.

*

Я поступила на работу секретарем-машинисткой в хлебный отдел торгпредства (советское торговое представительство) в Гамбурге.

Однажды мне позвонили из советского консульства, которое помещалось в том же здании, что и торгпредство, и попросили срочно зайти к ним. Там я увидела Льва Моисеевича, бледного и удрученного... Произошло вот что: к нам на квартиру явилась полиция и произвела обыск — искали «письма из Москвы». Эти письма, по-видимому, были только предлогом для ареста.

С Квитко взяла подписку о том, что через 24 часа, после устройства своих дел, он вернется в полицию.

После ухода полиции он кинулся было ко мне, но по дороге решил зайти в советское консульство посоветоваться. В консульстве ему сказали, что через два-три часа отходит наш советский пароход в Ленинград и этим пароходом его отправят на родину. Меня отпустили с работы, и мы помчались собирать Квитко в дорогу. Вскоре мы простились, и его увезли в гавань. Через несколько дней ко мне пришли из полиции с требованием указать, где находится мой муж. Я сказала, что он исчез, не известив меня ни о чем... Так мне советовали отвечать. Такое посещение позже снова повторилось.

Я продолжала работать в хлебном отделе торгпредства, ждать писем и денег для отъезда на Украину.

В своем первом письме Лев Моисеевич рассказывал о том, как он был тронут встречей в Ленинградском порту. Кто-то сообщил в Ленинград, и его встретили пионеры с цветами и музыкой, а в остальном, писал он, еще ничего не ясно. Денег нет и квартиры тоже нет.

Когда через несколько месяцев я наконец пошла в полицию за разрешением на выезд, то была поражена тем, что визу выдал мне человек, который иногда запросто навещал нас. Однако о том, что он работает в полиции, мы, конечно, не могли знать.

Паспорт мой был просрочен, и я боялась осложнений, но чиновник ни словом не обмолвился об этом, а я сделала вид, что не узнала его.

По правилам КПГ иностранцы должны были хранить свои партийные билеты в партийном комитете. Однако у Квитко не было никакой возможности поехать туда за своим билетом. Лев Моисеевич потом не раз писал и просил своих друзей в Гамбурге выслать или передать через кого-нибудь

этот документ, но ответ был один: «Партийный билет выдается на руки только лично владельцу...»

После всех тревожений с отъездом уже в поезде мне стало плохо: жар, рвота, головокружение. Дочка требовала заниматься ее, читать ей книжки, и, чтобы склонить меня к чтению, она привела немецкую пословицу: «Надо работать, работа услаждает жизнь». Это привело в умиление сидевшего рядом немца. Но работать было невозможно, пришлось прервать поездку. Сосед по купе помог нам сойти с поезда на какой-то маленькой станции. Шатаясь, добрела я до гостиницы, вызвала врача. Хозяйка гостиницы взяла на себя заботу о дочке.

Гостиница, врач, мои растерянные телеграммы в Харьков и в Берлин с просьбой о присылке денег съели мой скудный остаток марок. Я подумывала о том, чтобы предложить хозяйке гостиницы взамен платы свое обручальное кольцо, кое-что из вещей, но в последний момент прибыли деньги из Харькова и из Берлина. Через четыре дня мы сели в первый же поезд до Москвы. Подъезжая к вокзалу, я издала из открытого окна увидела Льва Моисеевича. С убитым видом брел он, опустив голову. На мой крик он оглянулся. Волнению его не было предела. Получив мою тревожную телеграмму, он немедленно выехал в Москву и приходил на вокзал ежедневно встречать все поезда из Берлина, вторичной телеграммы от меня он получить не успел, так как уже выехал из Харькова.

Он привез нас в гостиницу, но повидать Москву не привелось: за гостиницу нечем было платить.

*

В Харькове, на Каплуновской улице, в квартире из четырех комнат поселили Павло Тычину, Александра Копыленко, Эзру Фининберга и нас. Каждый получил по комнате. Квартира была старая, темная, запущенная: шел 1926 год, жилья не хватало. В этой квартире началась большая, сердечная дружба между Тычиной и Квитко. Длительные беседы между обоими поэтами были почти всегда задушевными, но иногда они и горячо спорили.

В своем письме, прочитанном на вечере памяти Л. М. Квитко в клубе ЦДЛ в 1965 году, П. Г. Тычина писал:

«Дорогой Лев Моисеевич, незабываемый наш друг, бесценный творец, немеркнувшей славой овеванный, нежнейший певец детской души,— гордость литературы советской!

Я бесконечно счастлив, что знал его, что встречался с ним, что с ним много о чем советовался и беседовал,— в особенности о литературе. Лев Моисеевич пленял меня своим зорким, неослабевающим вниманием к людям труда, к новым, ежедневно нарождающимся замечательным явлениям жизни советской.

...Как много внес Лев Моисеевич Квитко в литературу для детей нового, своего неповторимого, квитковского почерка, глубочайшего вдохновенного слова — чистого, прозрачного, с радужными отражениями, словно капля росы при восходе солнца...»

Тычина изучал еврейский язык (так же, как и многие другие языки) и стал переводить стихи Квитко. Все же он считал нужным иметь и подстрочники. Сравнивая оригинал и подстрочник, он вздыхал с меня за неточность. Узнав, что я хочу продолжать изучение французского языка, он рекомендовал мне своего учителя, бывшего консула где-то во Франции, маленького, смешного человечка в строгой черной паре и в котелке. Надо было видеть, с какой почтительностью Павло Тычина относился к нему.

Классическая музыка была им особо любима, и, когда я играла Баха или Бетховена, он ходил по коридору и требовал от соседней тишины, но никогда в это время не входил в комнату из-за своей особенной деликатности. Когда он по вечерам заходил играть со мной или с нашей восьмилетней дочерью в шашки, то, готовя нам ловушку, он в эти моменты притворно сокрушался по поводу своих будто бы плохих шашечных дел, предвкусывая наш провал. В этом было много детского. Вместе с большой принципиальностью и требовательностью к людям в его характере было немало детски бесхитростного.

Однажды я шутя спросила его: «Вы все один да один, почему бы вам не жениться, Павло Григорьевич?» Он в том же тоне ответил: «На ком же мне жениться? На молодой девушке? Так она ведь зеленая; отбить жену у живого мужа — не могу, разве что на вдове?!» Он любил шутить незлобно, но нам не раз приходилось видеть его резким, особенно когда он порицал некоторых своих собратьев писателей. Он хотел, чтобы писатели дорогой его Украины были бы подлинными представителями культуры своего талантливого народа.

*

Забегая несколько вперед, хочу продолжить рассказ о дружбе Льва Моисеевича с Павло Григорьевичем.

В силу сложившихся обстоятельств и по настойчивой просьбе тогдашнего директора Детгиза Цыпина, создававшего в Москве центр детской литературы, мы в 1937 году переехали из Украины в Москву. Это огорчило, даже обидело Тычину, но когда он прислал нам в Москву сердечное приглашение приехать на его 50-летний юбилей, мы охотно поехали.

В Киев мы ехали вместе с Всеволодом Вячеславовичем Ивановым и его женой. Присутствие Квитко, по-видимому, вызывало у Всеволода Иванова, знавшего о трудном детстве Квитко, ассоциации со своим нелегким детством, и он охотно стал рассказывать разные эпизоды своей жизни. Мне особенно запомнился один из них: бедная крестьянская изба, мать торопится на работу и оставляет его, еще ползунка, одного дома. Чтоб он не уползал далеко, она привязывает его за ножку к кровати, сажает на пол, ставит перед ним миску молока, кладет ложку и уходит.

Запах молока привлек к себе внимание ужа, жившего где-то под половицей. Уж приполз и стал пить молоко, малыш дал ему по голове ложкой, отогнал его и сам стал пить. Уж снова приполз к молоку, малыш снова — бац его по голове, и так, поочередно, они вместе выхлебали миску.

В тот же день Павло Григорьевич пригласил нас всех четверых в гости и был очень гостеприимен. На следующий день в огромном театре, переполненном гостями, состоялся торжественный юбилей. С приветствиями выступили также и Всеволод Иванов и Лев Квитко.

После юбилея в ресторане состоялся пышный банкет. Это была их последняя встреча.

Издавая свои книги, Тычина включал в них переводы стихов Квитко.

*

Литературная жизнь в Харькове (тогдашней столице Украины) была ключом. Было также и издательство «Центрферлаг», которое издавало на языке идиш книги и журнал «Ди роите велт» («Новый мир»). Квитко предложил стать ответственным секретарем этого журнала. Главным редактором был коммунист В. Фельдман, который одновременно занимал три

руководящих поста (в те годы это было частым явлением), и Квитко вольно-неволей вынужден был брать всю ответственность за журнал на себя.

В одной из комнат украинского издательства «Укрспилка» было пять редакций, стояло пять столов и был один телефон на все пять редакций. За одним из этих столов сидел Квитко. Персонал журнала «Ди роите вельт» состоял из Квитко и корректора, который одновременно работал и в издательстве «Центроферлаг». Корректор приносил Квитко гранки из типографии и относил в издательство машинистке новый материал для перепечатывания. Курьера не было, не было и никаких заведующих отделами. Квитко один ведал всеми отделами журнала.

Комната с пятью столами всегда была заполнена шумным народом, все говорили в полный голос. Никто не считал нужным сдерживаться. У стола Квитко всегда толпились люди. Московские писатели и писатели из разных уголков Украины стекались к его столу. Приезжих он часто приводил к нам обедать, хотя жили мы чрезвычайно скромно. Чтобы улучшить наш быт, я стала делать переводы с немецкого и с украинского, но и они были слабой поддержкой. Было нелегко, но на журнале это не отражалось. Журнал был, по мнению читателей, на высоте.

Писать, отвечать на письма Лев Мойсеевич не любил, но в интересах дела развил энергичную переписку и всеми способами добывал нужную ему прозу, которую он печатал с продолжениями. Благодаря неукротимой энергии, с какой он требовал присылки дальнейших глав, появились интересные произведения.

Стоило кому-то рассказать о чьей-либо интересной судьбе или происшествии — и он уже не отпускал рассказчика, убеждая его все это записать и дать ему для журнала. Чаще всего рассказы приносили сырые, растянутые, и Квитко вместе с автором работал, пока не получалась вещь, приемлемая для журнала.

*

В Харькове Квитко пришлось пережить несколько трудных лет. Руководители еврейской секции господствовавшей тогда на Украине литературной организации «ВУСПП», к которой Квитко не хотел примкнуть (он не входил ни в одну группировку), всячески старались умалить его творчество. Квитко отводил душу тем, что писал на своих недругов пародии. Все эти пародии он включил в свой сборник стихов и сдал рукописи в издательство «Центроферлаг».

Главным редактором этого издательства был Генах Казакевич (отец Эммануила Казакевича), человек светлого ума и большого обаяния. Квитко он любил по-отцовски и высоко ценил как поэта. Мы охотно бывали в доме Казакевичей, в их скромной, светлой, солнечной квартире, от которой веяло такой домашностью, сердечностью. Гости чувствовали себя там свободно, раскованно, и это располагало к откровенности.

Сынишка Эмма, красивый мальчик лет тринадцати-четырнадцати, был баловнем и гордостью семьи.

Стихи он тогда, кажется, еще не писал, но уже переводил Гейне, полюбив немецкого поэта с самой ранней юности.

Совместно с семьей Казакевичей мы сняли дачу под Харьковом, в селе Кочетково. По утрам, как это было заведено в их семье, после завтрака, мать выдавала Эммику деньги на мороженое. Получив деньги, он брал нашу восьмилетнюю дочь Ету за ручку и они медленно, степенно шли к будке мороженщика. Получив мороженое, Эммик вручал его девочке. На-

до было обладать силой воли, чтобы вот так в его возрасте отдавать любимое лакомство другому.

Иногда я видела их издали. Дочка облизывала мороженое, а Эмма, опираясь на плетень, беседовал с ней. О чем мог говорить пятнадцатилетний мальчик с восьмилетней девочкой — непостижимо! Видимо, ему приятно было доставлять удовольствие другим: добротой он повторил своего отца, как повторил его лицом и нравом.

До последних лет жизни Эм. Казакевич трогательно чтит память Квитко, восхищался мудростью, народностью его поэзии и посвятил ему свою статью¹.

*

В трудный для него 1931 год в Харькове Лев Моисеевич счел необходимым пойти работать на завод. Сдал в конторе Харьковского тракторного завода свои документы и поступил учеником токаря, скрыв, что он поэт с именем. И учивший его токарному делу старый мастер нередко зло подшучивал над своим великовозрастным учеником, которому не сразу далось токарное искусство.

Можно было подивиться упорству Льва Моисеевича, работавшего тогда в три смены. Особенно он страдал во время ночной смены, когда его нещадно клонило ко сну. Дело было зимой, и вставать надо было, когда на улице была еще ночь. Завод находился на другом конце города. Он писал:

«Куда плывешь, бездельница-луна,
Так беззаботно и неторопливо
Со стайкой звезд в высоком небе,
Сияньем дымчатым окружена?
А мы — со всех сторон бежим к трамваю,
Безудержно и шумно напирая,
Спешим в наш цех.

— Одна сила вытесняет другую,—
Меня поучает мастер
И вводит в высокую науку резцов.

Одна сила вытесняет другую,—
Но за порогом завода
Осталась и ждет
Поэзия,
Мой неизменный спутник».

(Перевод Гр. Петникова)

На Харьковском тракторном заводе Лев Моисеевич проработал несколько месяцев и написал книжку стихов «Тракторный цех».

*

У Корнея Ивановича Чуковского был талант — открывать таланты, а сделав такое открытие, он не умел оставаться с ним один на один: он должен был оповестить об этом всех, и своим звонким, до конца жизни моло-

¹ «Диалог», см. наст. сб.

дым голосом, сказать о своем открытии щедро, не скупясь, не боясь пере-
хвалить.

Так поступал он всегда, так поступил он и со Львом Моисеевичем
Квитко.

В книге «Современники» Чуковский рассказывает о том, как он, живя в
Ленинграде, получил от Квитко сборник стихов на еврейском языке, как он
стал изучать эти буквы, составлять слова и сумел даже прочесть некото-
рые стихи. Но он не довольствовался только этим. Как он потом нам рас-
сказывал, он разыскал людей, знавших этот язык, людей, на поэтический
вкус которых он мог положиться, заставлял их читать и переводить ему
стихи. Уверившись, что это настоящая поэзия, он стал всюду рассказывать
о своей находке. А когда в 1933 году в Харькове состоялась конференция
по детской литературе, на которую были приглашены также Чуковский,
Маршак, Вера Смирнова, Барто, то, ознакомив присутствующих со сти-
хами Квитко в переводе Тычины, Рыльского, Сосюры, Забины на украин-
ский язык, Чуковский поступил так, как это было присуще его характеру
и было одной из его замечательных черт: он уверенно заявил, что поэзию
Квитко должны знать все дети Советского Союза. То же самое сказала и
Вера Смирнова, ставшая впоследствии верным другом Квитко и исследова-
телем его творчества. Их пожелание сбылось. Вскоре книги Квитко стали
выходить миллионными тиражами, их переводили на десятки языков на-
родов нашей страны.

Эта конференция стала поворотным пунктом в жизни Льва Моисееви-
ча. То, что поэзия Квитко органически вошла в большую советскую поэ-
зию, было заслугой Корнея Чуковского. Это сблизило обоих поэтов и свя-
зало их верной дружбой до конца жизни.

*

Когда Киев снова стал столицей Украины, часть харьковских писате-
лей переехала туда. Их перевезли вместе с их мебелью, со всеми пожит-
ками и вселили в новый, только что построенный дом на ул. Ленина, 68.
Переезд в любимый город был радостью для Квитко, избавлением от груп-
пы рапповцев, терзавших его в Харькове. Особенно радостным годом для
него стал год 1936 — год, насыщенный плодотворной работой.

Киев летом 1936 года стал местом, притягательным для московских дет-
ских писателей и поэтов. Это время было началом расцвета Детгиза, на-
чалом огромного расцвета детской литературы, и средоточием этой лите-
ратуры стала Москва. Льва Моисеевича просили переехать туда, предло-
жение было многообещающим, и в начале 1937 года он решил на
переезд.

Вспоминаю лето 1936 года. В Киев тогда приехали Мария Поступаль-
ская с Абрамовым, редактор Детгиза Евгения Живова, художник-иллюстра-
тор издательства Валентин Андриевич и с ними вместе Елена Благинина,
ставшая одним из лучших переводчиков стихов Квитко. Вся эта милая бра-
тия с шумом, смехом и шутками вваливалась в нашу квартиру.

Приехал Сергей Михалков и пришел прочесть Льву Моисеевичу своего
«Дядю Степу». Квитко был восхищен этими стихами. Сергей Михалков был
тогда еще юным, он только начинал входить в литературу. Несколько
позднее приехала и навестила нас также Агния Барто.

В Киеве стояло чудесное устойчивое лето с горами огромных дынь,
арбузов, фруктов. Когда приехал Корней Чуковский и, живя в гостинице,
заболел, то мы, чтобы лучше за ним ухаживать, перевезли его к себе. Че-

рез несколько дней в Киев приехал и Борис Житков. Каждый вечер Житков и украинский прозаик Александр Копыленко, старый друг Квитко, приходили к нам.

Однажды Борис Житков пришел к нам уже с утра, и вся компания, включая Копыленко, просидела с нами за столом от завтрака до обеда и от обеда до ужина, почти не поднимаясь с места. Ушли только часов в 10 вечера, когда Чуковский имел обыкновение ложиться спать.

Это был необычайный вечер: блестящий поединок двух выдающихся писателей-рассказчиков. Не успевал Житков закончить одну из своих почти невероятных историй, как включался Чуковский. Веселый, озорной огонек в его глазах предвещал нам, что он вспомнил еще одну чудесную историю. Мы сидели как замороженные, и только взрывы хохота прерывали их рассказы, полные юмора, находчивости. Рассказы рождались точно фейерверки и как фейерверки ослепляли нас, да и сами рассказчики наслаждались, вспоминая интересные эпизоды, происшествия своей жизни.

Однажды Корней Иванович попросил меня сопровождать его в поездке за город на чью-то дачу, где у него было какое-то дело. Мы сели на извозчика, и, покачиваясь на ухабах проселочной дороги, Корней Иванович вспомнил о другой своей поездке на извозчике. Было так: получив в издательстве крупную сумму, Корней Иванович почувствовал себя сказочно богатым и решил вместе с женой Марией Борисовной совершить поездку в город своей юности — в Одессу, ехать, ни в чем себе не отказывая.

На вокзале в Одессе, усевшись на извозчика, Корней Иванович, в веселом настроении, сказал извозчику что-то шутивное. Тот по-своему расценил шутку Корнея Ивановича и запросил дорого. Мария Борисовна запротестовала, извозчик нагрубил, но не слезать же было с фэтона, на котором уже высились их чемоданы.

Извозчик повез их в одну гостиницу, в другую — свободных номеров не было, тогда он повез их в какую-то свою, по-видимому хорошо ему знакомую, и тут он наново заломил такую цену, что его седоки ахнули.

Гостиница оказалась скверной, грязной, и вдобавок у Корнея Ивановича украли часы. С присущим ему юмором Корней Иванович рассказал, каким способом он припугнул коридорного, — и часы появились. Так началась эта поездка, которую они обдумали в Ленинграде и которая должна была доставить им массу удовольствий...

На обратном пути с дачи Корней Иванович, уставший, разбитый плохой, неровной дорогой, неожиданно сказал мне, точно продолжая какую-то досадную мысль: «...Мария Борисовна считает, что главный писатель в доме не я, а — мой сын, Коля...»¹

В этой неожиданной жалобе, выраженной по-детски строптиво, сказались его тоска по дому, по привычному укладу жизни — он устал и хотел домой.

В Киев он привез свое сокровище — «Чукокалу», которой всю свою жизнь чрезвычайно дорожил и которую обычно брал с собой в дорогу. Он принес ее к нам и просил спрятать подальше.

В эти дни в Киев приехал по своим делам также и Николай Корнеевич Чуковский. А позже, когда Корней Иванович окреп, в Киев приехала Мария Борисовна Чуковская и увезла его домой.

¹ Николай Корнеевич Чуковский, известный писатель.

*

Когда Квитко уже не стало, Чуковский не прерывал дружбы с нашей семьей. Он точно считал себя обязанным взять нас под свою защиту. Часто писал мне письма, навещал нас, приглашал к себе, интересовался работами нашей дочери-художницы, помогал мне в издательских делах. Эти дела легли тяжким бременем на мои плечи, но не в моем характере было отступать от трудностей. Особенно интенсивно, до конца своей жизни помогал мне в издательских делах выдающийся человек, выдающийся писатель Лев Абрамович Кассиль, он не щадил ни себя, ни своего времени. Это был светлый человек, бескорыстный друг, писатель исключительной отзывчивости.

Так поступали старые друзья, два члена комиссии по литературному наследию Льва Моисеевича, люди, чрезвычайно загруженные большой писательской и общественной работой, выдающиеся писатели, широко известные и за пределами нашей страны.

*

Двенадцать лет, которые Квитко прожил в Москве (с 1936 г. до 22 января 1949 г.), были для него творчески очень плодотворными. Здесь он закончил свой роман-эпопею в стихах «Годы молодые», над которым работал много лет и который считал главным делом своей жизни, два романа в прозе (оба не успел закончить) и несколько сборников стихов. Он был также тесно связан с издательством «Дер Эмес», которое издавало книги Квитко на идиш.

В 1937 году Детгиз объявил конкурс на лучшие переводы стихов Квитко. Переводчиков было много. Его переводили: Е. Благинина, Т. Спендиарова, С. Михалков, С. Маршак, М. Светлов, Е. Ильина, Л. Озеров, В. Донникова, В. Звягинцева, Н. Ушаков, Я. Хелемский, М. Алигер, О. Колычев, Н. Найденова, Б. Ирнин, Н. Сидоренко.

В эти годы были переведены на русский язык его стихи, которые рые органически вошли в советскую поэзию. Стихи Квитко для детей были переведены на 36 языков народов Советской страны и на несколько иностранных языков. За свою литературную работу Квитко был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

*

В Москве Квитко смог наконец воплотить свою мечту: получить в свое владение участок земли, посадить сад, построить дачу.

Дача была двухэтажная, добротная, из крупных, отборных бревен; Квитко сам ездил несколько раз куда-то далеко за этими бревнами. Пять комнат с большими венецианскими окнами, на втором этаже для дочери-художницы — большая двухсветная комната с южным и северным балконами. На фоне бревен, окрашенных в ярко-желтый цвет, — белоснежные рамы окон. Дача имела очень привлекательный вид, и Лев Моисеевич не мог ею нарадоваться. Да и труда он вложил в нее... Почти наполовину своими руками построил.

В самых первых стихах, когда он их еще только «говорил», а записывать не умел, он воспевал щедрость земли — чудеса, которые рождает земля. И вот наконец он получил возможность копаться в земле, сажать, наблюдать за ростом растений, наблюдать жучков, птиц, животных, о которых

его всегда влекло писать. Огромную радость доставляло ему обладание этим небольшим куском земли. Такое близкое соприкосновение с землей было ему жизненно необходимо, он всегда зачитывался Бремем (Брем, Шевченко и Гейне были его настольными книгами) и часто писал стихи под впечатлением его рассказов.

Он был счастлив. Свой участок земли! Но счастье длилось недолго. Строительство дачи закончилось в 1940 году, а через год, в 1941-м грянула Великая Отечественная война...

После войны нахлынуло много неотложных дел, общественных обязанностей; дача была запущена. Не было времени заниматься ремонтом, бывать там приходилось редко.

*

В 1941 году, вскоре после нападения фашистской Германии на нашу страну, было вынесено решение об участии писателей в народном ополчении.

В ССП состоялось партийное собрание, на котором писатели записывались в ополчение, чтобы через два-три дня отправиться на фронт. Лев Моисеевич скрыл это от меня. Однажды утром он попрощался со мною как-то особенно трогательно и ушел в клуб ССП. Вернулся к вечеру и рассказал, что, по распоряжению Фадеева, он должен оставаться в Москве до особого приказа.

В скором времени А. Фадеев вызвал его и поручил ему поехать в Саратов, чтобы распределить среди эвакуированных еврейских писателей из Польши денежную помощь, позаботиться об их устройстве и собрать материалы о фашистских зверствах.

Направляя Квитко в Саратов, Александр Фадеев обещал ему в случае нужды позаботиться о его семье. Но уже на следующий день после отъезда Квитко в Саратов начались первые бомбардировки Москвы, и Литфонд приступил к эвакуации писателей и их семей в Чистополь. Не получая никаких вестей от мужа, я боялась тронуться с места и отказалась эвакуироваться. Но после одной ужасающе свирепой бомбардировки, когда зажигательные бомбы разрушили часть нашего дома, а нам всем в бомбоубежище казалось, что мы вот-вот будем погребены под развалинами, я пошла к Фадееву.

Фадеев принимал тогда в ЦК на площади Ногина; я спросила, нет ли у него вестей от Квитко и как мне быть. Он принял меня очень приветливо и посоветовал переждать на даче до возвращения Квитко из Саратова. Мы с дочерью так и поступили. Но страх оказаться отрезанными от города заставил нас вернуться домой. Вестей от Квитко по-прежнему не было, а Литфонд между тем объявил о последней эвакуации в Чистополь, и я решилась. Дочь должна была эвакуироваться вместе со своим художественным институтом в Самарканд, но мое состояние было совсем плохим, и она решила ехать со мной вместе.

Когда в Чистополе начались холода и Кама грозила вот-вот замерзнуть, после чего всякое сообщение с этим городом прекратилось бы, разве что только самолетом, я встревожилась: Лев Моисеевич не сможет к нам добраться...

В эти дни холодным, пасмурным утром, выглянув в окно, я увидела: Константин Георгиевич Паустовский, который на днях приехал с фронта, чтобы вывезти свою жену из Чистополя,— Константин Георгиевич, в военной форме, в больших кирзовых сапогах, медленно шел за одноконной подвой, нагруженной пожитками. Он шел, держась рукой за подводу, а по

другую сторону подводу шла его жена (и моя приятельница) Валерия Владимировна, тоже держась рукой за подводу. Они двигались в сторону пристани. Их медленное шествие было так печально, словно это были похоронные проводы. Глядя им вслед, я тоже решила немедленно уехать в Казань, куда Лев Моисеевич доберется при первой возможности. И он действительно добрался.

16 октября 1941 года, в самый тяжелый день в жизни советской Москвы, он вместе с группой писателей покинул город. На вокзале в Казани, где мы их всех встречали, Квитко трудно было узнать, так изменила его тревога за судьбу страны. Мы привели его к себе домой. Наш «дом» состоял из угла, который мы сняли у одной милой татарской женщины. Две простыни, протянутые от стены к шкафу, и тахта стали нашим домом. Там, за простынями, мы принимали и своих друзей — они приходили советоваться, как быть дальше.

Эвакуированных писателей и их семьи разместили в Казани в клубе дома литераторов, в большом зале, заблаговременно уставленном койками. Бежавшие из фашистской Германии немецкие писатели, среди которых были Иоганнес Бехер, Лили Бехер, Фриц Эрпенбек, Гедда Циннер, Эрих Вайнерт, Конрад Вольф, заняли отдельный угол зала и, со свойственной им методичностью и аккуратностью — насколько это было возможно в таких условиях, — разместились поудобнее, как бы единой семьей.

С Бехерами и Геддой Циннер мы дружили и иногда навещали их.

Эвакуированные писатели разделились на две группы: одни решили ехать в Ташкент, другие — в Алма-Ату. Мы выбрали Алма-Ату.

Инициатором поездки в Алма-Ату был Самуил Яковлевич Маршак — он взял на себя все хлопоты по устройству поездки и выказал большие организаторские способности, раздобыв для всей группы спальный международный вагон. Это была, по тем временам, неслыханная удача. В вагоне поместились: трое Кукрынико с семьями, академик Лина Штерн, Анна Ахматова (которая потом переехала в Ташкент), скульптор Чайков с женой, Маршак с женой и младшим сыном и мы трое.

В пути мы даже отметили день рождения Маршака. Не знаю, как мы умудрились, но почти все мы втиснулись в его купе, расположились на верхних и нижних полках. Кто-то из мужчин стащил из дорожной сумки Лины Штерн непочатую бутылку водки. И когда водкой угостили всех, в том числе и Лину Штерн, то «похититель» сказал ей со смехом: «Пейте спокойно, это ваша собственная водка!» Вспыхнув, она сказала, что берегла ее для гигиенических целей...

Все кое-чем закусили, и Самуил Яковлевич проникновенно запел одну из своих любимых песен — «Сурка» Бетховена. Песню подхватила Женя Куприянова (жена художника М. Куприянова), оказавшаяся певуньей, затем следовало еще несколько песен и под конец спели шутивную песенку «Веселый разговор». Это веселье немного смахивало на «пир во время чумы», все же все немного посветлели лицом, забыв на время свои тревоги.

В Алма-Ате наш вагон поставили на запасный путь, чтоб можно было пожить там, пока устроятся наши квартирные дела. Нашу семью временно приютили Паустовские, приехавшие в Алма-Ату раньше нас, а их, в свою очередь, приютил известный казахский писатель Ауэзов, живший со своей русской женой-красавицей в просторной квартире.

Вскоре все получили по хорошей комнате, и опять-таки благодаря Самуилу Яковлевичу: выдающийся поэт и в то же время прирожденный организатор, он быстро и четко налаживал любое дело, за которое брался. Назватор, соф быстро и четко налаживал любое дело, за которое брался. Назватор, соф быстро и четко налаживал любое дело, за которое брался. Назватор, соф быстро и четко налаживал любое дело, за которое брался.

атинской квартире с телефоном — Маршака без телефона трудно было даже представить себе,— мне доводилось слышать, как он в это трудное военное время договаривался по поводу разных дел с местным литературным начальством: он не просил — он властно излагал свои требования, и ему шли навстречу.

Союз писателей Казахстана уступил почти все свои помещения эвакуированным писателям. Среди них оказалось много знакомых: писательница Рубина с мужем художником Аксельродом, Юрий Смолитч, Кагановский из Варшавы, Наталья Забила из Харькова, кинорежиссеры Григорий Рощаль и его жена Вера Строева (они даже собирались делать фильм по сценарию Квитко), писатель Цвирка из Литвы. Как он был рад, Цвирка, когда мы подарили ему пачку чая, по которому он так истосковался. Не думая о том, как пойдет дальше наша жизнь, мы быстро раздали привезенные нами кое-какие запасы. Приятно удивила нас в то время Мария Прилежаева — она пришла с сыном: в руках у них были толстые поленья дров... Это был славный подарок для нашей холодной комнаты. Много народу приходило к Квитко просить помощи, заступничества, работы, но его возможности в этом смысле были очень малы.

В конце 1941 года мы в складчину устроили встречу Нового года. Собрались у нас. Пришел бывший харьковчанин, писатель Платонов с женой — они еще до войны поселились в Алма-Ате. Помню связанный с их приходом забавный казус: позвонили, я открыла дверь и, когда вошедшая женщина назвала себя женой Платонова, я оторопела. Ведь Платонов уже сидел у нас со своей женой... Оказалось, что первая была дочерью, такой же рослой и высокой, как и ее молодая мать. Пришел К. Г. Паустовский с женой Валерией Владимировной. Пришел литературовед Н. И. Харджиев с Татьяной Алексеевной Арбузовой.

В безукоризненном костюме, как в лучшие времена в Москве, такой чистенький, прибранный, голова — волосок к волоску, кудесник Паустовский, улыбаясь, сел за стол, и потянулась волшебная нить его рассказов. Казалось, что где-то у него внутри скрывался таинственный клубок, который он мог в любой момент потянуть за ниточку и вить эти воспоминания-рассказы один другого лучше.

Говорил он, как всегда, тихо, не повышая голоса, и, рассказывая, часто сам заливался добродушным смехом — не оторваться было от его лица, когда он принимался вить свои рассказы.

*

За тот короткий срок, что Лев Моисеевич провел в Алма-Ате, он не раз выступал в военных госпиталях перед ранеными. Однажды, вернувшись после выступления в госпитале, он, потрясенный увиденным, рассказал, что солдаты, ставшие однорукими, объединились парами и аплодировали ему, ударяя своей единственной ладонью о ладонь другого однорукого солдата...

Вскоре в Куйбышеве был организован Антифашистский комитет, и Квитко вызвали туда на работу. Вернувшись в мае 1942 года из Куйбышева в Москву, он узнал, что квартиру нашу заселили, но все это вскоре было улажено.

Получив наконец хлебные и продуктовые карточки, он стал варить себе супы на поставленной в его кабинете железной печурке. Клад в кастрюлю все подряд: пшено, перловую крупу, рис и лапшу, говорил, что получалось вкусно!

После войны в Москве он принимал активное участие в работе еврейского Антифашистского комитета, был одним из секретарей и членом президиума комитета и одновременно выполнял обязанности председателя бюро секции еврейских писателей при Союзе писателей Москвы.

Много очерков и стихов написал в ту пору Лев Моисеевич. Привожу одно характерное для него стихотворение 1945 года.

«Как это чувство превосходно —
Родиться вновь!
Оно прекрасней розы аромата,
Острее закаленного булата,
Резвее чистокровного коня.

Иль нет, еще иначе:
Оно полно чудесного огня,
Какой-то прелести крылатой...
Оно, как солнце, радует меня...

Вы говорите, я умел краснó
Рассказывать о крыльях стрекозы,
О соловьиной трели
Иль о том, как вверх по водопаду
Взбираются веселые
Форели.

Умел я видеть, как растет трава
И как рассвет, прикидываясь птицей,
Посвистывает...
И как вращается едва-едва
Подсолнух круглолицый,

Как земляника зреет в тишине,
Какою голой кажется морковь,
Из грядки вырванная... Как горох,
Рассыпавшись, приплясывает ловко...
И все это куда как мило мне!

Но есть другие сны... Они живут!..
От скорби сердце вырваться готово,
И, как на вытяжку испытывают прут,
Я каждое испытываю слово.

Мне тех не позабыть весенних дней,
До гроба не забыть осатанелых
«Людей» в перчатках безупречно белых,
Спокойно убивающих детей.

(«Возрождение». Перевод Е. Благиной)

В 1946 году Льва Моисеевича избрали председателем профкома юношеских и детских писателей. Время было очень трудное, было много писателей, нуждавшихся в срочной помощи: в продовольствии, одежде, квар-

тире. Профком растерял за время войны и помещение и имущество. Нужно было налаживать все сначала.

Лев Моисеевич с увлечением взялся за это непривычное дело, требовавшее сноровки, организаторских, а главное, хозяйственных способностей, хотя к практическим делам он был мало приспособлен. Его квартира стала местом, где все эти запутанные дела выяснялись и заново организовывались. Квитко забросил работу над своими книгами, свои издательские дела и занимался только делами профкома. С огромным трудом отвоевал помещение, добывал продовольственные карточки, талоны на белье, одежду, вникал во все мелочи писательского быта. Задумал и осуществил серию книжек-малышек для детей, чтобы накопить деньги для организации. Вел переговоры с издателями, наборщиками, на вырученные деньги обставил помещение профкома, купил даже трофейный рояль и сам ходил на фабрику проверять качество ремонта. В помещении профкома стал проводить творческие вечера писателей.

Однажды он поделился со мной мыслью: издать еще несколько книжек-малышек и на эти деньги постронть за городом дом, чтоб поселить там писателей, ставших вследствие войны бездомными. Я ужаснулась его размаху. Мне удалось убедить его, что такое сугубо хозяйственное дело требует больших знаний, что ему будет не по силам одолевать все счета, расчеты и разбираться в законах, в бухгалтерии, что все может кончиться для него крахом, то есть ему придется отвечать за государственное добро.

С большим сожалением расстался он с этой мыслью. В его воображении уже вырисовался этот светлый дом с комфортабельными комнатами вблизи какой-нибудь реки, леса...

Когда работа была им хорошо налажена и вести ее дальше мог уже другой, он подал заявление с просьбой освободить его от этой нагрузки. Собственная работа над книгами была давно запущена, нужно было срочно что-то делать.

*

Если Лев Моисеевич не находился в пути-дороге, если ему не предстояли собрания, совещания, издательские дела, то лучшего он не желал, как оставаться дома. Он любил свою семью, свой дом, а тяга к работе над стихами была у него поистине беспредельной: только бы дали ему спокойно, без помех посидеть и поработать.

Ходжение в гости, на вечеринки было ему в тягость, и вытянуть его из дому было делом нелегким. Вспоминаю, как мы шли с ним на семейное торжество к старым друзьям. Уже вечер, я напоминаю ему, что сегодня надо обязательно пойти в гости. Он сидит в своем глубоком кресле в халате, тапочках. Я кладу ему на тахту праздничный костюм и все прочее, а бритву, горячую воду ставлю на подносе на письменный стол и иду переодеваться. Через некоторое время я вхожу и застаю его в том же положении.

— Левушка, нас ждут, обидятся...

Он растерянно отвечает:

— Мне надо написать еще одну главу...

— Главу?!

— Ма-а-ленькую, — и он отмеряет кончиком пальца крошечный кусочек.

Я обещаю ему, что всю дорогу мы пройдем пешком, и это соблазняет его.

Семейные праздники друзей — это обычно один и тот же круг людей, и если эти люди приятны ему — он весело шутит, ведет себя по-своему, охотно и с аппетитом ест, не ожидая особых приглашений, но стоит очутиться среди гостей одному из его собратьев, обладателю зычного голоса, как он сникает, из него трудно выжать фразу. Самоуверенный голос собеседника покрывает все дружеские беседы, его постоянное стремление сосредоточить на себе внимание людей удручают Квитко, и он замыкается в себе. Так было и на этот раз.

Обратно мы тоже возвращаемся пешком, переходим улицу в неполюженном месте — и, хотя уже поздно, улица почти пустынна, милиционер свистит, чтобы мы остановились. Мы не останавливаемся, и милиционер, ускорив шаг, направляется к нам. Тогда мы берем за руки и бежим, бежим и хохочем. Находясь уже вне поля зрения милиционера, мы останавливаемся, чтоб отдышаться, и снова хохочем. К нему вернулось хорошее настроение, этот маленький инцидент скрасил ему испорченный вечер.

Мечтой Льва Моисеевича было иметь несколько сыновей. Он часто рисовал мне красоту большой семьи с сидящим во главе стола отцом. Иногда, просыпаясь, говорил: «Мне снова снились мои сыновья... Сколько прелести в игре с маленьким ребенком!»

Когда родилась дочь, Лев Моисеевич с первых дней стал ловко пеленать ее, купать, ухаживать за ребенком и все делал весело, с прибаутками. Он помогал мне хозяйничать, внося во все процессы работы рационализацию. Казалось, жизнерадостность и энергия его неистощимы.

Лишенный в детстве игрушек, он восхищался игрушками своей дочери, но она была к ним довольно равнодушна, и я перестала их покупать, тогда он с самым серьезным видом просил меня покупать игрушки для него самого.

Квитко обладал несокрушимым здоровьем. Не представляя себе, что такое зубная или головная боль, не переносил вида больных. Больших усилий ему стоило навещать захворавших друзей, он не умел ни говорить о больных, ни выражать сочувствие захворавшим. И когда мне случалось хворать, то он, потерпев день, на следующий тянул меня за руку: «Вставай, не надо лежать...»

Но однажды, вернувшись из какой-то поездки по стране, осунувшийся, он молча вошел в дом и молча лег на диван. С трудом удалось у него выпытать: в дороге он почувствовал себя плохо. «Очевидно, это туберкулез, это уже, по-видимому, конец...»

С помощью врача мы быстро поставили его на ноги, хотя он внутренне сопротивлялся, не верил в свое выздоровление. Признак чахотки, унесший всех его родных, маячил перед ним. По его рассказам, они все погибли в течение нескольких недель.

Впоследствии он всякий раз, почувствовав себя плохо, ложился на диван с обреченным видом, и приходилось высмеивать его готовность без сопротивления сдаться на милость болезни.

Деликатный в отношениях с людьми, он не проявлял настойчивости, когда дело касалось его рукописей, иногда подолгу лежавших в издательствах без движения, — но зато ссорился с директорами издательств из-за чужих рукописей, из-за невыплаты гонорара писателям.

Получив в издательстве гонорар, он заглядывал знакомым в глаза, в надежде, что у него попросят займы. Давая деньги в долг, он имел такой доверительный вид, словно это ему делали одолжение.

Когда мы с ним вместе ходили по магазинам, он покупал все, что про-

давец предлагал, боясь обидеть продавца отказом. Если же сам ходил за покупками, то приносил все в чрезмерном количестве.

В кабинете у Квитко стоял приземистый шкафчик, к борту его были привинчены тиски. Шкафчик был набит инструментами: молотки, пилы, напильники, клещи разных размеров, рубанки, паяльники, огромное количество перепутанной проволоки — все это было у Квитко в каждодневном употреблении, он знал слесарную, плотницкую, электромонтерскую работу. Был искусным заготовщиком (в первые трудные годы революции он собственноручно шил мне две пары ботинок на пуговицах): Умел аккуратно шить левой рукой. На машине шил как заправский портной, красил, маляричал — как профессионал.

Огромное удовольствие доставляло ему ходить по магазинам и выискивать наилучшим образом сработанные, хорошо отполированные инструменты. Покупал не столько для работы, сколько из любви к хорошей работе. А из книжных антикварных магазинов приносил пачки пожелтевших, пропыленных книг на самые неожиданные темы.

С такой страстностью любил солнце, что, когда оно после непогоды снова появлялось, он не мог оставаться дома и тянул меня на улицу: «Идем, идем, солнце взошло!» Держа меня за руку, ходил по улице с закрытыми глазами и шептал про себя строки стихов. Просил: «Запомни, я дома запишу». Их было много, и ни он, ни я чаще всего не запоминали.

Работоспособность его была неисчерпаема. Просто отдыхать — не работая над стихами — не умел и, если никто не мешал, мог часами, не отрываясь, работать. Ходил из комнаты в комнату с широко открытыми глазами, жестикулируя, ничего не видел, никого не замечал. Садился в глубокое кресло и, иногда обхватив колено руками, горестно раскашаваясь, шептал что-то с посеревшим лицом и покрасневшими глазами.

Писал карандашом, лежа или сидя в кресле. Каждый карандаш резал на несколько частей и эти кусочки рассовывал по всем карманам, даже в карманы пиджама. Ночью, когда ему приходила в голову удачная мысль, нужное слово или строфа, он, не зажигая света, впотьмах водил карандашом по блокноту и наутро нередко сам не мог разобрать написанное.

Писание стихов шло у него как-то полосами: наступала полоса, когда ему длительное время удавались только стихи для детей. Какой-то толчок извне — и он на длительное время переключался на стихи для взрослых; в такой период стихи для детей у него просто не получались, пока снова не повторялся какой-то непонятный сдвиг — и опять шла полоса только детских стихов.

Писал в маленьких блокнотах или на клочках бумаги и складывал записи в ящики своего стола. Редко доводил стихотворение сразу до конца, поэтому таких «заготовок» у него было великое множество. Однажды взял папку, набитую блокнотами, клочками бумаги, и уехал на дачу работать. В поезде он папку забыл на скамье. Так пропал многолетний труд.

Пропажи рукописей были часты в его жизни. Однажды я восстановила по памяти одну полюбившуюся мне главу из романа в стихах «Годы молодые». Блокнот с этой главой, по-видимому, выпал из кармана его пальто.

Было много случаев, когда он подолгу носил с собой в кармане стихи в надежде закончить их где придется — и терял их.

Сам же он не помнил на память ни одной своей строфы, и можно было выдать ему его собственные, особенно давно написанные им стихи за чужие — настолько он забывал их.

Обычно, написав несколько строф, он тут же читал их мне и никогда не обижался на мою критику. Он внимательно слушал, начинал снова рабо-

тать, а спустя некоторое время говорил с удивлением: «А ведь стало лучше!»

Накапливалось много хороших набросков. На просьбу закончить некоторые нравившиеся мне стихи он отвечал: «Вот выберу время и все сделаю, не огорчайся!» Общественные обязанности поглощали его время, но всегда увлекали его, он занимался ими почти с такой же самоотдачей, как работой над стихами. В этом была его несхожесть с другими писателями, которые ревниво ограждали свое рабочее время от внезапных посещений, телефонных звонков.

Иногда, зная, что он увлеченно работает, я отвечала по телефону, что он будет дома попозже... Но, узнав о звонке — он огорчался: «Человек звонил, значит, я ему нужен был именно сейчас...»

Возможно, что такие вторжения не разбивали настроенность его мысли, так как он с легкостью возвращался к прерванной работе.

Утро начиналось с чтения газет еще в постели и часто под влиянием прочитанного писал стихи на тему дня. Ему неважно было, будут ли они напечатаны, важно было высказать свое отношение к прочитанному, и хотя день без работы над стихами был для него потерянным днем, он охотно и легко отвлекался. Молодые, начинающие поэты и прозаики посещали его во множестве; любой посетитель мог сидеть у него часами, отрывая его от работы. Чем проще и неприязнательнее был человек, тем почтительнее он с ним обращался. Он любил простых, рабочих людей, вникал в их нужды, помогал им материально.

При всем своем добродушии и человеколюбию к некоторым с виду хорошим людям Квитко относился неприязненно, упорно сопротивляясь их желанию дружить, и всегда оказывалось, что прав был он, а не мы, угovarивавшие его изменить свое отношение к ним.

При некоторых людях он сникал, становился бесцветным, при других словно расцветал и рассказывал очень ярко, сочно.

Умение восхищаться и видеть красоту и смысл в мелочах, мимо которых мы проходим, не замечая их, было одной из главных его черт. Всякое дело, даже маловажное, если оно делалось умело, вызывало его восхищение. Он подолгу простаивал, наблюдая работу плотников, слесарей и других рабочих. Часто говорил о красоте рабочих рук. Загорелые, крепкие руки называл «черным вкусным хлебом».

К своей поэтической работе относился как к чему-то такому, что не выделяет его из среды людей, и в беседах с малознакомыми людьми всячески уклонялся от прямого ответа, чем он занимается, стесняясь высоких слов «поэт», «писатель», и даже своей дочери не считал нужным сообщать о том, что отец ее поэт. Однажды наша пятилетняя дочь пришла домой и сказала, что во дворе ее спросили: «Кто твой папа?» Она ответила: «Не знаю, кажется, портной». Она видела, что иногда он шил.

Как-то в поезде в нашем вагоне двое детей читали книжку Квитко «Здравствуйте!», и я сделала оплошность, сказав им, что книжку написал вот этот дядя. Лев Моисеевич смутился и весь остаток пути держался отчужденно, не глядя в сторону детей, что, вероятно, произошло на них странное впечатление. В то же время на улице он часто без стеснения вступал в разговоры с детьми, держался с ними на равных, просто и естественно.

Он не стремился читать поэтам свои стихи и редко соглашался на просьбы почитать что-нибудь новое, отговариваясь тем, что стихи еще не доработаны. Вместо этого он просил рассказывать ему интересные случаи из жизни. Не читался он только тогда, когда читал и объяснял свои стихи переводчикам.

Не любил и рассказывать о своих рабочих планах, ему хотелось слушать своих гостей, вплетая потом услышанное и переосмысленное им в свои стихи и прозу.

Вспоминая, как Самуил Маршак привел к нам, на Маросейку, Ираклия Андроникова, который и тогда уже был славен своими устными портретами писателей. О Квитко в литературных кругах много говорили, и Андроников хотел с ним познакомиться.

Тщето пробовал Андроников вовлечь Льва Моисеевича в разговор, надеясь на интересный «улов». Заговори он — выяснилась бы особая структура его речи. Но Квитко только радушно улыбался и помалкивал, не считая нужным «показаться» гостю.

Андроников был явно разочарован и... заговорил сам, а Квитко только этого и надобно было.

Его восхищало то, что среди простых, пожилых женщин очень часто встречаются замечательные рассказчицы. Их умение строить рассказ, «обкатывать», обтачивать его, начинать с предыстории и, украшая его по пути сочными деталями, а иногда и вклинивая побочные истории, постепенно наращивать драматизм, приберегая напоследок неожиданную концовку. Это умение изумляло его. Глаза Льва Моисеевича лучились от удовольствия и уважения к рассказчице, как всегда, когда он видел хорошо выполненную работу. Он имел дар слушать не перебивая, и женщины охотно раскрывали перед ним душу. Эти рассказы откладывались в копилку его памяти.

Дневников и записей он не вел.

На всю жизнь сохранил он любовь к собакам и написал о них много стихов. На русский язык таких стихов переведено мало. (Из всего количества стихов, изданных при жизни Л. Квитко, на русский язык переведено меньше половины).

С детства заманивал бродячих псов кусками хлеба, но подачки его были скудными, собаки не выдерживали голода и, обрывая веревки, удирали. Но он не терял надежды когда-нибудь заполучить навеки верного, породистого пса.

В Харькове он не раз подбирал на улице щенков и приносил домой. Наигравшись, он как бы забывал про них, но, возвращаясь из города домой, искал щенка, чтобы поиграть с ним.

Однако щенка надо было обучать, воспитывать, выводить на прогулку, а у меня не хватало времени: помимо домашних хлопот, я печатала на машинке, делала подстрочки, вела переписку, забот и дел всегда было много. Собаки грызли нашу обувь и все, что падало на пол, пачкали по углам, и мы отдавали их. Придя домой и не находя нигде щенка, он огорчался. Но при первой возможности приносил щенков снова. А кур, петухов и кошек в своих стихах постоянно высмеивал.

В домашних условиях любил говорить тоном и языком ребенка, и это у него выходило очень естественно. Любил плясать под музыку. Усаживал меня в качестве зрителя и изощрялся в придумывании необычайных па. Нередко, переусердствовав (в это время он уже был довольно плотной комплекции), шлепался на пол. Отдышавшись от хохота, снова принимался придумывать новые движения. Особенно нравилось ему изображать бабочку: распустив полы своего халата наподобие крыльев, он носился по комнате.

Он плохо запоминал имена и фамилии. Нередко случалось, на улице или на многолюдных сборищах кто-нибудь кидался к нему с радостным

возгласом и принимался выкладывать разного свойства новости. Квитко сердечно поддерживал разговор репликами. По уходе этого человека я спрашивала: «Кто это?» Квитко смущенно разводил руками: «Не знаю... человек... Не мог же я у него спрашивать... Он так радовался встрече...»

Ссоры, раздоры были ему невыносимы, он первым шел на примирение. Любил сватать и уговаривал знакомых холостяков жениться, расписывая прелести семейной жизни. Часто своим влиянием склеивал непрочные семейные отношения своих знакомых, выявляя перед каждым из них хорошие качества другого.

И хотя среди своих друзей и знакомых он слыл человеком ровного и веселого нрава, у него были дни полного отчаяния: ему казалось, что он уже иссяк и больше никогда ничего хорошего не напишет.

*

Путешествия были его подлинной страстью. С мальчишеских лет его тянуло скитаться, видеть новые места, новую незнакомую жизнь. Он всегда готов был ехать в любой конец страны и всякую задуманную им поездку начинал с уговоров: «Давай поедем...» — но я очень плохо переносила дорогу, и ездил он один.

Квитко изъездил нашу страну поездом, самолетом, пароходом, автомашиной, а в юности — местечковыми «балагулами» или просто бродяжничал. Если же он никуда не ездил, то предпринимал дальние прогулки, умышленно плутал, чтобы оказаться на незнакомом месте, но всегда безошибочно находил обратную дорогу. И только однажды, на даче, он ушел побродить по лесу и прихватил с собой соседскую девочку. Прошло больше двух часов, а их все не было. Квитко рассказывал, что они беспечно шли и шли и... заблудились. Представляя себе волнение матери о дочери, он порядком струхнул, а девочка утешала его и, не выпуская его руки из своей, стойко шла за ним в поисках дороги — направо, налево...

В поезде, на верхней полке, ему особенно хорошо работалось. Ни грохот, ни сутолока, ни разговоры в вагоне не мешали ему.

Однажды он вместе со своим старым другом, украинским писателем Александром Копыленко отправился в многодневное путешествие на машине по украинским колхозам. В пути у них было немало происшествий — и веселых и досадных. Вернулись они оттуда загорелые, заросшие, грязные, но очень довольные всем увиденным.

Результатом этой поездки была пьеса из колхозной жизни, написанная совместно с Копыленко и принятая к постановке талантливым режиссером Вершиловым, но не поставленная.

Стояло жаркое, душное лето 1938 года. Я лечилась в санатории на Кавказе и вдруг стала получать телеграммы из далеких, незнакомых мест. Оказалось, что Квитко прослышал о том, что в первый пробный рейс в Арктику отправляется пароход — плавучий дом отдыха. Не раздумывая долго, он закупил нужную для арктического плавания одежду и уплыл. Как позже выяснилось, пароход этот был вовсе не приспособлен для арктического плавания и пассажирам его не раз угрожала опасность крушения.

Кончилась эта поездка так: на обратном пути, в Архангельске, Квитко вышел, чтоб заглянуть внутрь здания вокзала. Вышел в тапочках, без пиджака, в котором лежали документы и деньги. Увлеченный какой-то сценкой на вокзале, он пропустил свой поезд. Начальник станции разрешил ему

ехать только до ближайшей остановки. Затем он на каждой станции бежал к начальнику, наново рассказывал о своей беде и получал разрешение ехать дальше. Недалеко от Москвы он наконец догнал свой поезд.

Об этой поездке он написал цикл стихов «Путешествие в Арктику».

*

Когда был построен Турксиб, Квитко в числе других украинских писателей был приглашен принять участие в открытии Турксиба, совершить первую поездку в Казахстан по этой новой дороге. Среди приглашенных было много иностранных корреспондентов. Они держались отдельно, настороженно и в одном месте пути, которое они считали почему-то опасным, настояли на том, чтобы сойти с поезда и пешком пройти этот участок. Сошли и украинские писатели. Среди иностранных гостей находился также один тщедушный старичок, старый революционер. Дорога тянулась среди зыбучих песков, ноги увязали, идти было трудно, и Льву Моисеевичу пришла в голову мысль — сплести стульчик из рук и перенести старого революционера на этом живом стульчике, что он и его приятель, украинский писатель, вдвоем и сделали. Под впечатлением этой интереснейшей поездки он написал большой цикл стихотворений, который назвал «Путешествие в Среднюю Азию». Некоторые из этих стихотворений были переведены на русский Т. Спендиаровой.

Свой членский билет ССП Квитко получил, когда вместе с украинскими писателями в 1934 году был делегатом на Первом всесоюзном съезде писателей в Москве. Билет — один из первых десятков билетов, подписанных Горьким, — был его гордостью, и всякий раз, когда приходилось его показывать, он подчеркивал: «Подписано Горьким!»

Со съезда он вернулся воодушевленный: выступления Горького и некоторых других писателей вселяли надежду на лучшее будущее.

Велико было мое удивление, когда он, вернувшись со съезда домой, втащил на третий этаж нашей харьковской квартиры велосипед. Иметь велосипед, уметь ездить на нем было мечтой, взлелеянной еще в детстве. Но в зрелом возрасте учиться ездить, падать под смехи любопытных прохожих он стеснялся. Велосипед долго стоял в коридоре, все на него натыкались и наконец, подвязав веревкой, его укрепили на стене под потолком.

Второй его покупкой в Москве был зеленый шелк мне на платье. Лев Моисеевич уверял меня, что шелк этот синий, именно той синевы, которая мне так нравится... Он не различал синий и зеленый цвета.

*

Лев Моисеевич рос в бедной семье, где еда считалась почти драгоценностью, ее строго распределяли между всеми членами семьи, не гнушаясь даже сухой коркой. И это бережное отношение к еде осталось у него на всю жизнь. Но к внешнему виду ее был требователен.

Когда он уже смог вести обеспеченную жизнь, то ему нравилось, чтобы стол в его доме был обильным и уставлен разными разносями, но и тогда аккуратное, уважительное отношение к еде не покидало его. Обладая хорошим аппетитом, он буквально заражал сидевших рядом людей желанием вооружиться ножом и вилкой и приступить к трапезе. Аккуратными

движениями очищал рыбку так, что весь хребет ее, словно рисунок на тарелке, оставался невредимым. Он не оставлял неряшливых остатков, а врожденная чистоплотность и брезгливость были столь сильны в нем, что если еда выглядела неряшливо, то, несмотря на голод, он не ел. Брал с блюда с фруктами только безупречные плоды, придирчиво оглядывая их со всех сторон.

Однажды в Киеве на улице взгляды его приковали к себе очень красивые яблоки в корзине у женщины. Он выбрал два, но, не имея при себе мелких денег, дал женщине пять рублей и, любуясь яблоками, ушел, забыв взять сдачу.

Рассказывая дома этот эпизод, он сказал: «Но яблоки были!» — и прищелкнул пальцами.

Поражало в нем то, что он никогда не сокрушался, теряя материальные ценности. Так было, когда он потерял любимую им подмосковную дачу, в которую вложил массу труда и времени и которую почти наполовину построил собственными руками.

Поражало в нем также его бескорыстие: покидая Москву в самый страшный для Москвы день — 16 октября 1941 года, чтобы эвакуироваться с группой писателей в Казань, и имея на сберегательной книжке десять тысяч рублей, он сдал в фонд войны девять, оставив для себя и семьи одну тысячу.

*

Одна странность водилась за Львом Моисеевичем: он не мог уснуть, оставаясь один в комнате. Чуть ли не до 12 лет спал с бабушкой в одной постели, хотя рядом пустовала лежанка: страхи мерещились ему. Кто-нибудь еще должен был находиться ночью в его комнате.

Когда я уезжала лечиться, он к вечеру зазывал к себе кого-нибудь из молодых литераторов, оставлял у себя на ночлег, уговаривал «пожить» тут, пока нет жены.

Я как-то спросила его, зачем он это делает? Он ответил: «Тоска охватывает меня... не могу быть один».

Прежде чем усесться за работу, он заглядывал в мою комнату. Удостоверившись, что мы с дочерью дома, говорил: «Когда мои женщины дома, я могу спокойно работать».

Всегда бывал в тревоге за нас с дочерью, если мы уходили, а он оставался.

Однажды я с утра уехала на дачу одна, пообещав к обеду непременно вернуться. Но что-то важное задержало меня, и я приехала к вечеру. Застала его в ужасном волнении, он был убежден, что со мной случилась беда, обращался в милицию, обзвонил много больниц...

*

В 1955 году Президиум Правления ССП СССР вынес постановление о посмертном издании книг Льва Квитко, и издательство «Детская литература» по-прежнему широко издавало его книги большими тиражами.

Роман-эпопею в стихах «Годы молодые» Квитко писал с длительными перерывами лет тринадцать — пятнадцать. Писал, откладывая на долгие годы и снова возвращался к рукописи. В этот роман о революции на Украине он вложил все свое мастерство, мудрость своего народа и в 1940 году наконец сдал его в печать. Печатался он в Каунасе и вышел в июне 1941 го-

да. Было уже получено некоторое количество авторских экземпляров, как вдруг — война!.. Фашистские бомбы попали в складское помещение типографии в Каунасе, и в пожаре сгорел весь тираж книги «Годы молодые».

После смерти Льва Моисеевича были утеряны ранее полученные несколько экземпляров книги. Мои поиски ее были тщетными. Но чудом был все же найден один экземпляр — его достал на издательском складе «Дер Эмес» почитатель Квитко, знавший о моих поисках. Моя благодарность ему была бесконечна. Но с этого момента начались новые мытарства.

Роман «Годы молодые» был издан на языке идиш, перевести семь тысяч строк на русский язык было делом нелегким и дорогостоящим. Но как же быть? Допустить, чтобы многолетний труд Квитко, не дошедший до читателя, канул в безвестность? Я слишком хорошо знала, чего стоила ему работа над таким огромным произведением и как он был счастлив, завершив его...

Переговоры с издательством длились несколько лет и, наконец, — согласие! Я сделала подстрочники и «латинки» семи тысяч строк. Редактор книги, однако, настаивал на том, чтобы переводчик обязательно переведил с оригинала. Но где было взять таких переводчиков? Пожилые люди — они не пережили войну. Осталось всего двое — И. Гуревич и Д. Бродский, к которым я и обратилась.

Однако несчастья продолжали преследовать книгу и дальше: неожиданно умер Гуревич, не успев доработать свою часть книги, вслед за ним также неожиданно скончался Бродский, не успев окончательно отделать свою часть работы, и книгу передают третьему переводчику, который, из-за краткости отпущенного ему времени, только несколько исправил язык перевода. Эта книга с предисловием Льва Кассиля вышла в 1968 году, а годом раньше, в 1967 году в издательстве «Советский писатель» на языке идиш был издан большой сборник стихов «Избранное».

*

В 1958 году в издательстве «Художественная литература» в русском переводе вышла автобиографическая повесть «Лям и Петрик». В этом же издательстве, в серии «Библиотека советской поэзии» в 1964 году — «Стихи» с предисловием К. Чуковского.

Автобиографическая повесть Л. М. Квитко «Лям и Петрик» («Два товарища») вышла сначала в Харькове в 1928 году на языке идиш, а затем в украинском и немецком переводах. На одной из страниц этой повести он рассказал о своей детской мечте, о том, как он мастерил из дощечек телегу-сани. Привожу отрывок, его разговор с сестрой Элькой.

...Он вертит ручку швейной машинки и рассказывает, а Элька, нагнувшись над шитьем, слушает:

«Я сейчас делаю санки. Понимаешь, бывает так — местами лежит снег, местами уже грязь. Где снег, хорошо на санках. Ну, а там, где грязь? Там хорошо на телеге. Ну, а где снег? Лошади на такой дороге намаются, все мокрые. Приходится идти пешком, толкать подводу по снегу, а сани тащить по грязи. Эх, были бы у меня доски! Пила-то у меня есть. Вот тут, видишь, будет у меня такой стержень. Нажмешь на него — телега перевернется и превратится в сани, снова нажмешь — вместо саней опять телега. Я все это как следует обдумал. Теперь у лошадей и возчиков будет легкая жизнь. Одно плохо — не из чего сделать этот стержень... Вот если бы бабушка разрешила отпилить кусок от нашего лежака...»

В свои мальчишеские годы, ему, уроженцу села, не давала покоя мысль о трудной и часто мучительной работе крестьянина, возчика. Ему мнилось, что он мог бы придумать чудо-сани, которые облегчили бы их труд, но вот только одна малость мешает: нет доски для стержня-рычажка...

В зрелые годы мысль о необходимости изобретения некоей машины, которая ездил бы и по земле и по воде — он пронес через всю жизнь. Об этом говорят его стихи «Про одну машину» («Везделаз»), которые были напечатаны в журнале в 1946 году, потом вошли в сборник «Я сам» (Детгиз, 1957 г.) и в сборники «Моим друзьям» (издательство «Детская литература», 1960, 1965, 1969 гг.).

Привожу несколько строф из этого стихотворения выборочно, так как в стихотворении больше ста строк:

«...Она зовется «везделаз»...
И говорит мой дядя:
«Ты кличку выдумал, Тарас,
Не на себя ли глядя?»

Но не от «лаз», а от «везде»
Беру я кличку эту,
Ведь на земле и на воде
Преград машине негу!

Брат тронул рычажок — ура-а! —
Машина превратилась
В автомобиль и со двора
Спокойно покатилась.

Брат тронул рычажок, и вот
Уж нет автомобиля,
А лодка по реке плывет,
Бьет пена из-под киля...»

Заканчивается стихотворение так:

«Скажу по совести, друзья:
Машина эта будет.
А весь рассказ придумал я,
И кто меня осудит?»

(Перевод Е. Благиной)

В 1966 году в газете «Известия» от 4 июня появилась заметка: «Созданные в конструкторском бюро, возглавляемом генеральным конструктором А. Н. Туполевым, аэросани-амфибия регулярно совершают рейсы в любое время года, в любую погоду: зимой по глубокому рыхлому снегу, развивая скорость до 100 километров в час, и по тонкому непрочному льду, и по воде».

Так, спустя двадцать лет появилась машина, напоминающая ту, которую Л. М. Квитко видел в своем воображении и о которой рассказал в своем фантастическом стихотворении «Про одну машину».

*

Когда мысленно охватываешь все беды, выпавшие на долю Льва Моисеевича, когда вспоминаешь его тяжелое детство, бесприютную юность, отца, мать и пятерых его сестер и братьев, погибших на его глазах один за другим от скоротечной чахотки,— то невольно спрашиваешь себя: как уцелел он, один из всей этой обреченной многочисленной семьи? Какая сила сберегла его жизнь? Не для того ли он выжил, чтобы радовать своими стихами детей и взрослых?

Радуюсь чужим успехам, он не домогался благ для себя лично, довольствуясь тем, что получалось само собой.

Доставлять людям радость — было его потребностью, творить добро — сущностью его жизни.

Митя Либман.

Годы юности



омик в Голоскове, где родился и рос Лев Квитко, стоял на перекрестке двух улиц, причем восточная улица была крайней в селе, а в пятнадцать — двадцати метрах за ней начинались поля, которые всегда были засеяны зерновыми. С северной стороны, куда глядело оконце из комнатки Льва Квитко, протекала река Южный Буг. На полоске земли между домиком и рекой были бахчи.

Эти условия, несомненно, сыграли большую роль в жизни Льва Квитко; известно, какое отражение нашли впоследствии в его творчестве близкое знакомство с природой и любовь к ней.

Старшая сестра Льва Квитко Витя (она потом послужила прототипом Элки из книги «Ляма и Петрик») была портнихой. У меня тоже была старшая сестра, которая ходила к Вите учиться портняжному ремеслу. Моя сестра часто рассказывала о той страшной бедности, которая царила в домике Квитко. Она рассказывала также о младшем брате Вити — Льве, который не ходит в хедер, а занимается дома «самообразованием». Моя сестра была старше его и уже умела писать. Она начала помогать ему. Но, видно, у них ничего не получилось. Однажды, возвратившись домой от Квиток, сестра обратилась ко мне с такой примерно просьбой: ты учишься в хедере, умеешь уже читать и писать, ты — мальчик, и он — мальчик, иди со мной и начни его обучать, жалко ведь мальчика...

Я пошел и начал обучать его еврейской азбуке. Мы подружались. Как долго продолжались наши совместные занятия, я не помню, но они, несомненно, положили начало нашей более поздней дружбе.

Оттого, что Лев не учился в хедере, он, пожалуй, даже выиграл. Религиозность и педантизм обучения в хедере общеизвестны. Пока я с другими детьми с утра до вечера просиживал в тесных комнатках со спертым воздухом, он бегал под солнцем и дождем, дышал ветрами, читал открытую книгу природы.

Но это продолжалось недолго: дитя бедной семьи, он должен был идти работать. Он работал на маслобойне (у Гайзуктера из «Ляма и Петрика»), у торговца кожей Пустильника.

Я узнал, что в Ташкенте живет женщина примерно моего возраста, наша землячка: дом ее родителей находился неподалеку от дома Квитко, рядом с домом Пустильника-кожевенника, у которого работал Лев. Я беседовал с этой женщиной. Да, она хорошо помнит, как Лев таскал на себе кожи из бойни, как жена этого самого Пустильника круто обходилась с мальчиком: не давала ему завтрака, пока он не подметет полы в квартире и площадь вокруг дома и не наносит воды на целый день. Лишь после этого она давала ему кусок хлеба и чай с сахаром вприкуску, а ее сын сидел рядом и ел колбасу и яичницу. Официально же считалось, что Лев должен работать в магазине, где хозяин будет обучать его кожевному делу...

Мы редко встречались со Львом в последующие два-три года: он работал у хозяина, я просиживал дни в хедере, за мною строго следили отец и учитель — ребе. Но потом — примерно в 1909 году — мы снова сблизились и подружились, уже навсегда. Наши встречи, беседы и «гуляния» проходили обычно в полях вокруг села, иногда у нас дома, иногда у него. Мне вспоминается: когда мне было лет двенадцать-тринадцать, мой отец повел меня на высокую скалу в нескольких километрах от села. Скала заканчивалась столбовой площадкой. Мой отец уверял, будто на этой площадке казаки вершили суд и расправу. Однажды мы пришли на эту скалу со Львом. Мы сидели на площадке, я передавал Льву рассказ моего отца, как вдруг из трещины в скале стремительно выползла змея. Я испугался, вскочил. А Лев схватил меня за руку и сказал: «Не бойся, это ведь уж, уж не опасны, они не кусают, не жалят. Пойдем поищем, может быть, найдем «рубашку» ужа, которую он сбрасывает, линияя». Мы пошли и действительно нашли «рубашку»...

В другой раз Лев сказал мне: нет, мол, у нас в селе библиотеки, хорошо бы устроить. Я возразил, что нет средств и негде взять. Но у Льва уже был готов на этот вопрос ответ: надо ставить платные спектакли, а на выручку покупать книги. План Квитко был принят, собралась любительская «труппа» из молодежи села, и начались спектакли. Помню, мы ставили «Бог, человек и сатана» Я. Гордина — роль сатаны играл Лев; «Колдунью», роль которой тоже играл Лев; «Агенты» Шолом-Алейхема и другие пьесы.

Не знаю, живет ли еще в Ташкенте та женщина, которая послужила прототипом для образа Сали в «Ляме и Петрике». Сали — это Лиза Сандлер, постоянная участница наших любительских спектаклей. У нее можно было бы много узнать о Квитко. Я уже собирался было навестить ее, но потом раздумал: я вспомнил, что, когда вышла из печати книга «Лям и Петрик», Лиза и вся семья Сандлеров были недовольны тем, как они изображены в книге Льва Квитко...

На средства, полученные от спектаклей, мы приобрели книги для общественной библиотеки. Бесплатным заведующим и консультантом был, конечно, Лев. Помещением библиотеки стала моя маленькая комнатка в доме моих родителей. Я часто наблюдал, с какой сердечностью, с каким тактом Лев консультировал читателей, как он мягко приучал к книге самых неподатливых. Я задумывался: откуда у него такой такт и такая мягкость в обращении? Откуда такая культура? И, наконец, знания?..

Вспомнилось мне и такое. Осенью 1912 или 1913 года в Голоскове скончался самый богатый еврей в селе, оставив очень большое наследство своим четырем дочерям. У нас в Голоскове была аптека, в которой работала девушка провизор. Сначала с ней познакомился я (я часто ходил в аптеку за лекарствами), а потом привел Льва и познакомил их. Мы часто беседовали по вечерам, когда аптека закрывалась. Девушка-провизор была намного старше нас и уже тогда имела высшее образование (фармацевтическое). Она интересовалась литературой и вообще была нашим «руководителем».

Когда скончался этот самый богач, Лев прибежал ко мне и позвал в аптеку. Он поделился с нами своим проектом: так как дети покойного захотят увековечить память отца, нужно постараться, чтобы они организовали талмуд-гору. В те годы в некоторых городках создавались такие школы: они были полурелигиозными, полусветскими, дети бедноты могли обучаться там бесплатно.

Мы приняли предложение Льва. Составили письмо-ходатайство к наследникам богача. И тогда возник вопрос: кому идти с этим письмом.

Рассуждали так: девушка-провизор выполнила бы это поручение самым лучшим образом, но она — не здешняя, не голосковская, «чужая», ее не примут. Со Львом тоже не станут говорить — он ведь сам бедняк. Выходило, что идти должен я, так как я — сын состоятельного, почтенного отца, который к тому же молился с покойным богачом в одной синагоге. Я пошел.

Вся родня усопшего сидела на земле — «справляла» траур. Меня приняли как гостя, пришедшего выразить соболезнование. Потом, когда я, дрожа от волнения, рассказал «бедным сиротам» о цели моего прихода, они переглянулись и попросили оставить письмо-ходатайство. Они, дескать, разберутся, обсудят и пошлют за мной. Они, конечно, так и не послали...

Однажды мы со Львом ушли далеко от села, облюбовали себе какой-то кустарник, улеглись на траву, подложив под головы книги и развесив на кустах свои пиджаки и рубахи — заслон от солнца. Мы то читали, то начинали разговор, то просто лежали молча, и вот в одну из наших «молчаливых бесед» Лев начал, как-то застенчиво сбиваясь, говорить о том, что он пишет стихи, что его непрерывно тянет к этому делу и что это — серьезно. Я растерялся, мне казалось, что я это давно предвидел, но не знал, что ему сказать. Мы пролежали еще некоторое время молча и отправились домой.

Лев стал писать стихи, и писал их во множестве. Часто я бывал первым его слушателем. Нередко стихи были связаны с нашим голосковским бытом.

Когда, например, я читаю в книге «Лям и Петрик» то место, где Лям (то есть сам автор) таскает на себе шкуры из бойни на чердак богача Пустильника, я вспоминаю одно стихотворение, написанное Львом в ту пору. На побеленной стене бойни дождевые капли образовали вымону, которая смутно напоминала человеческую фигуру. Это была, уверял Квитко в своем стихотворении, фигура резника. Природа, мол, сердится на него за пролитие крови...

Нас тогда воспитывали в религиозном духе, причем очень строго. Бабушка и мать Льва Квитко были религиозны и требовали от него соблюдения обрядности. Но, в отличие от меня, его не наказывали. До поры до времени мы выполняли требуемые от нас обряды. Но уже была у нас и запретная антирелигиозная литература, и книги философского содержания, и велись тайные антирелигиозные разговоры. Мы стали атеистами. Этот шаг ознаменовался стихами Льва, в которых автор, обращаясь к молитвеннику, говорит примерно следующее: я считал тебя другом, изливал перед тобой свою душу, а ты оказался врагом, обокравшим мою юность; ты лишил меня инициативы, я проклинаю тебя, и т. д. Я помню, как мы, уйдя за село, читали эти стихи с восхищением и надеждой.

Наши беседы и встречи продолжались до начала мировой войны, примерно до поздней осени 1914 года. Все эти годы я наблюдал, как духовно растет мой друг.

Когда началась война, я уже работал учителем в другом селе. Была объявлена мобилизация — я должен был вернуться в Голосково. В тот же день я пошел ко Льву Квитко. Мы говорили о прожитом, о планах на будущее. Оказалось, что Лев и еще один наш товарищ должны осенью призываться. Товарищ заявил, что уедет в США — там у него брат, — и уехал. А Лев сказал, что он никуда не уедет и на войну не пойдет — не будет стрелять в безвинных людей, таких же, как он...

В 1916 году я вернулся из армии и получил от Льва письмо. Он общался из Умани, что был принят Давидом Бергelsonом, который одобрил его начинания. Я поехал в Умань для встречи со Львом. Мы провели вместе

целый день, бродили по Софиевке, он читал стихи, мы о многом поговорили, а к вечеру я уехал.

Зимой 1927 года Лев приехал в Голосково навестить свою старшую сестру, большую вдовую женщину. Я тогда жил в Голоскове. Вместе с несколькими нашими приятелями мы решили организовать Льву Квитко дружескую встречу и провести вечер в доме его сестры. Электричества не было, не было даже керосина. Мы осветили комнату свечами, вышло еще торжественнее. В квартире было холодно, мы достали дров и хорошо протопили печь.

Только сели за стол, как отворилась дверь и вошел... Гайзуктер, тот самый, о котором Квитко рассказал в «Ляме и Петрике». Правда, за минувшие годы он заметно облынял, но появление столь чужого нам человека на дружеской вечеринке испортило всем настроение. Хуже всего было то, что вместе с ним пришел какой-то пьяный в длинной шинели и кавалерийском шлеме. Пьяный был не наш, не голосковский. Наш вечер был, по существу, испорчен: не было уже той интимной теплоты, на которую мы так рассчитывали.

Тогда мы решили устроить другой вечер, теперь уже у нас дома. Мы пригласили только самых близких друзей. Пригласили, конечно, и Витю, сестру Квитко. На этот раз вечер прошел хорошо, тепло, сердечно.

Лев остался у нас ночевать, а потом жил у нас до самого отъезда: у Вити было холодно. В один из дней он заинтересовался: что это за субъект, который приходил вместе с Гайзуктером? Он оказался вымогателем: заходил в первый попавшийся дом и, угрожая доносом и расправой, требовал денег, продуктов. Мы дали Льву подробную характеристику этого наглеца.

Через две-три недели после возвращения Льва в Харьков, где он тогда жил и работал в редакции «Дер Штерн», мы получили номер этой газеты с корреспонденцией о голосковском вымогателе и злой карикатурой на него. Вскоре меня и еще одного товарища пригласили в прокуратуру в качестве свидетелей по делу этого человека. С тех пор он больше не появлялся в нашем селе. Так Лев помог селу избавиться от вымогателя.

Квитко, бывало, говорит задумчиво: мы вырастем, станем взрослыми, я буду поэтом, а ты — учителем; когда-нибудь ты прочтешь детям в школе мои стихи. Его предсказание исполнилось только отчасти: он действительно стал поэтом, большим поэтом, а я, хотя и стал учителем, но не языка и литературы, а физики. Но я свято храню его память: его произведения — мои настольные книги,

Литературная запись Б. Квитко

А. Козой. У нас в Умани



ворили, что, перед тем как попасть к нам в Умань, Лев Квитко некоторое время жил в Одессе. Он снимал там комнату и страшно бедствовал. Попросту голодал. Он тогда переписывался с одной девушкой из Голоскова, и его письма состояли из подробнейших описаний красот города. Он описывал, какой прекрасный собор виден из его окна, какой сквер на соседней улице, какая богатая улица с другой стороны и многое другое, но, по своей поэтической рассеянности, ни в одном письме не сообщал маленькую подробность — адрес. Свой обратный адрес. Чтобы передать ему немного денег от друзей, эта девушка (она сама впоследствии рассказала моей жене) разыскала его в Одессе по описаниям улиц в его письмах. Такие они были точные.

В Умани он снял комнату — это ж надо! — у городского. Городовой был не из важных — его пост был на базаре, кажется, возле мясных лавок. Но хотя жилье у Квитко имелось, есть часто было нечего. Когда случались деньги, он столовался у «своего» городского. Мы — я и моя жена — помнитесь, в этом доме и познакомились с Квитко.

Он производил впечатление человека, живущего одной поэзией. Он закигался и приходил в восторг от любой малости. Во время серьезного разговора он мог неожиданно воскликнуть: «Ой, звездочка!» или «Ой, травиночка!» Его, бывало, даже поддразнивали: «Ой, травиночка!»

Наша Умань была благодатным местом для человека, столь равнодушного к красоте природы. В Умани, в конце Садовой улицы, как вы, очевидно, слышали, находится знаменитый парк Софиевка. Представьте себе: от входа ведет широкий въезд, слева вековой лес, справа течет маленькая речка, скорее — ручеек, а на том берегу — цветник. Если идти по главной аллее, то через полкилометра примерно открывается колоннада и Нижний пруд с фонтаном. Для нас, провинциалов, это был первый — а для многих единственный — фонтан в жизни. А в пруду плавали черные лебеди. Не знаю, как это все выглядит сейчас, описываю, как запомнилось. Справа мостик вел к островку, там был водопад, а рядом, у подножия водопада, — каменная скамейка: сиди, смотри, слушай, думай. Вода падала в Нижний пруд, рядом была пещера и бассейн, который мы называли «половина миски».

Мы часто бывали здесь с Квитко, иногда даже ночью («Ой, звездочка!»). Он читал нам стихи на каменной скамье под шум водопада. Вход в парк был свободный, только по праздникам брали пять копеек, но для молодежи — для Квитко особенно — это была сумма, и мы проникали в Софиевку со стороны Новой Умани — «за так».

Парк производил на Квитко громадное впечатление. Он, казалось, хотел лично познакомиться с каждым листком и цветком. Я даже не берусь описать, что с ним делалось, когда я впервые довел его до китайской

беседки... Быть может, Софиевка (наряду со значительной интеллигентной и литературной средой) формировала его поэтический талант.

А среда — особенно если считать по меркам провинциального города — складывалась в Умани необыкновенно счастливо. В городе было много настоящему образованных людей, отличных знатоков старой и новой литературы. Даже бедняки брали на субботу в лавке дешевые выпуски народной библиотеки (за одну копейку). Было немало — вы должны оценить этот факт — начитанных женщин. Здесь Квитко познакомился со своей будущей женой. Не знаю, какое у него тогда было образование — едва ли значительное, — но его поэтическим талантом восхищались все. Как многие талантливые самоучки, Квитко не бросал самообразования всю жизнь. Помню, когда много лет спустя — в 1948 году — я был в Москве в командировке, кто-то затащил меня к Квиткам на Маросейку; хозяина дома не было, и меня посадили дожидаться в его кабинете; на столе лежали раскрытые словари, тетради и том Бялика. Было видно, что за этим столом — учатся.

Особенно бурно росла литературная среда в Умани после революции. Началась как бы кристаллизация всех дремлющих сил провинции. В 1917 году вернулся в Умань М. Хашеватский, оставив свой политехнический институт, если не ошибаюсь — где-то в Поволжье или на Урале. Э. Фининберг закончил здесь четырехклассное городское училище. Давид Бергельсон не был уманчанином, он был из Охримова, Киевской губернии, но часто приезжал в Умань, и его встречали как почетного гостя. В эту среду и попал Квитко.

Был в городе зал Яновского, его снимали для лекций, вечеринок, свадеб. Здесь был проведен первый вечер молодых поэтов, на котором Квитко впервые прочел свою знаменитую «Кисаньку» и другие стихи. У Квитко было замечательно одухотворенное лицо, добрые, лучистые глаза, и он казался кой-кому мягким и безвольным, но это было заблуждением, уверяю вас. Помню, на одном из литературных вечеров, где он должен был выступать с Бергельсоном, у нас что-то не ладилось по организационной части. Квитко так напустился на виновных, что все мигом было улажено. Я был поражен такой напористостью, такой, я бы сказал, волевой стремительностью.

В Киеве начали издавать еврейскую (на идиш) газету. Квитко стал печататься в Киеве.

Я был восхищен его книжкой «Трит» («Шаги»). Умань нигде не была названа в этой книжке, но мы, коренные жители города, узнавали его на каждой странице и Киевскую улицу, где размещалась профшкола — место моей тогдашней работы, и выход из города, и степь под Уманью. Даже деревья в стихах Квитко я считал своими знакомыми — деревья были те самые, наши, уманские.

Его известность росла. Однажды на улице (у нас был свой Крещатик) мы с Квитко встретили моего знакомого, доктора Тутельмана. Я представил доктора и Квитко друг другу. «Это тот самый Квитко, который написал «Кисаньку?» — спросил доктор. Квитко смутился, но с достоинством ответил: «Но не только...»

В 1918 году я участвовал в создании еврейских рабочих курсов. Никаких денег у нас, конечно, не было — все держалось на энтузиазме молодежи, готовой безвозмездно отдавать свои знания рабочей массе. Слово «ликбез» мы тогда еще не знали, но задача наша была именно такова — ликвидировать безграмотность. Одно время я заведовал этими курсами.

Многие слушатели курсов, начавшие у нас на глазах читать по складам, стали впоследствии отличными специалистами. Занятия у нас про-

исходили по вечерам, и часто к нам заглядывал Квитко. Здесь все преподаватели и некоторые слушатели были его друзьями. Все новое интересовало Квитко, а наше дело было новое.

Потом Квитко уехал за границу. После возвращения Квитко поселился в Харькове. Я был в то время директором еврейского механического техникума в Киеве и по долгу службы часто бывал в Харькове — тогдашней столице Украины. Я встречался с Квитко, и мы вспоминали нашу уманскую молодость. Я находил Квитко все таким же неистощимо любопытным и неизменно доброжелательным. Он расспрашивал меня о моей работе до мельчайших подробностей. Среди прочего запомнилось, что Квитко расспрашивал меня о Веледницком — поэте и знатоке творчества Шолом-Алейхема. Я мог удовлетворить любопытство Квитко, потому что Веледницкий работал у нас в техникуме — читал язык и литературу.

В один из приездов я рассказал ему, что перевел на еврейский язык учебник механики. «А как с терминологией?» — спросил он меня. Терминологию, ответил я ему, мне пришлось разрабатывать самостоятельно. В разговоре я упомянул, что в учебнике есть глава, посвященная теории относительности Эйнштейна. Он сразу загорелся: «И ты не мог прислать мне экземпляр!» Признаться, я не думал, что он хотя бы слышал об Эйнштейне. Вскоре я прислал ему экземпляр учебника и получил в ответ письмо, в котором он тепло благодарил за подарок. К сожалению, письмо это у меня не сохранилось. Мы были молоды и беспечно и не задумывались о том, что рядом с нами живет большой поэт и человек...

В 1928 году наш техникум посетила делегация работников еврейских культурных учреждений Польши во главе с директором Варшавского еврейского института. Как смеялся Квитко, когда я рассказал ему, какой вопрос задал мне этот директор! Я показал делегации аудитории и кабинеты, а потом повел в цеха. Неожиданно наш гость спросил: «А висячие замки вы делаете?» Я ошел: только что я показал ему и другим членам делегации универсальный деревообделочный станок, который до последнего винтика изготовлялся учащимися и не уступал заграничным образцам. При чем же здесь висячие замки? «Да, — возразил мне гость, — но висячие замки — очень выгодное дело». Пришлось объяснить, что нас в первую очередь интересует эффективное обучение, а не коммерция. Когда я рассказал об этом эпизоде Квитко, он ухватился за бока и долго хохотал. «Балабеслех! Балабеслех!»¹ — восклицал он. — Какое убогое мышление! Какие мешанские предрасудки!»

И долго еще потом, когда я бывал в Харькове, он встречал меня вопросом: «Ну как, вы еще не перешли на изготовление висячих замков?»

Особенно мне запомнилась встреча с Квитко в Евпатории. В июне 1936 года я повез туда своего сына. Однажды, когда мы с моим мальчиком были на пляже, там появилась целая толпа моих знакомых: Лев Квитко, Давид Бергельсон, Перец Маркиш, Иехезкель Добрушин и художник Натан Альтман. Они узнали меня и подошли ко мне. Оказалось, что они решили отдохнуть несколько дней на Южном берегу после поездки по колхозам степной части Крыма. У Маркиша с Бергельсоном шла веселая игра — так сказать, фехтование литературными цитатами. Один произносил выдержку из какого-нибудь старого или нового литературного источника, другой парировал цитатой, по-видимому, из того же текста.

Все с увлечением следили за борьбой двух остроумий, только Квитко, хотя и был вооружен для подобной пикировки не хуже прочих, не при-

¹ Балабеслех (евр.) — хозяйчики.

нимал участия в этой забаве. Он уселся в стороне, достал, по своему обыкновению, карандаш и бумагу и стал что-то записывать. Меня всегда поражала его всегдашняя готовность к творческому труду. Он мог творить всегда и везде — утром и вечером, дома и вне дома. Бывало, он обрывал разговор, останавливался как вкопанный и делал свои записи прямо на улице. Ничего не оставалось, как только ждать, когда он кончит.

Веселая пикировка цитатами между Маркишем и Бергельсоном продолжалась и в следующие дни. Вот так мы сидели на пляже, когда радио вдруг объявило о смерти Горького. Это было как удар. У Добрушина вырвался стон. Остальные были так подавлены, что ничего не могли произнести. Молча встали и с опущенными головами ушли с пляжа. Вместе со всеми, так и не спрятав в карман бумагу и карандаш, уходил Квитко...

Литературная запись М. Петровского

Андрей Мушкетёр. Хабар Луб



Недавно — уже в начале семидесятых годов — я прочел в переводе на русский язык книгу Льва Квитко «Годы молодые» — роман в стихах об утверждении Советской власти на Украине. События романа разворачиваются на Уманщине, Черкасщине и других хорошо знакомых мне местах: там проходили и мои «годы молодые». Нужно сказать, что негативных героев романа я узнавал сразу — это были печально известные представители вражеского лагеря. А вот положительных героев — наших — узнать «в лицо» труднее. Очевидно, Квитко создавал эти образы, обобщая в них несколько прототипов. Ошер Шварцман, красный кавалерист и поэт, выведен под собственным именем; в некоторых других персонажах проглядывают, как мне кажется, черты Роли Кулика, хотя, конечно, я не могу, безусловно, на этом настаивать. Эта книга стала для меня неожиданной встречей с родными местами, с давней молодостью, со Львом Квитко.

А перечитывая его лирику и стихи для детей, я то и знай испытываю радостное удивление: гляди ж ты, и у меня есть об этом строки! Поэт словно бы подслушал и записал и мои мысли, мои чувства. Подобное, наверное, случается с каждым читателем поэта: на то и лирика, чтобы читатель узнавал в ней себя. Я заполнил целую тетрадь такими «параллельными местами», наслаждаясь тем блаженным родством душ, какое испытывал при личном общении с поэтом.

Стихи Квитко — правдивое зеркало его души. В них — его бесконечно доброжелательное отношение к миру, к людям, к детям, ко всякой маленькой травинке, к жучку, взбирающемуся по этой травинке, чтобы взлететь в вышину, и к создавшему все это Мастеру (условно говоря), которого Квитко иронично, но искренне благодарит за его великолепные создания, уверенный, что этот Мастер так же доброжелателен и увлечен творчеством, как и он, поэт. Кстати, о жучке: мне всегда казалось, что это образ лирический. Разве не вскарабкивался поэт в свои юные годы на крыши и купола по дрожащим лесенкам и лесам, словно его жучок на травинку, выбирая «высокое место для старта», чтобы «крылья расправить — в полет!»?

Он навсегда прописан в моем сердце с первого момента нашего знакомства в 1919 году, когда, держа его руку в своей, я подумал: «Какая добрая душа глядит из глаз этого милого человека!»

Мы познакомились в Умани в доме Единой народной библиотеки чуть ли не в самый день ее открытия. В библиотеке было три секции: украинская, еврейская и русская. Я работал в украинской, занимавшей проходную комнату, а рядом, в еврейской секции, работал мой школьный товарищ Фрайман. Поначалу посетителей было мало, и я свободно располагал своим временем. Фрайман предложил обучить меня еврейскому языку идиш. Я сразу стал делать успехи — в первый же день изучил алфавит и умел написать свое имя и фамилию.

Между тем пришли первые посетители — еврейские поэты Лев Квитко, Миша Хашчеватский и Эзра Фининберг. Фрайман меня тут же познакомил с ними со всеми. Квитко увидел на столе мои упражнения, улыбнулся и сказал: «Браво, хавер Андрей! ¹ Вы подаете большие надежды. Скоро вы сумеете замещать двух заведующих одновременно».

Друзья-поэты уселись за большим круглым столом и стали рассматривать разложенные на нем книги. Приходили все новые посетители. Приходящие оформлялись как первые читатели, выбирали себе книги, но не уходили, вступали в беседу друг с другом и с поэтами. Потом читатели стали просить поэтов выступить со своими стихами. Те не стали уклоняться, и состоялся первый вечер еврейской поэзии в новооткрытой Единой народной библиотеке. Выступали все трое, и всех встретили очень хорошо. Должен признаться, что мне хавер Лейб понравился больше других. Я был покорен его обаянием. Я и после слушал уманских поэтов в гостях у Хашчеватского и на курсах Культур-лиги в Нагорном переулке, но эта первая встреча особенно запомнилась.

Я близко сошелся со всем кружком еврейских поэтов. Однажды с Эзрой Фининбергом мы пришли к Хашчеватскому и застали там Льва Квитко. Все — в том числе и я — читали стихи, свои и чужие. Потом, когда перешли к прозе, ко мне подсел хавер Лейб и сказал вполголоса: «Хавер Андрей, у меня к вам вот какое дело. В Умани начинает выходить еженедельный «Бюллетень Уманского профбюро» на трех языках — русском, украинском и еврейском. Не возьмете ли вы на себя составление украинской страницы?»

Я согласился, и мы стали работать вместе. Встречались мы для этого дела два раза в неделю, но наше общение этим не ограничивалось. К себе на Никитинскую я проходил мимо дома на Гоголевской, где жил Квитко. Домой нам часто было по дороге. Лев Квитко обладал настоящим талантом высокого внимания к людям и жизненным явлениям. Я, должно быть, тоже чем-то привлек его, и общаться нам всегда было легко. Он умел тактично, «безбольно» проникнуть в душу собеседника, обследовать, все ли там благополучно, нет ли, как теперь говорят, отрицательных эмоций, и только после этого, прояснив настроение, заводил разговор о деле. Его интересовало все-все. За две-три встречи он уже знал обо мне, моем доме и моих близких столько, что казалось, будто мы знакомы давным-давно. Много драгоценных минут общения было посвящено книгам: что каждый из нас читает и как воспринимает. Читали друг другу новые стихи; не написанные еще, только задуманные произведения тоже подвергались обсуждению. Принимая меня как несправимого «безмежника» («безграничника», приверженца литературного «авангарда»), он не критиковал расхристанную форму моих стихов. Он требовал одного: категорически полного совпадения словесного материала с поэтической мыслью.

Однажды мы так увлеклись чтением стихов, что не заметили, как прошли мимо жилья Квитко и подошли к моему дому. Во дворе нас встретила моя мама. Квитко отошел немного назад и стал внимательно всматриваться в мамыны глаза. Лицо его озарилось, он подошел к маме, взял и поцеловал ее руку. «Спасибо вам! — сказал он. — У вас мне стало так легко и уютно, как у моей мамы. У нее были такие же теплые глаза. Позвольте, я найду к вам после разговора с Андреем».

Его словно магнитом втянуло в мою комнату, наполовину заставленную книгами. Он подолгу разглядывал каждую книгу, словно лаская ее взглядом. Видно было, как он рад этой встрече со старыми и новыми друзь-

¹ Х а в е р (евр.) — товарищ.

ями. Насытившись этой радостью, он стал одну за другой снимать книги с полок. Первой, помню, была книга Потебни «Мысль и язык». Полистав ее, он сказал: «Да это настоящий шедевр, молодец вы, товарищ Андрей!» Оглаживая корешки руками, он любовался книгами — словарем украинского языка, составленным Борисом Гринченко, словарем Даля, томиком Шевченко, Леси Украинки, Коцюбинского, Блока, Уитмена, «Увядшими листьями» Ивана Франко. Дольше других книг он листал переведенного Холодковским «Фауста» (с этой книгой ему суждено было встретиться еще раз много лет спустя). Отдельные строки «Фауста» он задумчиво произносил вслух и замолкал, должно быть пробуя на ходу перевести их на свой язык. Уже стемнело, когда он закончил это тихое, самоуглубленное пиршество. Не берусь воспроизвести его слова буквально, но смысл их я помню хорошо. Он сказал, что здесь, не выходя из этой комнаты, можно путешествовать в глубины самой активной и доброй человеческой мысли. Что я, конечно, богач, обладая такими сокровищами. Что «Фауста» непременно нужно иметь в переводе на еврейский. Но для этого потребуются годы спокойного творческого труда, а сейчас у нас, к сожалению, слишком мало зрелых работников. «А теперь,— добавил он,— я хочу попроситься к вашей маме Марфе Васильевне — на руки души». Он так и выразился — «на руки души». Квитко весь был в этих словах...

В Умани насчитывалось около десятка детских домов. Я был там внештатным (по-нынешнему — на общественных началах) экскурсоводом: водил детей на прогулки, знакомя их с окружающей природой. В одном детдоме работала моя знакомая Лида Гуревич — ученица Айседоры Дункан. Она придавала большое значение эстетическому воспитанию детей. С детьми проводились занятия, их готовили к индивидуальным и коллективным выступлениям, на которые приглашались гости. Однажды я был приглашен вместе с Квитко и Фининбергом. Лев Моисеевич обошел всех детей, с каждым поздоровался за руку и каждому что-то прошептал на ушко — должно быть, что-нибудь очень хорошее, потому что дети заметно повеселели. Дети облепили его и так, прижавшись друг к другу, долго сидели молча. Эта атмосфера молчаливого доверия и ласки была поразительна! Дети словно бы отогрелись возле него, и когда они начали свое выступление танцем под песенку (кажется, «Флит же, флит же фойгелех»), вместе с ними пел и танцевал их новый друг.

Целый вечер дети не отпускали от себя Квитко ни на шаг. А когда им пришла пора спать, он сам отвел их в спальню, спел им колыбельную и тихо-тихо рассказал сказку. Потом обошел всех уснувших и каждому поправил подушку, словно клал под нее какой-то невидимый для непосвященных подарок.

Он никогда не спешил, но всюду попевал, во всякое дело вкладывал всю душу — и не беднел от этого. Все его интересовало: и школа, и библиотека, и курсы, и детдом, и журнал. Все он принимал близко к сердцу, за все чувствовал ответственность. Это не было «прекраснодушие», нет, это было активно душие.

Через какое-то время Квитко уехал из Умани, и я надолго потерял его из виду. Но внутренне я с ним не расставался никогда.

Случилось так, что встретились мы снова над моим экземпляром «Фауста». Я к тому времени уже успел сделаться москвичом. Я часто встречался с Эзрой Фининбергом, который перебрался в Москву еще раньше меня. Как раз в ту пору Фининберг задумал перевести «Фауста» и, увидав у меня на полке перевод Холодковского, попросил одолжить книгу на время работы. К этому переводу Эзра относился критически, и опыт предшественника нужен был ему скорее как трамплин для отталкивания,

И вот сижу я у Эзры, он читает мне части своего перевода, а я время от времени сверяюсь с русским текстом, так как немецкий язык знаю недостаточно и сверяться с оригиналом мне не под силу. Вдруг отворяются двери и входит наш дорогой Квитко! Мы с Эзрой, не стовариваясь, вскакиваем и радостно кричим: «Хавер Лейб, каким ветром?» Земляки сплелись в тройном объятии.

Наконец уселись за стол, где были разложены рукописи хозяина. Тут я вижу, как взгляд Квитко падает на Холодковского и он узнает эту книгу, которую держал в руках там, в маленькой хатке на Никитинской. Потом он переводит глаза на меня и обо всем догадывается. На его лице отчетливо читается: «Эзра переводит «Фауста». Так вот кто первый отважился!» И не говоря ни слова, он бросается обнимать Эзру. «Ну, теперь я тебя замучу, не отпущу, пока не услышу твой перевод до конца!» — решительно заявляет он.

Мы пили чай и слушали. Квитко не мог усидеть на месте. Он весь горел. Лицо его сияло, как солнышко на пасху. Он ходил, пританцовывая, подхватывал отдельные строки, повторял их, смакуя, как лакомка, и восклицал: «Будет, будет, будет «Фауст» на еврейском языке! И какой «Фауст»! Конгениальный!»

Он, как дитя, бескорыстно и самозабвенно радовался чужой удаче. Эзра, конечно, не сомневался, что выставленный ему балл завышен, но не отклонил столь высокую оценку поэта-друга, а принял ее с благодарностью. Эта оценка была тем дополнительным пайком внимания и тепла, который так необходим каждому творческому работнику — особенно во время напряженного труда. Уверен, что этот дополнительный паек стал немедленно окупаться: вдохновленный похвалой Квитко, Эзра с новым энтузиазмом продолжал свою переводческую работу.

И вновь я был поражен умением Квитко радоваться успехам друга, когда мы вскоре снова встретились — теперь уже в гостях у Арона Гурштейна и его сестры Любы. Квитко сгрудил всех собравшихся и торжественно объявил, что Эзра закончил свой перевод первой части «Фауста» и приступил ко второй. Я сразу догадался, что сегодняшняя встреча — его затея. Когда началось чтение, повторилась прежняя сцена экстатического веселья влюбленных в поэзию людей. Лев Моисеевич «дирижировал» хором опьяненных радостью слушателей...

Были и еще встречи. Слово чести, были.

А может... Может, они мне все приснились и будут еще сниться всякий раз после того, как я открою книгу Льва Квитко?

Ну что ж — пускай это будут сны.

Про такого человека и сны можно рассказывать, лишь бы они были добрым людям на благо.

Перевел с украинского М. Петровский

Корней Чуковский. Квитко



азалось, он непременно доживет до ста лет. Было даже странно представить себе, что он может когда-нибудь хоть на один день заболеть.

Коренастый, молодежавый силач, с крепкими зубами и плечами, он, как и все очень здоровые люди, был всегда спокоен, медлителен, чуть-чуть неуклюж.

Вообще в его характере не было никакой суетливости, расторопности, бойкости, и за всю свою жизнь я не встречал человека, который был бы в такой полной гармонии с самим собою, с природой, с людьми. От него так и веяло счастьем.

И в творчестве был он счастливее: все, к чему он хоть на миг прикасался, становилось золотом поэзии. Увидит елку и пишет о елке, увидит кузницу и пишет о кузнице, увидит радугу и пишет о радуге — поистине ему писалось, как дышалось: непринужденно, без малейшей натуги.

Любая заурядная вещь, стоило ей попасться ему на глаза, могла сделаться для него сюжетом стихов:

«Этот листок, что упал и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи».

Вообще в те далекие годы, когда я познакомился с ним, он прямо-таки не умел быть несчастным: необыкновенно уютен и благостен был для него окружающий мир. Недаром целый цикл стихов носил у него название «Здравствуйте!». Здесь была его единственная тема, безмерное, самозабвенное восхищение миром, пламенное спасибо природе за то, что она существует. Кажется, не было такой яблони, такой ласточки, такого облака, такого цветка, которым он не сказал бы спасибо.

И кто, кроме Квитко, мог сказать о колодце:

«Колодец *рад* ¹, когда берут в нем воду!»

Или:

«Опушу ведерко,
А вода в колодце —
Как пойдет кругами,
Точно *улыбнется*».

Его любимейшее слово: хорошо:

«*Хорошо* нам под дождем!
.
.
.
Хорошо во мхах зеленых!»

¹ Курсив здесь и дальше К. Чуковского,

И второе любимое слово поэта: чудо. Не было, кажется, такого мгновенья, когда бы он не чувствовал чудесности всего существующего. И самое большое чудо — вечная воля природы к новым и новым зачатиям, к новым и новым рождениям:

«Что это — сказка, песня
Или *чудесный сон*?
Арбуз тяжеловесный
Из семечка рожден»,

И о крохотном побеге морковки:

«Но разве не *чудо*,
Что чубик такой
Пробился, прорвался
Сквозь слой земляной?

Он землю буравил,
Он лез напролом,
Он к светлому солнцу
Пробрался с трудом».

Да и самый этот «слой земляной» — чудо:

«И я стою в молчании глубоком
И думаю: «Какое это *чудо* —
Земля животворящая моя!»

И можно ли удивляться тому, что у Квитко есть ода во славу картофеля; дифирамб, прославляющий тыква; гимн в честь молодого цветка:

«Откуда ты, белый, как снег,
Нежданный, как *чудо*?».

Эта очарованность окружающим миром и сделала его детским писателем: от имени ребенка, под личиной ребенка, устами пятилетних, шестилетних, семилетних детей ему было легче всего излить свое собственное, быющее через край жизнелюбие, свою собственную простосердечную веру, что жизнь создана для нескончаемой радости.

Как-то в тридцатых годах, гуляя с ним по далеким окраинам Киева, мы неожиданно попали под дождь и увидели широкую лужу, к которой отовсюду сбегались мальчишки, словно то была не лужа, а лакомство. Они так ретиво зашлепали в луже босыми ногами, как будто нарочно старались измазаться до самых ушей.

Квитко глядел на них с завистью.

— Каждый ребенок, — сказал он, — считает, что лужи созданы специально для его удовольствия.

И я подумал, что, в сущности, он говорит о себе.

С чисто детским восторгом он славит горошинки, которые нечаянно просыпались на пол:

«Горох,
Рассыпавшись, приплясывает ловко,
И это все куда как мило мне!»

Иной литератор, когда пишет стихи для детей, пытается реставрировать тускнеющей памятью свои давно забытые детские чувства. Льву Квитко

такая реставрация была не нужна: между ним и его детством не существовало преграды времен. Он по прихоти в любую минуту мог превратиться в малыша-мальчугана, охваченного мальчишеским безоглядным азартом и счастьем:

«Мчатся,
мчатся,
мчатся,
мчатся,
С буйным ветром повстречаться,
Чтоб звенело,
Чтоб несло,
Чтобы щеки обожгло!
Раскатится спозаранок
И на санках и без санок,
На поленьях,
На бревне,
На коленях,
На спине,
Лишь бы вниз, лишь бы в снег,
Лишь бы съехать раньше всех!»

(Перевод Т. Спендиаровой)

Вместо того, чтобы по-взрослому описывать катание мальчишек со снежной горы, Квитко предпочел превратиться в мальчишку и мчатся с горы вместе с ним. Отсюда живая динамика этих стихов. Так реалистичен и жизненно верен ребячьей натуре воскрешаемый им образ малыша, что в этом образе несколько не затушевана, а напротив, очень рельефно представлена такая прискорбная для педагогов особенность мальчишеской психики, как похвальба, самохвальство, бравада. В его стихотворении «На санках» (вернее сказать: «На салазках») мальчишка хвастливо кричит о себе:

«Для меня пустое,
Самое простое —
Прокатиться стоя:
Видите — качу».

Другим художественным методом при создании детских стихов Квитко не пользовался почти никогда: метод заключался в наиболее полном слиянии лирического героя и автора. Когда мы читаем у Квитко: «я хватаю санки», или: «я умею, я умею делать дудочки», или: «шел я по ягоды,— шел, ну и шел», или: «жучка я поймал, посадил в коробок»,— мы знаем: хотя все это у него произносит ребенок, но мог бы сказать и он сам, сорокалетний поэт, ибо ему не нужно было искусственно воскрешать в себе детство, оно жило в нем всегда в его лиричности, в его темпераменте.

Порою его детская доверчивость к миру казалась мне даже чрезмерной. Например, в его знаменитом стихотворении «Кисанька» кошка была до того благодущна, что не только не ловила мышей, но питала к ним самые нежные чувства и чуть ли не каждую ночь плясала и любезничала с ними:

«Ее на кухне с мышками
Застала мама раз.

Она резвилась, прыгала,
Каталась кувырком,

И с нею мышки весело
Кружились рядком».

В той счастливой, уютной вселенной, которую с таким добросердечным талантом создавал до поры до времени Квитко, не было места свирепым котам, безжалостно терзающим птиц и мышей:

«Сказала мама кисаньке:
— Лови у нас мышей.—
Не слушается кисанька:
Зачем мышата ей?»

Если не мышей, то хоть воробышков могла бы пугать и преследовать кошка по законам своего естества. Но только не на страницах у Квитко. Ему куда более по сердцу тот редкостный — один из тысячи! — случай, когда воробышки набросились на кошку — и победили ее:

«Она от них, они за ней,
Кричат: «Ага, попалась!»

В этой ласковой и доброй вселенной, где кошки дружески резвятся с мышами и родеют при встрече с воробышками, было до того хорошо («тюрль-тюрль, хорошо!»), что даже рыбки и те весело смеялись от радости, словно не существовало ни рыболовных крючков, ни сетей:

«Смеется, вьется рыбка золотая».

Стихотворение так и было озаглавлено: «Рыбка смеется».

Иногда Квитко и сам сознавал, что его детская влюбленность в окружающий мир слишком уж далеко уводит его от мучительной и жестокой действительности, и пытался обуздать свои дифирамбы и оды добродушной иронией над ними, представить их в юмористическом виде.

Этого он блестяще достиг в едкой, чисто гейневской концовке своего стихотворения о сливе, которое, бесспорно, является одной из его величайших литературных удач[...].

Конечно, нельзя забывать, что Квитко пришел к своему оптимизму, к поэтическому восхищению миром через слезы и боль, после нищенского, безотрадного детства и мучительно трудной, неприкаянной юности.

Среди его писем ко мне сохранились пожелтевшие странички, где он рассказывает об этих тяжелых годах своей жизни.

«Отец и мать,— пишет он,— умерли рано от туберкулеза, равно как и все мои пятеро сестер и братьев.

С десяти лет я работал для своего пропитания. О школе не смел и мечтать. Школу я видел только снаружи.

Нужда, тяжелая работа у разных хозяев в разных городах и местечках была моей школой.

Я рос на хлебах у голода — на маслобойном заводе, у кожевника, у маляра, у заготовщика, в окружении таких же, как я, изнуренных и бездомных мальчишек».

«На хлебах у голода» прошла вся его горькая молодость. Так что у нас есть полное право сказать, что он выстрадал свой оптимизм, который,

конечно, не имел ничего общего с оптимизмом Панглоса, нарочно закрывавшего глаза на «свинцовые мерзости» жизни и готового ликовать даже там, где нужно бы вопить от негодования и злобы. Таких негодующих воплей много слышится в ранних, еще незрелых дореволюционных произведениях Квитко, которые он сочинял непрерывно чуть не с пятнадцати лет.

Свое письмо, о котором я сейчас говорил, Квитко закончил словами:

«Революция освободила меня, как и миллионы других».

Об этом он повторял в своих стихах не раз:

«Мы детства не видели в детские годы,
По свету бродили мы, дети невзгоды,

.....

А нынче мы слышим бесценное слово:

Придите, чье детство украли враги,

Кто был обездолен, забыт, обворован,

С лихою вам жизнь возвращает долги».

Все, что есть в мире прекрасного, гуманного, светлого, видел он в советском быту и поэтически воспел этот быт в таких улыбочатых и нежных стихах, как «Колхозные ясли», «Анна-Ванна бригадир», «Урожай», «Днепровская песня» и во многих других. Все знавшие Квитко согласятся со мною, что здесь был главный источник его жизнерадостности.

Меня сблизило с ним несчастье: я приехал из Питера в Киев и слег в уютной гостинице. На дальнейших страницах я попытаюсь рассказать о той помощи, какую оказал мне во время болезни А. С. Макаренко вместе со своими воспитанниками. Когда же я стал поправляться, пришел ко мне Квитко и принял так настойчиво требовать, чтобы я переехал к нему, что в конце концов я принял его приглашение и был окружен самой деликатной заботой его гостеприимной семьи. Семья была спаянная: нельзя было и представить себе, чтобы в ней могли хоть на минуту возникнуть какие-нибудь распри и свары. Вообще его семейное счастье было безоблачно: он крепко дружил и с женою и с дочерью.

Никогда не забуду я тех арбузов и дынь, которые приносила к обеду и к ужину чернобровая Катерина, украинка, работница Квиток, полюбившая эту семью, как родную.

Живя у Квитко я с большим интересом присматривался к его обиходу. Оказалось, что стихи сочиняются им не за рабочим столом, а всюду, где придется, на ходу. Ходит из комнаты в комнату, ничего не видя и не слыша, и целыми часами бормочет какие-то невнятные слова. Или бросится в кресло, обхватит колени руками и, мерно раскачиваясь, продолжает свою безостановочную неслышную речь. Вдохновение едва ли когда-нибудь покидало его, и так богат был его песенный дар, что нередко выдавались недели, когда он создавал и восемь и десять стихотворений подряд. Было похоже, что он мог бы творить непрерывно. Но если под рукой у него не случалось карандаша и бумаги, он тотчас же забывал все, что создано им в течение дня, и был вынужден снова приниматься за творчество. В этом была странная особенность его писательской психики: он не помнил ни одной своей вещи и не мог прочитать по памяти даже те свои стихотворения, которые многими миллионами его малолетних читателей давно уже были затвержены наизусть.

И хотя он считал потерянным всякий день, когда ему не приводилось творить, он (по словам его жены и помощницы Берты Самойловны) «лег-

ко и охотно отвлекался от творчества» — вероятно всего потому, что творческий душевный подъем не был для него какой-то особенной редкостью, а давно уже стал ежедневной привычкой, так что Квитко во всякое время мог пробуждать его по собственной воле.

Квитко был молчалив от природы, но умел так внимательно и сочувственно слушать других, что всегда создавалось впечатление, будто он самый энергичный участник беседы.

Его краткие, но очень эмоциональные реплики подстегивали общий разговор. Помню, приходил к нам в это время Борис Житков, обычно тоже расположенный к молчанию. Но в присутствии Квитко он становился безудержно говорлив и общителен. Однажды мы просидели с Житковым у Квитко, не вставая из-за стола, от обеда до ужина, и разговор не прекращался ни на миг. Порою (очень редко!) после наших усиленных просьб Квитко доставал из кармана тетрадку и читал свои последние стихи — сначала невнятно, застенчиво, а потом увлекался музыкальным напевом и читал с большим одушевлением, лелея каждую аллитерацию, каждую рифму, каждый ритмический ход.

«Я из деревни недавно вернулся.
Сколько там самых чудесных чудес».

Он и не предвидел тогда, что близится время, когда его простосердечное доверие к людям, к природе, к жизни будет оскорблено и поругано.

Можно было подумать, что от этого милого мира, от наивно восторженной веры у Квитко уже ничего не осталось после того, как он столкнулся с фашистскими зверствами. Он так и сказал в своем «Слове о детях»:

«Весь мир был щедр и говорил мне: верь!
Увы, не то теперь»,—

и то же самое в стихотворении «Лес»:

«Я прежним никогда теперь не буду».

Но чувство разочарования и скорби не могло навсегда завладеть его мажорной, жизнелюбивой душой.

Война кончилась победой добра над бесчеловечьем и злобой, и вот в том же стихотворении «Лес» послышалось прежде, квитковское:

«Но я тебе, как празднику, как *чуду*,
Сердечно рад!»

Квитко, уже седой, постаревший, но по-прежнему ясноглазый и благостный, снова вернулся к своим излюбленным темам и в новых стихах стал по-прежнему славить и весенние ливни, и утренние щебеты птиц, и молодого жука, прогудевшего над садом, как мотор самолета, и муравья, который тащит соломинку:

«Гляди, соломинка идет,
Эй, встречный, берегись!»

В эти послевоенные годы мы часто встречались. У него был талант бескорыстной поэтической дружбы. Его всегда окружала крепко сплоченная когорта друзей, и я с гордостью вспоминаю, что в эту когорту он включил и меня.

ском переводе Елены Благиной, в котором родная стихия поэзии Квитко ощущается особенно сильно:

«Бубенцы звенят-играют
На первой пролетке,
На первой пролетке.
На пролетке свахи-пяхи,
Невеста в середке,
Невеста в середке...
 Ой, ой, песня льется,
 А невесте не поется!
 Ой!
Бубенцы звенят-играют
На второй пролетке,
На второй пролетке.
На пролетке сваты-хваты,
А жених в середке,
А жених в середке...
 Ой, ой, песня льется,
 Что ж невесте не поется?
 Ой!
Бубенцы звенят-играют
На третьей пролетке,
На третьей пролетке.
На пролетке дяди-тетки,
А скрипач в середке,
А скрипач в середке...
 Ой, ой, все запело,
 Что ж невеста онемела?
 Ой!
Только выехали в поле,
Как навстречу конный,
Как навстречу конный.
Ой, как вспыхнула невеста,
Что костер зажженный,
Что костер зажженный.
 Ой, ой, плохо дело!
 Все молчат — она запела!
 Ой!
Кони мои, кони мои,
Ступайте до дому!
Ступайте до дому!..
Горе тебе, горе тебе,
Парню молодому!
Парню молодому!
 Ой, ой, смех не к месту,
 Потерял жених невесту...
 Ой!»

Не знаю, почему Елена Благина вырастает на десять голов, едва только соприкасается с произведениями Квитко. Именно тогда у нее появляется и большое дыхание, и разнообразие душевных тональностей, и тонкое чувство стиля, безукоризненный вкус, Великолепно перевела она и стихотво-

рение «Однажды», в котором я чувствую самую суть, самую квинтэссенцию всей поэзии Квитко. Это стихотворение о том, как однажды осенью он выкопал в саду две маленькие елки, чтобы тотчас же посадить их на новом месте, и вспомнил о них только зимою.

«И вдруг во мне похолодело сердце.
Я вспомнил, что про елочки забыл...

Пришла весна. Я вышел в сад пахучий
И первым делом бросился к сирени.
А в стороне — да что ж это такое?! —
Две елочки, два кротких медвежонка,
Игольчатые ветки растопыря,
Стоят, купаясь в солнечном деньке.
Они меня, наверно, долго ждали,
Их дождики охлестывали злые,
Ссенний ветер маял и студил.
Тогда они к земле припали близко
И крепко к ней корнями присосались
В неистребимой жажде бытия.

И я стою в молчании глубоком
И думаю: «Какое это чудо —
Земля животворящая моя!»

...А сколько душевной теплоты в его письмах!

Когда в печати появилась одна моя очень неудачная повесть, Квитко, живя в другом городе, чутко угадал, что ее успех угнетает меня, и прислал мне большое письмо, подробно на многих страницах доказывая, что она значительно лучше, чем я о ней думаю, и даже, пожалуй, совсем хороша. И хотя я понимал, что его похвалы продиктованы дружеским состраданием ко мне, все же под влиянием его ласковых слов печаль моя малопомалу рассеялась.

Вообще он был очень зорек к горестям и тревогам друзей. Никогда не забуду, какое участие он принял во мне, когда узнал, что под Москвой на фронте без вести пропал мой сын.

«Дорогой Корней Иванович, я лично знаю много случаев, когда считавшиеся пропавшими находились, из плена вырывались, пробирались через фронт. Только на днях сын моего харьковского приятеля после шестимесячного исчезновения нашелся, бежал из плена. Так что не горюйте, а ждите».

Почти все его письма такие.

Едва только во время войны он встал во главе еврейского Антифашистского комитета, он тотчас же вспомнил об одном нашем друге-украинце, случайно попавшем в беду.

«Может быть, я смогу там (в комитете. — К. Ч.) что-нибудь сделать для Э. Как вы думаете, может быть, надо об этом поговорить с Лозовским? Ведь речь идет о замечательном человеке и прекрасном работнике, нужном и преданном. Если вы что-нибудь придумаете насчет этого и я могу быть полезен, сообщите, дорогой...»

Таких писем я мог бы привести куда больше, но и этих, надеюсь, достаточно, чтобы читателю стало понятно, из какого большого и щедрого сердца рождались его светлые стихи.

Вера Смирнова.

Дорогие друзья



1926 году я впервые услышала стихи Квитко и познакомилась с самим поэтом — в Киеве, где тогда жила. Помню очень хорошо свое первое впечатление, и характерно, что оно не изменилось с тех пор, как не изменился и он сам, хотя мы знали друг друга более двадцати лет.

Среднего роста, плотный, широкоплечий, он поразил меня какой-то спокойной силой, которой веяло от него. То, что мы называем «чувством собственного достоинства», было присуще ему в высшей степени. Он был нетороплив в движениях и немногословен, как крестьянин, и, как ребенок, избыточно радостен, словно до краев налит светлым ощущением жизни. Он любил ходить пешком, помню, в первый день знакомства мы обошли с ним пол-Киева. Был праздничный весенний вечер, на площади перед Софийским собором шумело-разливалось комсомольское гулянье. Задорные частушки, пронзительный визг «петрушек», размазанные маски, смех, песни, молодые лица... Лев Моисеевич ходил в толпе, как свой, не спеша и так легко и ловко, как юноша, и рассказывал мне о старых украинских ярмарках и о своем бродяжном детстве.

Он был удивительно ласков с людьми, а когда приходилось ему быть строгим (особенно с детьми или с женщинами), ему было как-то не по себе, он смущался и сердился сам на себя за это смущение. Он всегда верно чувствовал людей — хороших и плохих; никакими силами не мог расположить его к себе человек фальшивый, в котором он почувствовал неискренность; но ему приятнее было думать о людях хорошо. Он любил мирить поссорившихся, улаживать семейные неурядицы, заставляя людей выявлять свои лучшие стороны и видеть их у других. Он уважал большие, трудовые, дружные семьи; ему нравилось, когда за стол в каком-нибудь доме садилось много родных — старых и малых.

И в литературной семье он хотел дружбы. Он не любил резких и бурных литературных споров, часто бесплодных по существу и обидных по форме. Он требовал справедливости в литературной борьбе. Я помню, как хорошо он сказал однажды: «Надо, чтобы около детской литературы было кристально чисто».

Когда же ему самому случалось сталкиваться с такими явлениями литературной жизни, с которыми нельзя было не бороться, он умел хорошо защищаться от них своим настоящим оружием — стихами. Он писал эпиграммы, басни, маленькие памфлеты, в которых высмеивал — иногда очень зло — своих литературных недругов. А написав, тотчас успокаивался, иногда даже не напечатав стихотворения, словно сразу освобождался от того, что мешало жить.

Мне всегда казалось, что известность, слава в глазах Квитко не имели того значения, как для многих других писателей. Вероятно, его радовало признание таланта, было приятно, когда его хвалили. Но я хорошо запом-

нила такой случай. Было это в 1936 году, ЦК комсомола устроил конференцию по детской литературе. На этой конференции я впервые выступила «как начинающий критик»: я сказала, что меня удивляет, что мы так много говорим о произведениях, о которых, в сущности, не стоит говорить, которые лежат «вне литературы». А почему бы нам — говорила я — не проанализировать всерьез то, что у нас есть хорошего, то, на чем можно поучиться? Почему не попытаться разобраться, например, работу Чуковского, Маршак, Барто и других? И я попыталась, довольно смело по тем временам, охарактеризовать работу наших «корифеев» детской поэзии. (Так как мое выступление получило резкий отпор со стороны председателя и не попало в стенографический отчет, то я рассказываю о нем по памяти, хотя основные высказывания помню точно.)

Я говорила примерно следующее: Чуковский в своих стихах хочет позабавить ребенка и делает это как эксцентрик, как «скоморох»; Маршак — «игрушечных дел мастер», очень хорошо показывает вещи и игру с ними; Барто — фельетонист-сатирик, высмеивает недостатки наших школьников. А Квитко — настоящий лирик, который умеет по-детски воспринимать мир, который в каждом стихотворении открывает ребенку мир, — и как поэт, он сумел доказать, что лирика доступна самым маленьким детям и нужна им.

Моя речь (я до сих пор не знаю — почему) вызвала гул в зале, а председатель после перерыва сказал, что «нам начинающих критиков не надо», — и когда я уходила с конференции, вокруг меня образовался некий «вакуум».

Но через несколько дней я получила два письма: из Ленинграда от Корнея Ивановича Чуковского и из Москвы от Квитко. Корней Иванович писал, что, хотя он во многом со мной не согласен, его «тронула моя горячая, взволнованная речь», и он желает мне «продолжать в том же духе». Квитко же написал мне, что даже если я по существу и права, не нужно было так выделять его, ставить рядом с такими высокообразованными и культурными людьми, как Чуковский и Маршак. Очень мягко он упрекал меня в преувеличении его таланта и почему-то беспокоился, что это кого-то может обидеть...

Признаюсь, я тогда почему-то рассердилась на эти оба письма. Корнею Ивановичу я ответила довольно дерзко, что «если он со мной не согласен, то как могла его тронуть моя горячая, взволнованная речь?»... А Льву Моисеевичу написала, что это «его вина, что его стихи больше подходят до моего (и до детского) сердца, а я привыкла говорить правду».

Встретившись потом со мной, он смеялся, что «хотя я всю вину свалила на него, но, право, он не так уж виноват». Во всяком случае, я знаю, что он доверял моему мнению о своих стихах и вообще моему хорошему отношению к нему. Может быть потому, что я узнала его раньше других москвичей, что он бывал у нас в Киеве, что мы дружили с его друзьями — еврейскими писателями, которые и познакомили меня с его первой детской книжкой «Лиделах» («Песни»), он всегда держался со мной как-то проще и откровенней.

Но однажды он так рассердился на меня, что я даже и представить себе не могла его таким разгневанным.

Еще в Киеве я крепко рассорилась с одним нашим общим другом, он перестал бывать у нас, потом я уехала в Москву и не видела его несколько лет. И вдруг получаю от него письмо: он в Москве, ему трудно, он просит увидеться. Я отказалась от этого свидания. А потом, когда Квитко приехал к нам на дачу, рассказала ему про письмо и про свой отказ. Лев Моисеевич даже остановился и посмотрел мне в глаза удивленно: «Я не думал, что вы такая», — сказал он. — Женщина всегда должна быть добрей женщины... Человеку сейчас так плохо, так трудно, вы были ему нужны —

и не захотели помочь,— как это жестоко!» Он молчал всю дорогу до станции, куда я его провожала, был хмур, мрачен, а прощаясь, сказал: «Надо больше думать о других». Я возразила горячо: «Вы *меня* в этом упрекаете?» Он сказал мягко: «Надо забывать себя»...

Несмотря на внешнюю «солидность» и серьезность, в нем до последних лет жизни много было детского. В детстве совершенно лишенный игрушек, он иной раз с увлечением забавлялся, играя с дочерью, и веселился, когда ему самому дарили какие-нибудь детские игрушки.

У него не было строгого режима работы, как у других писателей. Он мог остановиться на полустрочке, потому что вдруг в пасмурную погоду проглянуло солнце, и спешил выйти из дома — «на солнышко». Часто он охотно откладывал карандаш и бумагу, чтобы принять пришедшего к нему со своим горем или своей радостью человека. Он очень любил и умел слушать людей, особенно пожилых, прошедших трудную жизнь.

Воображение, этот мощный двигатель поэзии, у Квитко было необычайно сильным и гибким: стоило только дать ему толчок — оно начинало работать; какое-нибудь поразившее поэта явление жизни, любое событие, как вода мельницу, приводило его в движение.

Однажды мне довелось быть свидетельницей, как фантазия поэта забила ключом, рождая видения и образы.

Я работала тогда в Центральном детском театре заведующей литературной частью. Мне очень хотелось, чтобы Лев Моисеевич попробовал написать для театра сказку. Он отнекивался долго, говорил, что не знает театра, наконец согласился — при условии, что я буду «участвовать» в работе. Я не представляла себе, как это может быть, но обещала сделать все, что хочет, лишь бы он написал нам сказку.

Мы условились, и я пришла к нему однажды утром. Мы сидели в его комнате, разговаривали о театре, он был явно недоволен моей настойчивостью, говорил с веселой укоризной:

— Такой хороший день, солнышко, лучше бы нам пойти погулять, а вы сидите в душной комнате и хотите от меня того, что я не умею.

Он смущался, крутил в руках куколку своей дочери. Потом вдруг взглянул на меня загоревшимися глазами и сказал:

— Ну вот, послушайте, что мне пришло в голову сейчас... годится это для театра?

И, поглубже угнездившись в кресле, держа в руках игрушку, не глядя на меня, он стал рассказывать:

— ...Темная ночь — не видно ни зги. Начинает падать снег, сначала маленькие редкие снежинки, потом все больше, все быстрее, целый поток, кружатся крупные хлопья... И вдруг видно, что по снежной дорожке с неба катятся санки, на них сидят разные лесные зверушки: белки, зайцы, лисички, кажется, даже медвежата. Санки описывают полукруг на сцене, и смутно, сквозь снег, мы видим, что они объезжают маленький домик в лесу и останавливаются у дверей. Вдруг посредине сцены загораются ярко три огонька — темнота рассеивается: перед нами низкая, с закопченным потолком, просторная комната. На столе, стоящем посредине, в большом бронзовом старом подсвечнике горят три толстые свечи. На скамейке у стола, съезжившись от холода и положив голову на руки, спит мальчик лет семи. Сбоку у большого остывшего очага дремлет белый барашек. За стеной метель, хлопья снега ударяют в окно. Стук в дверь.

Барашек вскакивает, бежит к двери, слушает, потом подбегает к мальчику и трется головой о его руку. Мальчик просыпается, потягивается, гладит барашка:

«Ну, что ты, что ты испугался, дурачок! Это гости к нам. Входите, эй, кто там?!»

Вдруг утихает метель за окном. Тишина. И тогда у двери звенит во всю мочь серебряный колокольчик...

Лев Моисеевич засмеялся и посмотрел на меня:

— Так можно начать? Сказка начинается?

Я даже не могла сразу ничего сказать — я так ясно представила себе все, что он говорил: конечно, это рождалась сказка у меня на глазах. Комната словно наполнилась ее очарованием.

— Я все записала... — сказала я тихо. — А дальше?

— А дальше я еще сам не знаю... — серьезно сказал Лев Моисеевич. — Потом видно будет, что дальше...

Он встал, открыл дверь в другую комнату, позвал жену — хотел, чтобы я пообедала с ними. Но мне было не до еды, и я ушла, унеся с собой в тетрадке и в голове начало сказки.

К сожалению, продолжение ее не появилось. Лев Моисеевич должен был куда-то уехать, потом был занят другим, потом я ушла из театра, а он не хотел «без меня» продолжать. Так сказка и заглохла. Но начало ее я помню так отчетливо, как будто уже видела на сцене. И я не могу не рассказать об этом, потому что это дает представление о том, как работал Квитко, как богата и непосредственна была его поэтическая фантазия.

Как всякий самоучка, Квитко очень ценил людей, получивших законченное образование. В присутствии людей, которые казались ему «учеными», особенно же если они не нравились ему, он как-то сникал, становился неразговорчивым, чувствовал себя связанным. Он не любил выступать на дискуссиях, стеснялся вступать в теоретические споры. Но он безошибочно и твердо знал, что хорошо, что плохо, где правда, где неправда, и сбить его с этой «точной позиции» было невозможно. Иногда на конференции по вопросам детской литературы он вместо речи просто читал свои стихи, и это было убедительнее и сильнее многих рассуждений.

В литературной среде (я говорю о детских писателях — о том, что хорошо знаю) Квитко любили. Талант его был как-то сразу, безоговорочно признан всеми.

Он был уже известным на Украине еврейским писателем, когда в 1933 году в Харькове была созвана Наркомпросом конференция по детской литературе, на которой группа русских детских писателей из Москвы и Ленинграда — С. Маршак, К. Чуковский, А. Барто и другие — приветствовала Квитко как одного из крупнейших мастеров новой советской поэзии для детей. Лучшие наши поэты-переводчики: С. Маршак, С. Михалков, М. Светлов, Е. Благинина — стали переводить стихи Квитко на русский язык.

Книги еврейского поэта стали желанными гостями у детей всей нашей обширной родины.

В эти годы он много ездил по родной стране, по колхозам на Херсонщине, был на открытии Турксиба, в Казахстане, в Арктике. Он любил родную землю и по-новому строящуюся жизнь на ней, он хотел все видеть собственными глазами. «У меня ведь нет образования, и мне очень много надо увидеть самому», — говорил он. Но дело было, конечно, не в недостатке образования — душа поэта жаждала впечатлений жизни, которую он любил и знал, которая всегда питала его поэзию.

Сам плоть от плоти народа, он любил простых людей — рабочих, ремесленников, жителей деревни. Как он умел их слушать, как радовался

их успехам, горевал их горестями! Как он умел восхищаться хорошей работой всякого человека — от столяра до художника!

Удивительный знаток сердца ребенка, тончайших движений детской души, создавший в своей лирике обаятельный образ маленького «открывателя мира», Квитко, однако, не любил шумного общения с детьми — не умел выступать в детских садах, в школах, в пионерских лагерях, владеть большой детской аудиторией, как многие наши детские писатели. Но надо было видеть, как он тихонько, незаметно, скосив внимательный глаз, наблюдал в сторонке игру детей, их поведение, с каким наслаждением прислушивался к их разговорам, как умел чувствовать и понимать их!

Во время войны и в послевоенные годы мы встречались редко: сначала эвакуация нас развела в разные стороны, потом трудности послевоенной жизни. Последний раз я видела его на второй или на третий день Нового года, когда он собрал многих детских писателей у себя дома, и мы праздновали его шестидесятилетие. Во главе стола сидел — я помню — замечательный художник Сергей Герасимов и молоденькая, тоже обещавшая быть талантливой художницей дочь Льва Моисеевича, Йетта. И так было просто и тепло, и никто не ждал ничего плохого в новом году...

Тридцать лет работал Лев Квитко в советской литературе. За эти годы его книги на еврейском, русском, украинском и на многих других языках народов СССР разошлись по всей Советской стране. Благодаря подлинно поэтическим переводам стихи Квитко стали достоянием русской поэзии.

Глубокое и сильное дарование Л. Квитко и его поэтическое наследство — радость и гордость всей нашей советской литературы.

Павло Тычина. Слово о друге



е знал я раньше, что именно сегодня должен состояться вечер, посвященный памяти Льва Моисеевича Квитко¹, а потому разрешите мне сказать вам о нем только то, что смог я — за полчаса, за три четверти часа — вспомнить и написать о большом поэте нашем советском — кратенько, в отрывочках.

Дорогой Лев Моисеевич, забываемый наш друг, бесценный творец, немеркнувшей славой осиянный, нежнейший певец детской души, гордость литературы советской!

Я бесконечно счастлив, что знал его, что встречался с ним, что с ним много о чем советовался и беседовал — в особенности о литературе. Лев Моисеевич пленял меня своим зорким, никогда не ослабевающим вниманием к людям труда, к новым, к ежедневно рождающимся замечательным явлениям жизни советской.

Прежде всего: Лев Моисеевич своей творческой работой всегда готов был ответить на призывы Коммунистической партии еще более совершенствовать свое умение литератора для отображения достижений советских людей; внимательно следил он за тем, что говорили о детской литературе Надежда Константиновна Крупская и Алексей Максимович Горький.

— А знаете, Лев Моисеевич, — однажды сказал я ему, когда мы вместе были в Гаграх над морем, — а ведь Сулейман Стальский, пишут в газетах, болел тяжело. Может быть, телеграмму послать ему?

— Да, да, — с жаром поддержал меня он, — надо сейчас же послать телеграмму, непременно надо послать, и сегодня же!

И еще об одном случае его горячего сочувствия к работе товарища-литератора хочу я вспомнить. Когда я, возвратившись из Москвы в Харьков после I Всесоюзного съезда писателей, прочел Льву Моисеевичу только что написанную мной статью о социалистическом наследии и революционной действительности (точнее, о символических встречах моих на названном съезде с Фирдоуси, Менделеевым и Коцюбинским, которые тогда были как бы «юбилярами»), Лев Моисеевич спросил меня:

— А в какую же газету вы даете написанную вами статью? Как! Ни в какую? — удивился он моему молчаливому замешательству. — Да ее надо в «Известия» дать, только в «Известия»! Хотите, я сам сейчас позвоню в харьковский корпункт «Известий»!

Он позвонил. Пришли ко мне из корпункта. Статья была напечатана.

¹ В 1965 году в Центральном Доме литераторов (Москва) состоялся вечер памяти Льва Квитко. Не имея возможности лично присутствовать, П. Г. Тычина прислал свое «Слово о друге», которое было прочитано на вечере. «Слово о друге» печатается по рукописи, хранящейся в архиве П. Г. Тычины (Киев).

Я снова кочу возвратиться в своих воспоминаниях к нашему совместному пребыванию в Гаграх.

На пляже мы. Слышен ритмический всплеск волн морских и беспорядочный говор пляжников. Одни из них, приподнявшись, переключаются между собой, другие с бурным, даже диким восторгом играют в карты, третьи бегают по пляжу, смеются, кувыркаются. Но куда это, повернувшись боком к морю, так внимательно смотрит Лев Моисеевич? А! Я вижу: там, где пляж отходит от моря под нависшую кручу, старая женщина в темноту буром, выцветшем от солнца цельнокроеном платье старается взвалить себе на спину большую связку хвороста вместе с корневищами и корягами. Ей помогает мальчик лет шести-семи. Но связка падает из рук бедной женщины на пестрый, хрустящий от легчайшего прикосновения ноги гравий...

— Бежим! — крикнул мне Лев Моисеевич и сразу же, опередив меня, подбежал к женщине и помог ей взвалить на плечи связку хвороста. — А как тебя звать, а? — ласково спросил Лев Моисеевич мальчика.

Но тот, став под руку матери, молчал и только смотрел на нас черными круглыми глазами...

— Спасибо ж вам большое, — сказала женщина Льву Моисеевичу, — еще раз спасибо! — и пошла под тяжелой ношей по вдавливающемуся под ногами гравию.

Кто была эта женщина — абхазка, армянка, чеченка?.. Лев Моисеевич долго смотрел вслед ей и потом, когда мы шли на свои места над морем, сказал с сожалением:

— Ах, как мне хотелось поговорить еще и с мальчиком!.. — И после паузы еще раз, но только уже переставив слова в обратном порядке, повторил: — С мальчиком поговорить!

Да! Лев Моисеевич прекрасным обладал умением разговаривать с детьми. В этом отношении он превосходил всех нас — как писателей среднего поколения, так и писателей поколения старшего.

В один из дней на том же пляже в Гаграх я увидел Льва Моисеевича стоящим около маленькой речушки, что из-под моста неожиданно вытекала светлой струей и перед самым впадением в море дельтой разделялась на несколько узеньких рукавов, до того узеньких, что их можно бы перешагнуть человеку. Хочется сказать при этом следующее: я не могу сейчас с точностью сказать, когда именно написал Лев Моисеевич свое знаменитое стихотворение «Лужица» (перед лужицей дети стали в тупик: ведь как пройти им дальше — они не могут понять, ибо лужица оказалась им целым озером!), но, во всяком случае, мне, наблюдающему, как наш прославленный поэт долго и молча стоял над одним из рукавов дельты речушки, со всей отчетливостью открылась самая главная черта его творчества — смотреть на явления жизни и природы, перевоплотившись в ребенка.

Лев Моисеевич замечательным обладал также и социальным чутьем. Когда он писал свое известное всем стихотворение «Поросятка», тогда, конечно, не было еще Ярослава Чижга, но, однако же, были уже ударники, выдающиеся специалисты своего дела — свинари и свинарки. И Лев Моисеевич верно отобразил их благородный труд в своих стихотворениях. И — главное — отобразил в такой приемлемой для детского восприятия форме, как редко кто умел это делать из поэтов его поколения (старшие поэты литературы для детей — такие, как Корней Иванович Чуковский и Самуил Яковлевич Маршак, — само собою разумеется, знали в совершенстве все секреты творческого проникновения в душу ребенка). Как много внес Лев Моисеевич Квитко в литературу для детей нового, своего, неповторимого квиткинского почерка, глубочайшего вдохновенного слова —

чистого, прозрачного, с радужными отражениями, словно капля росы при восходе солнца...

Тема моя о Льве Моисеевиче Квитко требует большого разворота, Я же, как сказал и вначале, пишу о нем отрывочно — да простят мне это слушатели на сегодняшнем вечере.

Заканчиваю тем, что о Льве Моисеевиче Квитко я много говорил — и говорил с волнением, — с Жаном-Ришаром Блоком в 1935 году, когда был у последнего на квартире в Париже, а также с Вайяном Кутюрье, который открывал школу имени Карла Маркса в районе Парижа Виль Жюиф. Корнейчук, Микитенко, Панч и автор этих строк присутствовали тогда на этом открытии, а после этого и на собеседовании о советской литературе...

С большой любовью переводил я и сейчас перевожу стихотворения Льва Моисеевича.

Радость меня в этом месяце посетила: я неожиданно нашел несколько писем Льва Моисеевича Квитко, адресованных мне.

Мне очень хочется со временем, не спеша, вернуться к этой теме, которой здесь я коснулся бегло.

Лев Озеров. Человеческая сказка



ом на Маросейке. Тихий двор. Поднявшись в лифте наверх, к Льву Моисеевичу Квитко, останавливаюсь на площадке перед дверью. Останавливаюсь и спрашиваю себя: «А не помешаю ли ему работать? Да он всегда работает!» Это придает мне смелости — звоню.

Вы еще не видите человека, но уже слышите его голос. Как определить этот голос?

Есть жесткие голоса, громышающие, как жечь или листовое железо. Есть, казалось бы, прямо противоположные им голоса — ласково-умильные, умиротворяющие, словно вам протянули леденец или рахат-лукум.

У Льва Моисеевича Квитко голос был улыбчивый, если можно так сказать — улыбающийся голос. Улыбчивый без умильности. Так внешне выражала себя душевная доброта. Она светилась в его глазах, когда вы, услышав голос этого человека, глядели на выражение его лица.

У Льва Толстого есть такое наблюдение: красивым надо считать то лицо, на котором хороша улыбка.

Я не видел ни у кого такой улыбки, как у Льва Моисеевича Квитко. Улыбка медлила. Улыбка не спешила сойти с его лица. Ей было тепло и удобно на этом лице. Она как бы старалась задержаться еще на минутку, еще на пять минуток.

В облике Льва Моисеевича было нечто такое непередаваемо душевное, плавное, певучее, и это «нечто» всего верней можно бы передать не словами, а музыкальной фразой. Длится мелодия, плывет музыка и вдруг останавливается — дышит.

На вас смотрит песня.

— Почему вы сегодня так грустны? — спрашивает Квитко.

Что бы я ни произнес в ответ, Лев Моисеевич приводил неопровержимые доказательства, что нет у меня основания для грусти.

— Читайте. Переводы потом. Сперва свое...

Находясь в писательском кабинете, ищу на стенах обычные в таких случаях фотографии с дарственными надписями, сувениры, бюсты на полочках и временных постаментов. Ничего подобного!

Всюду витки проволоки, стамески, молотки, гвозди. Вспоминаю, как в квартире Давида Гофштейна я удивился обилию часов и инструментов часовых дел мастера.

— Поэт должен знать, что находится внутри вещи, — говорит мне Квитко. — Ребенок разбирает куклу потому, что хочет дознаться, как закрываются и открываются ее глаза.

Он любил отменно сделанные вещи и инструменты, с помощью которых они сделаны. У него в кабинете были не только чернильница и бумага. Его рабочий стол имел на своем борту тиски. В отдельном шкафчике были у Квитко молотки, пилы, рубанки, паяльники и нескончаемые витки вся-

ческой проволоки. Он знал слесарную, плотницкую, электромонтажную работу. Любил москательные лавки не меньше, если не больше книжных. Он умел шить. Шил он, строгал, плотничал так же, как и писал,— левой рукой.

Руки он любил еще больше, чем инструмент. Вернее, инструмент он считал продолжением рук. Загорелые, крепкие, рабочие руки он называл «черным вкусным хлебом». Аппетитно сказано!

Задолго до талантливого и остроумного Джанни Родари он воспел ремесла и мастеров своего дела, дал детству возможность понюхать, как пахнут ремесла.

Цена руки и рукоделие (так у нас в старину называли ремесло), Квитко еще больше любил человеческую душу и человеческий разум, отдающие приказание рукам. Руки — продолжение мысли человеческой.

Все эти ощущения возникли у меня при чтении стихов поэта. Он мне внушал эти мысли. Мудрый поэт подобен ребенку: ему интересно, как сделана вещь, внутренности вещи. Ребенок разбивает или развинчивает игрушку. Поэт проникает в суть вещи.

«Часики новые
Есть у меня.
Крышку откроешь —
Под крышкой возня:
Зубцы и кружочки,
Как точки — гвоздочки,
И камни, как точки,
И все это блещет,
Сияет, трепещет.
И только черна
Пружинка одна,
На негритенка
Похожа она».

Я не только вижу часы, но и чувствую, как они движутся, слышу, как они тикают. Описав, вернее, показав часы и их механизм, Квитко в концовке стихотворения показывает и того, кто их держит в руках и рассматривает:

«Я к часикам
Не прикасался — ни-ни!
Не разбирал их,
Не протирал их...
Не потому ль еще
Ходят они?»

(«Часы». Перевод Е. Благиной)

Он не был худ, но двигался с изяществом подтянутого человека. Его внешний вид: плотная фигура, румянец, спокойная уверенность жестов,— все говорило о здоровье, физическом и нравственном. Кряжистость, основательность, собранность. Ни тени суетности, ни жалоб на загруженность делами; он, как я наблюдал, был приветлив, и никогда не приходилось слышать, чтобы по телефону или в лицо кому-либо было сказано им, что человек некстати позвонил или пришел в неурочный час. О, как может быть иначе — именно вас он ждал и все делается впору и кстати.

Грозное имя «Лев» смягчалось при виде этого мужественного и — одновременно — кроткого человека. Кротость его выражена была в фамилии

«Квитко», по-украински — цветок. Лев — цветок. Спрашивалось — на каком слогe ставить ударение? Вот я и сочинил:

«Писал и чисто и легко
От сил переизбытка, —
Как говорят одни: Квиткб.
И как другие: Квйтко».

Он не был способен на то, чтоб обидеть или огорчить человека. Скажем, я приношу ему перевод. Если этот перевод нравится, Лев Моисеевич ликует: «Вот это да!» Он рад, что ему не приходится меня огорчать. Но если перевод ему не нравится или в переводе строка-другая не удалась, он в замешательстве. Словно это не моя, а его вина. Как это он проморгал, недоглядел. И вот начинаются рассказы о каких-то забавных случаях. И вот он показывает библиотеку свою, новые книжные находки. Он оттягивает время. И потом, будто невзначай, вскользь показывает на строку. Я уже давно все понял. Но он чувствует неловкость. Это и есть деликатность. Что это такое? Воспитанность? Скромность? Нет. Это — нежелание усугублять и без того ранимое самолюбие собеседника. Желание взять на себя его неловкость. Деликатность — явление трудное и катастрофически исчезающее в наше время. Никто не боится ущемить и унижить самолюбие другого. Более того — не думает об этом.

При всем при том он не был утешителем. Как тонкий педагог, знал он, как пагубны последствия такого утешительства.

Но он умел согреть человека своей ласковостью, прежде всего своим вниманием и, как врач, своей готовностью выслушать.

Как часто травмирует нас неумение окружающих выслушать нас в пору, когда к нам неожиданно-негаданно пришла беда.

Он слушал. Так слушал, что становился — хотя бы на время — участником вашей исповеди, делил ваше горе вместе с вами. Я чувствовал это физически, когда рассказывал ему о гибели моего отца при исполнении служебных обязанностей в Среднеазиатском политехническом институте.

Откуда эти запасы доброты? Эти неисчерпаемые клады человечности?

В одном из стихотворений 1935 года Квитко пишет (привожу в подстрочном переводе):

«Бежишь от хозяина —
Попадаешь к жандарму,
Бежишь от жандарма —
Попадаешь в лапы нищеты».

Он знал, что такое — «лапы нищеты». Но, человек из народа, он черпал у народа его долготерпение и мудрость.

Он и сам излучал тепло, и книги его излучали тепло.

Лучевая энергия этой поэзии прежде всего адресована детям.

Несу домой небольшую книжку — «Весна». Стихи для детей. Квитко с рисунками Конашевича. Год издания 1946. Большими буквами — красным карандашом — дарственная надпись: «Славной Леночке от дяди Квитко». Читаю вслух, много раз, стихи запоминаются произвольно. Бемба и Дремба становятся реальностью и фигурируют в семейных разговорах наравне с Соколом, Сокольниками, Таганкой, Арбатом. Елочка и конь, скрипка и летающий жук со страниц книжки переходят в житейский обиход.

Утром, за завтраком:

«Тишка-парнишка
Собрался тайком

И в Дрембу из Бембы
Ушел вечерком».

(«Из Бембы в Дрембу». Перевод Е. Благиной)

— Ну как у вас в Дрембе? — спрашиваю дочь.

— А как там у вас, в Бембе? — отвечает она таким же вопросом.

После моей поэмы «Бабий Яр» и очерка, написанного по следам событий, Лев Монсеевич сказал мне:

— Посмотрите, может быть, эти мои стихотворения... если только понравятся... переведете?

Я унес домой цикл стихотворений — воспаленных, прожигающих бумагу, рвущихся в душу. Я начал переводить их немедленно. Мне казалось, что Квитко написал их за меня и для меня. Мне оставалось только перевести их в стихию русской речи.

Приносил я Льву Монсеевичу переводы по мере их готовности. Мы подолгу сидели за письменным столом и вместе правили их, снова переживали все то, что, думалось, будут переживать с нами читатели. Встречи с этим человеком — такие простые, рабочие, душевные, корректировавшие и направлявшие меня — кажутся мне сейчас легендой.

Мне хочется рассказать об этом переведенном мной цикле стихотворений. Без него облик Квитко будет освещен недостаточно полно. Речь идет о трагедийной силе строках военных циклов, о философской лирике, о романе в стихах, о прозе.

В 1941—1945 годах Лев Квитко написал такие стихи, как «Слово матери», «Миреле», «Анна Гриб», «Слово о детях», «Слово о Юзике», «Плач мальчика из Польши», и другие. Это — не стихотворные отклики на события войны. Это запекшаяся в строках кровь, это выраженная в них народная боль и скорбь. Улыбчивый и добрый Квитко выступает в этих стихах как выразитель трагического начала в жизни народа. Война! Какой это был удар по гармоничному миру поэта!..

Говорит мальчик, беженец из польского города Млова, учившийся токарному делу. Он, когда пришла война, работал батраком, скрыв от всех, кто он («Узнали бы они, что я есть я, — то не было б меня»). Вот почему он «искал работу поближе к русской стороне».

Однажды хозяйка, у которой работал мальчик, сказала ему: «Твои рубахи постирала ныне еврейским мылом». — «Как? Что вы сказали?» — «Из Бельжиц привезли, и слух проник: евреев немцы расстреляли и мыло сделали из них».

Работавший в Антифашистском комитете и близко знавший реальность войны, Квитко слышал о множестве таких и подобных им фактов. Его сердце не могло не вскипеть от ярости и протеста. Устами мальчика из Млова он и говорит:

«К вам, адвокаты, обращаюсь я,
Нет, я не подсудимый, я судья,
Мой голос отзовется в миллионах,
Во мне клокочет гнев испепеленных,
Их ненависть и воля, мысль и честь...»

И далее:

«Вы,
В наших бедствиях искавшие наживы,
Вы,
Процветавшие в наш черный час...»

Я буду вечно требовать от вас:
Верните мне народ!
Пока мы живы,
Родни погибшей тень лежит на вас».

И еще далее:

«Плачь, сердце, плачь!
Беда...
Без удержу заплачь, как никогда!
Камень, и тот сдвигается с места,
Если его подмывает вода».

(«Плач мальчика из Польши». Перевод Л. Озерова)

В конце войны, когда дописывалась Квитко эта книга скорби и гнева, я бывал у него и, потрясенный только что прочитанными стихами, шедшими тотчас же вслед за свершившимися событиями, старался перевести их на русский язык. Переводя, я испытывал то же чувство скорби и гнева и всякий раз убеждался, что и эти стихи Квитко непереводимы, что многие качества оригинала остаются недооволощенными.

Я видел перед собой детей из Умани:

«Лица — синь желтизны.
Руки — кости да жилы.
Шести-семилетние старцы,
Убежавшие из могилы».

(«Слово о детях». Перевод Л. Озерова)

Я видел пламень, объявший гетто, видел безумную от горя мать, закрывающую грудью рот мальчика, их смерть. Я видел скрывающуюся в лесах девочку Миреле и героя войны Лазаря Паперника, о котором его мать говорит в стихах Квитко:

«Как тягостно матери сына терять!
Утрата героя втройне тяжела...
Зачем к нему слава посмертно пришла!
Она и живому была бы под стать».

(«Слово матери». Перевод Я. Хелемского)

Трагизм войны не заслонил от Квитко лица жизни. Он был мечтатель. И измаявшись и поседев, он обнадеженно вглядывался в будущее человечества; «где-то под руинами веков лежит забытый оригинал земли — настоящая жизнь», — писал он в одном из писем.

Что бы ни случалось, сердце его оставалось чистым и гордым. В 1947 году он писал:

«Скорей согласен умереть,
Чем верить этим вашим басням,
Что с правдою дружить опасно,
Когда желаешь преуспеть,

Нет, верить никогда не буду,
Что грязь и фальшь царят повсюду,

Что ложь есть чистая монета,
Что надо привечать лжецов.
Решил легко пройти по свету —
Отвергнуть правду будь готов.

Как может жить у нас все это?
Смерть вам, последыши врагов!»

(«Скорей согласен умереть...». Перевод Л. Озерова)

Я видел улыбчивого, доброго Квитко. Я видел его в гневе. Он негодовал. Дело касалось основных его житейских принципов.

Дочь теряет отца, жена — мужа. Я теряю высокий образец человека. Народный песенник, доверчивое, незащищенное сердце, чистота и честность.

Почему так трудно говорить и писать о Льве Моисеевиче Квитко? О прекрасных людях всегда говорить и писать трудней, чем о плохих. Прекрасных людей воссоздаешь скорее воображением, чем наблюдаешь.

Мне повезло: я не в воображении рисовал прекрасного человека, он был передо мной, и его звали Лев Моисеевич Квитко. Таким он видится мне и сейчас — на расстоянии прошедших лет...

Это был кристально чистый, неправдоподобно честный, сияющий человек. Кристалл имеет много научных толкований. Но среди других предпочитаю переносное — пушкинское — значение: **кристалл души.**

Его портрет должен быть написан на динамическом фоне играющей детворы, его Тишки-парнишки, шагающего из Дрембы в Бембу, его Лемеле, способного мальчика, его Ляма и Петрика, его Шимки-Шимона, Миреле, Анны Гриб... Живые герои идут рядом с их творцом. А мы с вами, читатели, следуем за ними.

Так смыкаются в поэзии Льва Квитко явь и сон, реальность и мечта. И мы доверчиво входим в мир поэта, забыв о своем возрасте и радуясь жизни и ее щедротам.

Яков Хаземский.

У нас много времени...



олжен признаться, что, когда я впервые позвонил Льву Квитко и попросил о встрече, мне и в голову не приходило, что я буду переводить его стихи. Желание мое было куда скромнее. Я работал в литературном отделе «Пионерской правды» и рассчитывал получить для своей газеты новые строки поэта, чья известность тогда, в тридцатых, стремительно возникнув, непрестанно росла. Почти каждое стихотворение Квитко, появившись в периодике, легко запоминалось, мгновенно подхватывалось, обретало популярность, с ходу становилось хрестоматийным.

Короче говоря, на первую встречу с Квитко я направился в качестве корреспондента. В этой роли я чувствовал себя на коне. А как начинающий поэт испытывал некоторую робость. Это уж потом, понемногу я привык повседневно общаться с известными писателями и стал вести себя в их присутствии раскованно. Священный трепет пропал. К сожалению, пропал. И не только у меня или у моих ровесников. Теперь и начинающий особой почитительности к маститому не испытывает. А тогда, давным-давно, входя в ущелье двора на Маросейке, образованное высокими домами, поднимаясь на пятый этаж пешком (работающие лифты в ту пору были редкостью), я волновался. Уверенный газетчик боролся во мне с неуверенным стихотворцем. И, кажется, верх брал второй.

Квитко открыл мне дверь, и сразу оказалось, что решительность бывшего репортера тут смешна, а застенчивость начинающего литератора бессмысленна. Хозяин встретил меня в уютном халате, встретил с веселым радушием, как давнего знакомого, если не близкого родственника. Несмотря на мое сопротивление, он самолично снял с меня пальто и устроил его на вешалке, добродушно посмеиваясь над смущением гостя. Потом, ласково обняв за плечи, повел меня в свой кабинет. Во всем этом не было ничего наигранного. Изображение простецкого дружелюбия? Покровительственное панибратство? О нет! От этой встречи веяло ошеломляющей естественностью, домашностью, открытостью. Лицо хозяина излучало искреннюю благожелательность, каждый жест его звал к непринужденности.

Рабочая комната Квитко с первого взгляда и навсегда покорила меня ощущением чистоты, тепла, собранности — здесь все располагало к раздумью и взыскательному труду.

Лев Моисеевич усадил меня в кресло и спросил, не возражаю ли я, если мы сперва побеседуем, почитаем стихи, а уж потом угостимся чаем? И он сам начал беседу, неспешную, обстоятельную, задавая мне вопросы, рассказывая о себе, делясь выношенными мыслями. Люди популярные обычно торопятся, сгуют на занятость, на то, что их одолевают просьбами и предложениями, мешают работать. Квитко никак не ограничивал продолжительность нашей встречи. Наоборот, он всем своим видом говорил:

не будем пороть горячку, времени у нас много, поговорим как следует, если, конечно, гостя не ждут срочные дела.

Взяв со стола папку со стихами, Лев Моисеевич осведомился, знаком ли я с языком оригинала. Устную еврейскую речь я еще кое-как понимал, улавливая общий смысл и утрачивая подробности. А вот читать не умел вовсе. Выяснив это, Квитко предложил:

— Тогда я сперва буду вам построчно переводить прямо с листа, а уж потом читать оригинал. Так вы усвоите и смысл, и подробности, и музыку. Это проверенный способ.

Устный подстрочник звучал у Квитко в высшей степени поэтично. И стихи после этого воспринимались так, словно языковых препятствий не существует в природе. Читал он негромко, но необыкновенно мелодично, с мягкой, доверительной интонацией. Строки его в подлиннике были певучи и одновременно обладали свободой разговорной речи.

Закончив чтение, выслушав мои похвалы и благодарные слова, Лев Моисеевич улыбнулся:

— Вы проявили терпение и снисходительность. За это, собственно, я должен сказать спасибо. А теперь подведем итог. Все вы напечатать не сможете. Да я и не вправе вам дать все прочитанное — новые стихи обещаны и другим редакциям. Поэтому отберите две-три вещи, которые вам больше всего пришлось по душе.

Я назвал стихи, которые хотелось бы напечатать в «Пионерке», и спросил, с кем из русских поэтов связаться, кому он думает поручить перевод?

Квитко внимательно посмотрел на меня.

— А зачем поручать кому-то? — ответил он вопросом на вопрос. — Вы ведь сами пишете стихи. Я читал в «Пионерской правде» и в «Смене». Может быть, сами и возьметесь за перевод? Если, конечно, у вас есть время и вам хочется перевести. И если мои сочинения понравились вам не только как работнику редакции, но и как поэту.

Вот так он сразу, просто и обезоруживающе, разрешил все мои сомнения, покончил с моей робостью. И я так же просто (иначе было невозможно) согласился, не скрывая, что рад его предложению. Я только предупредил, что это будет всего лишь попытка, что может и не получиться. А вот доверие для меня — как подарок.

— Ну уж и подарок, — замахал он руками, — просто нескромное желание автора завербовать еще одного переводчика. Кстати, вас это ни к чему не обязывает. Если, сев за рабочий стол, вы почувствуете, что не можете найти со мной общий язык, я не обижусь. Не осилите три стихотворения, переведите одно. Главное, чтобы работа доставила вам удовольствие. Тогда удовольствие получит и читатель. И еще — я вас не тороплю. Работайте не спеша. У нас полно времени.

Он поднялся с места:

— А теперь пойдете пить чай. С клубничным вареньем собственного изготовления. С домашними кихеллах. Вы знаете, что это такое? Печенье? Допустим. По-моему, это так вкусно, что переводу вообще не поддается и существует только в подлиннике. А пока мы с вами будем пировать, моя жена Берта Самойловна сделает подстрочники и л а т и н к и. Она у меня умеет не только печь...

Я заинтересовался, что это такое — «латинка»? Лев Моисеевич развеялся:

— Это то, чем угощают после чая. Поскольку подстрочник выглядит как петух, которого не только зарезали, но и оципали, а еврейский алфавит вам незнаком, вы, кроме всего, получите подлинник, написанный латинскими буквами. Это поможет вам во время работы чувствовать его зву-

чание. И тогда вам легче будет оживить моего петуха. Будем надеяться, что на вашем дворе он закукарекает не хуже, чем у меня. А может быть, и лучше.

Чайный стол в этом доме оказался действительно волшебным. Просидели мы за ним довольно долго. Тут за беседой Квитко выяснил, что я рос в Киеве. «Значит, мы земляки!» — обрадовался он. Этот город Лев Моисеевич тоже считал родным — там он жил когда-то, там вышли в свет его первые книги, в Киеве и сейчас у него было немало знакомых. Он увлеченно рассказывал о своей молодости, о друзьях, с особой нежностью вспоминая Павла Григорьевича Тычину.

Меня предупреждали, что Квитко немногословен и бывает разговорчив лишь в редких случаях. Значит, мне повезло — такой случай выдался.

Я ушел со счастливым сознанием того, что Квитко теперь близок мне не только как поэт, но и как человек, похожий на свои стихи, неотделимый от них. А внушила мне это чувство не моя самонадеянность, отнюдь нет! Скорее всего, такой уверенностью одарил меня сам хозяин.

*

Через некоторое время я принес свои переводческие опыты. Когда я поднимался по лестнице, мне казалось, что это не второе, а, по меньшей мере, двадцатое мое восхождение.

Лев Моисеевич выслушал переводы внимательно, попросил прочитать еще раз, потом надел очки и стал изучать текст. Он был сосредоточен, даже строг в эту минуту, очевидно мысленно сравнивая русский вариант со своими стихами.

Я ожидал разгрома. Не скажу, что это было приятное ожидание. Но предстоящая оценка меня и не пугала: я с самого начала не рассчитывал на легкую победу.

Пока Квитко вчитывался и раздумывал, я, чтобы отвлечься, оглядывал его комнату, довольно просторную. Пол был устлан мягким ковром, вдоль стен стояли книжные шкафы. Там за стеклом выстроились книги, а среди них и произведения самого хозяина, изданные на разных языках, а среди них и произведения самого хозяина, изданные на разных языках, то в виде нарядных томиков, то в виде тоненьких тетрадей с яркими иллюстрациями для малышей. Среди книг расположились и фотографии. На одной был изображен сам Квитко в распахнутой белой рубашке, на другой он был снят вместе с Маршаком — оба улыбались.

Переведа взгляд на Льва Моисеевича, сидевшего за столом, я увидел его улыбку в натуре. Теперь строгое выражение исчезло. Мягко очерченное лицо снова светилось доброжелательностью. Квитко положил большую теплую ладонь на мою руку и сказал:

— Петушок поет. Но...

— Часто дает петуха, — скаламбурил я довольно плоско.

— Всего лишь две неверных ноты, — ответил Квитко, — хотя, если быть совсем честным, обнаруживается и третья. Да вот еще в стихотворении «Свежая сорочка» у вас на несколько строк больше, чем в оригинале. Но это допустимо, допустимо...

Разгром не разгром, но когда дошло дело до подробного разбора, я понял, что принес черновик. Дело было даже не в отдельных замечаниях, высказанных автором с предельной деликатностью. Квитко скорее хвалил, чем критиковал, но с каждой его фразой нарастало мое желание все переписать наново. Нет, он не подслащивал пилюлю, видимо, ему и впрямь пришлось по душе общая тональность переводов, но он чувствовал, что я могу сделать лучше. И осторожно направлял меня к этому выводу.

— Я не призываю вас к абсолютному сходству,— говорил он,— похоже — не похоже — это не разговор художников. Такое сравнение годится в ателье, где щелкают карточки для служебных удостоверений и пропусков. Фотограф старается ухватить черты лица, художник — черты души.

Квитко внимательно посмотрел на меня, видимо желая убедиться в том, что я понял его правильно, не обиделся, не огорчился. Потом вдруг предложил:

— А почему бы вам не почитать свои стихи? А то мы все обо мне да обо мне, о переводах моих сочинений. А я хочу послушать вас. В прошлый раз я об этом не попросил, поскольку вы пришли как официальный представитель печати. А сейчас мы встретились в качестве коллег. Так что почитайте, пожалуйста!

Я не был, по правде говоря, готов к этой просьбе. Не в том дело, что я оставил дома рукопись. Как всякий стихотворец, тем более начинающий, я хранил в памяти множество строк, чужих и своих, любил читать друзьям только что написанное. Но как перейти к этому сейчас, после того, как мои переводы оказались несовершенными?

Однако Лев Моисеевич просил так искренне, что и отказать было трудно.

Слушал он удивительно. Весь был поглощен этим. Ему действительно хотелось слушать.

Когда я умолк, он поднялся с места.

— Спасибо, дорогой. Мы с вами отлично поработали и заслужили чаепитие. Сегодня у нас кизилевое варенье и струдель с изюмом.

О прочитанном мною он заговорил только за столом. Сказал добрые слова. Вероятно, слишком добрые.

— Больше всего мне понравились две вещи. Первая — о Чаплине. Очень это мне близко. Я и сам думаю написать о человечке в котелке и огромных ботинках, который борется со злом при помощи смеха и тросточки. Это ведь современный Дон-Кихот! И вторая вещь — о гончаре. Сама работа мастера точно описана. Чувствуется, что вы внимательно за ней наблюдали. Описание переходит в мысль, мысль — в образ. А что еще надо?

Я сказал, что и вправду долго следил за работой гончара, восхищенный его творчеством. В Москве открылась в те дни выставка народного искусства Украины. В павильоне демонстрировал свое мастерство замечательный старик. Видимо, весь его род занимался гончарным делом. Потому что и фамилия его была Гончар. А звали его Иван Тарасович. Народный художник, он приехал в Москву из украинского села и на глазах у зрителей создавал глиняные шедевры.

Квитко уже слышал об этом мастере.

— Теперь я тоже пойду на выставку, погляжу на деревенского волшебника,— сказал он.— Так ведь часто получается — скромный ремесленник или даже любитель оказывается настоящим художником. А человек, считающий себя профессионалом, на самом деле жалкий любитель, в лучшем случае — средний ремесленник.

Видимо, эта мысль увлекла Льва Моисеевича. И он снова, вопреки обыкновению, разговорился. Чай остывал. Квитко, забыв о нем, взволнованно рассуждал:

— Я их знаю, этих народных мастеров. Ведь мое детство прошло в украинских селах и местечках. Отец мой был переплетчиком, довольно искусным. Ну, а сам я обучался малярному делу. Когда висишь в люльке между небом и землей (а я таки покачался в ней, это и была моя колыбель), когда над тобой ясная синева, а кругом живая зелень, начинаешь любить чистые краски. Зеленая крыша, синие ставни, наконец, стены, бе-

лые, как летние облака. Или церковный купол, золотой, как солнце. В творчестве отражается природа. А это уже признак хорошего вкуса. Здесь малярство может превратиться в поэзию. Кстати говоря (как киевлянин, вы это знаете), по-украински слово маляр означает — живописец. А малярство — живопись. Я думаю, это не случайно. Между прочим, не секрет, что можно расписать высокие своды дворца или собора, и это будет низкая халтура. Можно раскрасить обыкновенную ярмарочную карусель, и это будет необыкновенное искусство. Можно писать иконы и оставаться бездарным богомазом. Можно лепить и обжигать простые глиняные горшки, а быть в своем деле богом.

Потом Квитко говорил о народной поэзии, которая не только питает классика с древнейших времен, но и сама есть классика.

Возвратившись домой, я записал услышанное в блокнот, повинувшись старой привычке газетчика. Блокнот во время войны затерялся. Но именно потому, что рассуждения Квитко были мной записаны, они удержались в памяти почти во всех деталях. Сейчас, много лет спустя, воспроизводя их, думая об этих словах поэта, я нахожу в них ключ к его собственному творчеству.

Мне не хочется здесь перечислять названия стихотворений или приводить цитаты — все это до сих пор на виду и на слуху, а любимые строки каждый выбирает себе по возрасту и вкусу. Но форма и суть этой поэзии обладают непреходящей притягательной силой. Притягательной для всех. В этой всеобщности не заключена ли одна из сторон народности?

*

Но я должен вернуться к первым моим переводам. Я принялся за переработку не сразу: захлестнули редакционные дела. Да и хотелось отойти от первого варианта. И снова у Квитко я появился нескоро. На этот раз Лев Моисеевич ограничился тем, что выслушал переводы в моем чтении. Не просил прочитать еще раз. Не стал изучать текст глазами. Он тихо сказал:

— Я вижу, что мы поняли друг друга. Мы нашли общий язык. Это можно печатать. Ни вам, ни мне биографию это не испортит. Поздравьте меня, а я поздравляю вас.

«Мы нашли общий язык»...

Может быть, это самое простое и точное определение отношений автора и переводчика. Общий язык поэзии преодолевает обычные речевые барьеры. Тогда всё друг у друга постигаешь с полуслова, происходит внутреннее сближение, переводимый и переводящий мыслят и чувствуют в одном ключе. Первые мои переводы были вскоре опубликованы. Время от времени я уносил из дома на Маросейке новые подстрочники и латинки. Впрочем, ни Квитко, ни я за количеством не гнались. Два десятка стихотворений — вот почти все, что перевел я за многие годы нашего близкого и очень сердечного знакомства.

А общались мы независимо от совместной работы. Дом поэта всегда был открыт для друзей. Посидеть в уютных креслах, неторопливо побеседовать о жизни, о поэзии — не было для Квитко большего удовольствия. Лев Моисеевич принадлежал к тем людям, которые не стремятся всюду поспеть, на все откликнуться, везде выступить и обязательно всем понравиться. Он был чужд всякой суетности. «Ничего, время есть, не опоздаем», — эти слова я слышал от него не раз. Кстати сказать, когда к нему пришло всеозоное признание, Квитко было уже далеко за сорок. И ничего, не опоздал...

Казалось, что у него действительно много свободного времени. Со стороны глядя, можно было даже подумать, что он мало работает.

Между тем за этой неторопливостью и внешним эпикурейством скрывался огромный, напряженный труд. И не только за письменным столом. Квитко был и общественно очень деятелен, выполнял множество обязанностей и справлялся с ними как-то незаметно, никогда не подчеркивая этого. И всюду успевал, не поспешая.

Но, главное, когда бы ты ни пришел, у него в запасе всегда оказывались новые стихи, возникшие внезапно или давно дожидавшиеся завершающего штриха в ящике стола.

Он как-то сказал мне:

— У меня есть папка. Мой почтовый ящик. Я пишу как бы письмо самому себе. На клочке бумаги набрасываю мысль, строку, тему, подслушанное, наблюдаемое. И — в папку. Этих «писем» накапливается много. Через какое-то время я вскрываю свой почтовый ящик. И начинаю из породы извлекать крупницы металла. Глядишь, два-три стихотворения набегает.

Иногда, прочитав новую свою вещь, он вдруг решительно возвращал ее в «почтовый ящик».

— Я сейчас понял, что поторопился. Пусть эта штука полежит, плод еще не созрел. Я и на родном языке печатать это пока не буду. А уж переводить тем более рано.

Надо все же сказать, что утренние его часы обычно были целиком посвящены творчеству. Но и первую половину дня он вовсе не просиживал за рабочим столом. Стихи рождались во время ранних прогулок. Да и в кабинете своем он любил выхаживать километры по обширному ковру. За стол присаживался только затем, чтобы закрепить на бумаге добытое. Он сам об этом рассказывал.

Ошибся бы тот, кто принял его за домоседа, который привык к своей рабочей комнате, книгам, рукописям, к знакомым московским улицам и редко снимается с места. Квитко любил путешествовать, в его стихах вырисовываются пейзажи многих широт.

Его приветливо встречали всюду, где бы он ни появлялся. Его любили дети и взрослые, рядовые читатели и собратья по перу. Я видел, как озярялись доброй улыбкой лица Гайдара и Светлова, Маршака и Паустовского, когда заходила речь о Льве Квитко.

Широкая известность не сказывалась на его характере. Он оставался доступным, скромным, внимательным к людям. Не любил шумихи. Среди переведенных мной стихотворений Квитко одно мне кажется очень важным для понимания его житейских принципов.

Называется оно «Шум и тишина». На первый взгляд простенькое, оно заключает в себе философский диалог, выводит формулу человеческого поведения.

Вспомним эти строки: «— Скажи, зачем ты все шумишь, качаешься, осина, казаться выше поровишь и бередишь лесную тишь, скрипуха-древесина?» Осина отвечает: «— Хочу, чтобы каждый меня услышал, хочу, чтобы каждый меня увидел. Я славы хочу и похвал». Дальше рассуждает поэт: «А груша старая молчит (она из самых скромных), не хвастается, не шумит, хоть вся в плодах огромных». В заключительных строках образ, как любил выражаться Квитко, перерастает в мысль: «Что грушей не сказано, выскажет тот, кто нынче, отведав пленительный плод, всю сладость его воспоеет».

Автор этих стихов был во всем сродни щедрому дереву, бесшумно приносящему весомые плоды.

В доме мастера, казалось, всегда царила атмосфера уюта, радушия, размеренного труда. Она могла показаться даже чересчур благодатной.

В его стихах, полных красок, запахов, щедрого юмора, радостное изумление перед разнообразием окружающего мира никогда не переходило в бездумное бодрчество, в наивную идиллию. Но все же этой поэзии порой недоставало резких, тревожных нот. Она доставляла эстетическое наслаждение, вызывала светлое раздумье, иногда в ней звучали ноты иронии и грусти. Ранние строки, полные революционной патетики, насыщенные драматизмом гражданской войны, отзвуками прошлой жизни, русскому читателю почти не были знакомы. И критику поверхностному могло показаться, что эта поэзия не знает гневных и трагических слов.

Между тем началась война.

*

Мы не виделись в годы войны, если не считать самых начальных ее недель. Для «Комсомольской правды», где я работал в то время, Лев Моисеевич написал по моей просьбе стихотворение о бойцах Всевобуча. «Гранатометчики» — так назывался этот поэтический отклик. Выяснилось, что Квитко, когда это нужно, умеет работать по-газетному оперативно. При этом стихотворение вовсе не носило следов спешки, в нем ощущалась знакомая интонация своеобразного мастера. Я перевел эти строки сразу же, они были наораны и предназначались в завтрашний номер газеты. Но что-то более важное вытеснило их с полосы. После этого гранка пролежала несколько месяцев, и стихотворение появилось в «Комсомолке» лишь в начале сорок второго, когда я уже давно был на фронте. В книгах Квитко под «Гранатометчиками» стоит дата — 1942, очевидно, обозначен год опубликования. На самом деле стихотворение написано еще в сорок первом, в самую горькую пору войны.

Однажды моя жена передала в письме привет от Квитко — она встретила его в Казани. Доходили и другие весточки. Но увиделись мы с ним лишь в сорок пятом, когда я демобилизовался.

Первым, кто заговорил со мной о Квитко, был Семен Гудзенко, тогда еще совсем юный. Мы ородили с ним по московским улицам, вспоминали родной Киев, и вдруг Семен спохватился:

— Да, чуть не забыл! Тобой интересовался один наш славный земляк...

Оказалось, что Квитко давным-давно вернулся в Москву, живет он, как прежде, на Маросейке. Даже номер телефона старый, довоенный.

Гудзенко рассказал мне, что Квитко принял живейшее участие в его судьбе, что он вместе с Эренбургом помог ему сделать первые шаги в поэзии.

— И не только в поэзии... Был у нас в лыжном батальоне замечательный парень Лазарь Паперник, — продолжал Семен, — мы очень с ним дружили. Он погиб в бою, дрался до последнего. Посмертно стал Героем Советского Союза. Когда я рассказал о нем Квитко, старик срочно засадил меня за работу. Я написал очерк о Папернике. И, представь себе, очерк перевел на еврейский язык и он выходит отдельным изданием.

На другой день я звонил Квитко. Приехал в старый дом на Маросейке. Поднялся вверх и, как когда-то, в незапамятные времена, Лев Моисеевич сам открыл дверь. Мы обнялись. Квитко похудел, волосы его поседели. И все же он оставался крепким, румяным, ясноглазым. Только улыбался не так безмятежно, как раньше, и глаза у него порой влажнели.

В стихах, которые он мне прочитал, полыхала тревога, рыдала трагедия, трубила беда. Так он, пожалуй, еще не писал. Это не походило ни на романтическую приподнятость его давних, совсем ранних строк, ни на довоенные стихи, добрые, многоцветные, шуточные.

Это была поэзия скорбящая и негодующая. Но сквозь горькие строфы, сквозь суровые краски просвечивала улыбка надежды, а патетика звучала проникновенно. Это был Квитко меняющийся и неизменный, блеснувший новыми свойствами своего таланта и оставшийся верным себе.

Все знают теперь эти стихи, вошедшие в число лучших поэтических творений о минувшей войне. «Накануне», «Свет в убежище», «Слово матери», «Лес», «Слово о Юзике», «Плач мальчика из Польши», «Слово о детях», «Миреле», «Скорей согласен умереть...», «Возрождение».

В тот день, когда мы впервые после военной разлуки увиделись с Квитко, многие из этих стихотворений еще не были переведены. Но даже в подстрочниках сохранялась пронзительная сила оригинала. А когда я услышал звучание первоисточника, у меня перехватило горло.

Квитко понял мое состояние.

— Не надо ничего говорить, — он предостерегающе поднял руку, — не надо, потому что все, связанное с войной, еще болит, еще свежо, и спокойно обсуждать это нельзя. Я понимаю, что дело тут даже не в стихах. Но и они — кусочек войны.

Я все же произнес какие-то сбивчивые слова о том, что услышанное мною должно стать достоянием огромного читательского круга, что к переводу нужно немедленно привлечь самых лучших русских поэтов.

И вот тут Квитко улыбнулся, широко, весело, по-довоенному.

— Во-первых, лучшие поэты не всегда лучшие переводчики, — сказал он, — во-вторых, кому известно, кто лучшие, кто худшие? Одному богу. И того не существует. В-третьих, спешить не надо.

Он поглядел на мой китель со следами только что снятых погон и сказал:

— Могу ли я рассчитывать на то, что, окончательно став мирным человеком, отдохнув, придя в себя, вы по старой памяти что-нибудь из этого переведете?

Я ответил, что для меня возвращение к прежним занятиям и есть отдых. Что, может быть, именно сейчас, когда я еще похож на фронтовика, когда во мне, как и во всех, еще живет война, самое время испытать свои силы, взявшись за перевод т а к их стихов. Только вот с отвычки нелегко это будет.

— Насколько я понял, стихи вам пришлось по душе. Значит, все будет как надо. Выбирайте любые...

Я взял для начала «Слово матери». Потому что это были стихи, посвященные Папернику, о котором мне рассказал Гудзенко. Потому что они были написаны от лица матери павшего, и там были строки предельно простые, но потрясающие своей горькой естественностью: «Зачем к нему слава посмертно пришла! Она и живому была бы под стать...»

*

Теперь в доме на Маросейке исправно действовал лифт. Он возносил гостей на пятый этаж. Квитко, как и прежде, был радушен, всегда доступен, нетороплив. Но работал он, пожалуй, напряженней, чем когда бы то ни было. Поэзия его все больше привлекала читателей. Тиражи его книг исчислялись миллионными цифрами. Расширился и круг его переводчиков. Анна Ахматова, Павел Шубин, Маргарита Алигер, Борис Слуцкий,

Лев Озеров — эти имена как бы подчеркивали то обстоятельство, что поэзия Квитко обогатилась новыми красками.

Возросло и число его разнообразных обязанностей: он часто бывал в Активистском комитете, в Союзе писателей, выступал, работал с молодыми, редактировал.

И, как всегда, казалось, что он ничем не обременен, что он располагает уйма времени и все еще впереди.

А времени, отмеренного ему, оставалось мало.

Но корни врожденного жизнелюбия все еще были крепки, душевное здоровье не иссякало. В поздних стихах пережегались тени пережитого и свет преодоления, трудное раздумье и озорная улыбка.

...Когда сейчас, много лет спустя, думаешь о Льве Квитко, начинаешь по-настоящему постигать весомость и многообразие созданного им.

Я убежден, что в архивах друзей и переводчиков поэта, наконец, у его близких остались строки неизвестные или забытые, но достойные того, чтобы в старом или новом переложении увидеть свет.

Просматривая собственные переводы, я нахожу вещи, по разным обстоятельствам не вошедшие в книги Квитко.

Недавно я обнаружил в своих папках вырезку из «Комсомольской правды» за 1940 год — стихотворение о Ленине в Разливе. Оно называется «Синяя тетрадь».

Я счел необходимым обновить старый перевод этого стихотворения, которое и сейчас представляется мне значительным, полным лирического напряжения. А тогда, в сороковом, оно звучало новаторски, в чем-то предвосхищая некоторые более поздние страницы литературной Ленинианы. Можно предположить, что оно подсказало Эммануилу Казакевичу, несомненно сумевшему оценить в оригинале эти строки, тему и название известной повести.

Вот нынешний вариант старого перевода:

«Его я вижу в час рассвета
Сидящим здесь, под сенью веток,
У входа в маленький шалаш.
В руках — тетрадь и карандаш.
Вокруг — немолчный лепет лета,
Веселый птичий ералаш.

Не вправе подвергаться риску,
В глуши он должен выжидать.
Шпики, не уставая рыскать,
За ним охотятся опять.
Но век не повернуть им вспять.
А буря зреет, буря — близко.

Как двери в мир, как поле брани,
Раскрыта синяя тетрадь.
Он должен, дряхлый мир тараня,
Судьбу народа изваять.
Твердыня горя и страданья
Должна твердыней счастья стать.

С дубка прибрежного неожиданно
Слетает лист, багряно ржав.

Над водами, вокруг поляны
Уже сгущаются туманы,
Сиянье лета оборвав.

А в Питере друзей немало.
Они зовут: — Пора настала! —
И все, что виделось давно,
О чем у озера мечтал он,
Сегодня действию равно.

Тетрадь закрыта. Торопись.
Уже в тревожных тучах высь,
Да и земля готова к схватке.
Пускай теперь допишет жизнь
То, что начертано в тетрадке».

Недавно вдова поэта передала мне подстрочник стихотворения Квитко, которое относится к 1947 году. Это уже из лирики последних лет. Осенние строфы пронизаны тонким ощущением природы, но перед нами не просто пейзажная зарисовка. Это и отзвук недавней войны и размышление о том, что мешает миру сегодня и может помешать завтра. Тут кипят страсти, тут бушуют любовь и ненависть.

А название у стихотворения идиллическое — «Георгины». И все начинается плавным описанием.

Я перевел «Георгины». Вот как это звучит:

«Остыл на листьях летний пот
И потускнели космы трав,
Осенней свежести рассол
Землей настоян точно к сроку.
И крыша дома моего
Гремит, все лето промолчав,—
Бушуют, ярости полны,
Ее четыре водостока.

А я выкапываю куст,
И луковицы георгин
Нежны, как рыльца поросят...
Но вслед, лишенные поживы,
Ползут злоден-червяки
Из растревоженных глубин,
Как омерзительна их дрожь,
Как судорожны их извивы.

Вам в сердце хочется вползти,
Вы подбираетесь к мозгам.
Но я-то здесь, но я-то жив!
И грянет кара, грянет скоро.
Вам, разъедающие плоть,
Я полной мерою воздам.
Вы мне ответите за все,
Коричневые мародеры».

*

Надо надеяться, что где-то впереди — собрание сочинений Квитко, куда войдут строки из ранних книг, юношеская поэма «В красном вихре», стихи для детей, лирика разных лет, эпические страницы, наконец, прекрасная повесть о детстве «Лям и Петрик», давно не переиздававшаяся.

И тогда перед нами предстанет во всей полноте наследие, оставленное добрым и щедрым художником.

Но тут мне слышится его голос:

— Ничего, подождем. Не будем спешить. У нас много времени. Времени у нас полно.

Он не торопился при жизни. Он умел ждать. Такие, как он, не опаздывают. Такие необходимы всегда.

Но в с е г д а, это значит, и — с е г о д н я. Сейчас, сию минуту.

Леня Рарто.

Он был таким, как его поэзия



н был таким, как его поэзия — чистая, светлая, душевная. Как часто, прочитав чье-то стихотворение, он радовался: «Хороший поэт!» Но если стихи его товарища по лире ему не нравились, он говорил, словно оправдывая автора: «Знаете, он хороший человек». Читая Квитко свои новые стихи, я, по правде говоря, в душе побаивалась услышать такую похвалу.

Особенно запомнился мне Лев Моисеевич под Москвой, в «Заветах Ильича», в пустой, необжитой даче. Он стоял на каком-то сложном сооружении из стола, табуреток, перевернутых ящиков и умело приколачивал к стене лист сухой штукатурки.

— Скоро можно будет переезжать? — спросила я.

— Мы уже переехали.

— А мебель где?

— И мебель перевезли.

Я поняла, что стол и несколько табуреток — это и есть обстановка его будущего рабочего кабинета. Конечно, в Москве он жил совсем по-другому, но здесь ему был нужен только письменный стол и сад. В саду он возился с необычайным усердием и был похож на героя из книжки Чапека «Круглый год садовода», перетаскивал растения из одного угла сада в другой, будто насадка своих цыплят.

Жила и я в «Заветах Ильича», и, год спустя, ранней весной, снова пришла к Квитко. Молодой сад повзрослел, все распушилось, тянулось ввысь. Лев Моисеевич встретил меня у калитки улыбающийся, чем-то очень довольный. «Написал новые стихи», — подумала я. Квитко повел меня не в дом, мы подошли к двум маленьким елочкам у забора, на мой взгляд, ничем не примечательным.

— Посмотрите на них... Они выжили! — произнес Квитко с искренней теплотой, даже с нежностью. И рассказал мне, что осенью выкопал эти елочки, чтобы пересадить их на другое место, но что-то отвлекло его, и он забыл про них. А они прижились.

В тот день мы, как всегда, читали друг другу стихи, потом пили чай на открытой терраске, но он все возвращался мысленно к двум елочкам.

— Посмотрите, вот они, там! — неожиданно протягивал он руку к забору, как будто можно было увидеть их на таком расстоянии. Я не знала тогда, как сильно они овладели его воображением и что им будут посвящены такие светлые и мудрые строчки:

«Две елочки, два кротких медвежонка,
Игольчатые ветки растопыра,
Стоят, купаясь в солнечном деньке,

Они меня, наверно, долго ждали,
Их дожди охлестывали злые,
Осенний ветер маял и студил.
Тогда они к земле припали близко
И крепко к ней корнями присосались
В неистребимой жажде бытия.
И я стою в молчании глубоком
И думаю: «Какое это чудо —
Земля животворящая моя».

Не так давно побывала я в «Заветах Ильича», прошла мимо знакомого забора. Не уцелели эти елочки.

Елена Брагинна. За рассветами бегу



тобы начать речь о Льве Моисеевиче Квитко, я вынуждена буду повториться, приведя небольшой отрывок из воспоминаний моих о Корнее Ивановиче Чуковском. Вот этот отрывок в отрывках.

В 1936 году, зимой, ЦК ВЛКСМ собрал детских писателей, чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее детской советской литературы.

Зал, в котором шло совещание, утопал в солнце — таком щедром, что мандарины на столах светились сотнями крошечных солнц, и от этого было весело, как на рождественской елке.

На одном из утренних заседаний объявили выступление Чуковского. На трибуну вышел человек — высокий, гибкий, с лицом свежим, обольстительно некрасивым. Он говорил не по бумажке, а свободно — без провалов и пустот.

В это утро Корней Иванович подарил советскому читателю еврейского поэта — Льва Квитко.

Корней Чуковский много подарил своему времени. А этот подарок был почти матерьяльным — вот вам, нате, берите! Я рад, что вы рады.

Стихи Квитко Корней Иванович читал в украинских переводах, но все было понятно. И всем захотелось немедленно перевести что-нибудь из Квитко. Захотелось и мне.

Как состоялось наше личное знакомство, теперь не припомню. Да это и неважно. Важно только, что мы стали такими друзьями, как будто нас свела судьба вечность тому назад.

Лев Моисеевич стал у нас желанным гостем. Я наслаждалась этими «пирами духа», на которых обычно присутствовали Евгения Семеновна Живова, ставшая бессменным редактором поэта, Мария Ивановна Поступальская, Генрих Эйхлер и другие наши друзья и знакомые.

С друзьями Лев Моисеевич никогда не чинился — читал стихи охотно и тут же сам переводил их. Говорил он, слегка окая и растягивая слоги, с той неправильностью и неуверенностью, которые делают очаровательной русскую речь в устах плохо знающего ее.

Я любила слушать эти живые объяснения текста. Лев Моисеевич, как дитя, складывающее кубики, долго выбирал подходящие слова, вертел огрызок карандаша, заглядывал в крошечную записную книжку, смотрел в потолок и произносил иногда уморительные вещи вроде того, что «он так долго загорал, что его спина покрылась лодырями»...

Однажды он «объяснял» стихотворение «Радуга». Когда дело дошло до последней строфы, он вдруг встал, распахнул руки, сжал кулаки, вскинул глаза и начал медленно раскачиваться:

«— Тучи ушли...

У них больше нет дождя...

Земля ухватилась за радугу...

За оба конца...

И качается вместе с вами...

А вы — вместе со мной...»

И долго на лице его стоял отсвет этой грозной радуги.

В 1937 году Квитко переехал в Москву (из Киева). Они поселились в двух комнатах коммунальной квартиры. Тогда люди были нетребовательны и квартира всем казалась прекрасной. Да она и была прекрасной, потому что в ней жил Поэт, его любящая и любимая подруга и прелестная, как весна, дочь.

Частьенко в этих двух скромных комнатах сживали друзья — старые и новые. Много читано тут стихов, говорено задушевных речей, и никогда ни одного анекдота — даже самого невинного.

В 1938 году и мы перекочевали с Тверских-Ямских на Кузнецкий мост, 3. Мы оказались на перепутье всех дорог, так что народу у нас толклось всегда премного. Здесь бывали Маршак и Чуковский, Мария Поступальская и Кассиль, Ирина Орловская и Фраерман, неизменная Эся Живова и, конечно, Квитко, Николай Литвинов, Клаша — его жена, Катя Беклешова с мужем — словом, перечислить всех не удастся.

Прошла бездна времен, а все до сих пор помнят милый «погреб», где вдоволь ели-пили, блистали экспромтами, пели доморощенные песни, читали «распевочно и на вынос» стихи, спорили и бесконечно радовались друг другу.

Квитко любил всякую земную благодать, а стало быть, и хорошую еду. Садясь за стол, он улыбался, показывая свои великолепные зубы. Его румяное лицо и золотистого сиянья глаза выражали истинное удовольствие. Приятно было с ним разделить любую трапезу — от самой скромной до пиршественной.

Манеры у него были, я бы сказала, изящные, жест точный, стать вальяжная. Он держался с той естественностью, которую трудно воспитать — она врожденная. Вообще Квитко был личностью гармонической, ясной. Кроткий, сильный свет его души рвался наружу в каждом жесте, в каждой улыбке. То же сияние исходит и из его стихов.

Квитко жил глубоко и жадно. Уважение к жизни было у него чисто швейцеровское, хотя никогда имя Швейцера я не слышала из его уст. Но наряду с серьезностью, с ответственностью за каждый свой шаг и вздох жила в нем детскость в самом лучшем смысле этого слова. Вижу его склоненным над грядкой, внимательно разглядывающим слабые ростки рассады, приговаривающим:

— Ну-ну, крепитесь, не бойте! Растите!..

Вижу — мы идем по голицынскому лесу: Лев Моисеевич, Эся Живова и я. Тропа стиснута высокими сугробами великолепной зимы. «Мороз и солнце! День чудесный!» — говорю я нараспев и падаю навзничь, раскинув руки прямо на пуховый сугроба. Эся и Квитко поднимают меня, мы разглядываем сугроб — на нем мой отпечаток — без единой морщинки.

— Вот видите,— говорю я,— мне будет удача. Ни единой морщинки! С этой минуты Квитко беспрерывно рушился спиной на все сугробы и, если отпечаток удавался, кричал в восторге (чистое дитя!):

— Глядите! Мое желание исполнится! Меня ждет удача!

Мы устали, вытягивая друг друга из сугробов, нахототались, набрали полные обувки снега и вернулись домой очень довольные. А Квиточка сиял.

Вижу коктебельскую лесную дорогу в горах. Над деревьями — божественно-безжалостное солнце, а под ними — переплеск света и теней и даже почти прохладно. И на скудной темной земле — сине-лиловые звезды крокусов. Квитко вдруг останавливается и, молитвенно складывая ладони и глядя на нас как-то восторженно-изумленно, почти шепчет:

— Может ли быть что-нибудь более прекрасное! — И помолчав: — Нет, я непременно должен вернуться в эти места...

*

О поэзии Квитко много говорено и писано. Не стану здесь повторяться, тем более что задача этих записок — вовсе не анализ творчества поэта. Скажу только, что мир поэзии Квитко так своеобразен, что самые различные поэтические индивидуальности при переводах стихов его на русский язык как бы на время «забывали» или теряли свою тональность и начинали звучать в ключе Квитко. Беру наугад: Светлов — Маршак — Спендиарова — Михалков — Державин — Донникова. Соответственно сопоставляю: «Когда я вырасту» (Светлов), «Лошадка» (Маршак), «Жалоба деревьям» (Спендиарова), «Анна-Ванна бригадир» (Михалков), «Эзра и бык» (Державин), «Чудо» (Донникова) — и вижу, что, несмотря на различие дарований, а стало быть и приемов поэзии, все-таки во всех этих вещах интонация одна, голос одного поэта.

Само собой разумеется, что даже при самых отличных переводах стихи теряют какую-то долю своей прелести, но в случае с Квитко переводы его стихов звучат если не превосходно, то неплохо. Такова сила его дарования, поддержанная еще и тем, что поэт не утратил национального колорита. Все его Бембы-Дрембы, бабки Блюмци, Годл-Гдидл-Геденди, Лемеле и прочее — прелесть что такое!

Что касается моего участия в работе над переводами стихов Квитко, то Чуковский не ошибался, говоря, что я как бы перевоплощалась в переводимого поэта. Не скажу, что было легко. Случалось, что в поисках одного слова мучилась по несколько дней. Так, например, никак не удавалось найти подходящий экипаж для стихотворения «Жених без невесты». В оригинале, если не изменяет память, были сани, которые не подходили по размеру. Долго билась: экипаж, фазтон, коляска, бричка, линейка, дрожки, розвальни, телега, арба — все не то. И уж когда совсем потеряла надежду, вдруг выскочила откуда-то пролетка. Пролетка! Как просто и как подходяще! И перевод покотился на этой пролетке без остановок — к финишу.

Показывать Льву Моисеевичу новые переводы было отраднo не только потому, что он опять-таки прямо по-детски радовался удачам переводчика, но и потому, что он интуитивно чувствовал фальшь, неточности, неряшество. Он тогда мягко, но твердо не просил, а требовал доработки, приговаривая: «Не хочу вас обидеть, но...», «Я плохо знаю русский язык, но...», «Здесь вы ошибаетесь, я хотел сказать не то...» и т. д. А зато, если перевод ему нравился, он начинал ходить по комнате, притоптывая, похотывая: «Ай, молодец! Ай, хорошо! Прекрасно!»

...Прошло немного времени, и стихи Квитко узнали и полюбили миллионы русских читателей. Стихи его звучали по радио, их стали читать лучшие чтецы эстрады (особенно полюбились детям «пара красавцев — Эфрос и Ярославцев», по чудному выражению Маршака). Их стали переводить на языки других народов Советского Союза, а также на иностранные. В 1939 году вместе с другими писателями Квитко наградили орденом Трудового Красного Знамени. Но Квитко оставался таким же простым и светлым, каким я его увидела впервые и каким полюбила.

Война всех расшвыряла в разные стороны. Семья Квитко уехала в Алма-Ату, а сам он, вместе с Антифашистским комитетом, в Куйбышев.

В Куйбышеве жил, терпя изрядное бедствие, мой муж — Егор Николаевич. Они изредка встречались и, по словам мужа моего, Лев Моисеевич помогал ему, иногда давая работу, а то и просто делясь куском хлеба.

Моим причалом стал Красноуфимск — город Приуралья. Там жилось трудно, порой даже нестерпимо. Но все были тогда полны самого глубокого, истинного патриотизма, который помогал переносить непереносимое. К тому же ленинградская трагедия была в разгаре — можно ль жаловаться?

Вернулась в Москву в конце 42-го года.

Встречи наши с Квитко стали реже после возвращения в Москву. Большая творческая и общественная работа — и у него и у меня, а также быт не располагали к досугу и гостеванью. И все же мы встречались в моем оледенелом «погребке», который менее всего походил на человеческое жилище. (Помню, как один мой знакомый, приехав с фронта на побывку, зашел к нам. Он как-то растерянно оглядел комнату (в ней — минус 2°), потрогал стенку, с которой сыпалась штукатурка, зачем-то легонько дунул на шаткий огонек каганца, и сказал: «Поедьте на фронт! У нас в землянках уютней!»)

Отблестали победные салюты, отошли великие бои... К концу сорок седьмого отменились карточки. Народ стал есть хлеб. В булочных можно было видеть людей, которые ели хлеб тут же — стоя, как в обыкновенное время едят пирожные. Я любила смотреть на эти пиршества, на эту радость плоти. И однажды рассказала Льву Моисеевичу, что вот, мол-де, захожу в булочные, гляжу, радуюсь. Он сделал большие глаза и почему-то прошептал:

— Я тоже...

А время шло. В январе 49-го года праздновалось шестидесятилетие Квитко. Гости собрались в дубовом зале клуба писателей. Народу пришло много, юбиляра приветствовали сердечно, но он казался (не казался, а был) озабоченным и грустным.

Через несколько дней супруги Квитко устроили у себя дома прием, на который были приглашены и мы с мужем.

Мы пришли вовремя, но гости уже собрались, и как всегда бывает перед застольем, квартира гудела невнятицей разноголосья. Здесь были Маршак, Барто с мужем, Вера Смирнова, Иван Халтурин, Михалков, Кончаловская, Кассиль, Сергей Герасимов, Живова и еще много народу.

Скорости мы с матерью уехали в Орел — поклониться родному пепелищу и повидать уцелевшую родню. Буквально через день после возвращения нашего домой Егор Николаевич, придя откуда-то, не разделся, а снял с вешалки мою шубку и, подавая ее мне, сказал:

— Пойдем к Квитко...

И я все поняла.

...Лев Квитко — поэт-дитя. Он живет в волшебном мире волшебных превращений. Ему достаточно прикоснуться к новому пруту — и тот звенит дудочкой, к фанерному коробку — и тот превращается в скрипочку, к обыкновенному перочинному ножу — и:

«Есть у меня ножик
О семи клинках,
О семи волшебных
Острых языках.
Другого такого
Больше в мире нет!
Он на все вопросы
Мне дает ответ.

Первый клинок — строгают,
Второй — ему помогает,
Третий — служит пилой,
Четвертый — шилом-иглою,
Пятый — режет чудесно,
Зачем шестой — неизвестно!
А седьмой — единственный
Таинственный клинок.

Тот клинок таинственный
Никто понять не мог!
Я мечтаю, что однажды
Рано утречком проснусь,
Я мечтаю, что однажды
Острия рукой коснусь.
Из своей ложбинки тесной
Встанет медленно клинок
И воскликнет:
— Мир чудесный,
Развернись у наших ног!
И поднимутся туманы,
И увижу я вдали
Все моря, все океаны,
Все большие корабли.
А клинок мне скажет вдруг:
— Друг, чего желаешь?
Я ему отвечу:
— Друг,
Разве ты не знаешь?
Я хочу на этом крейсере
С моряками вместе быть.
Я хочу на этом крейсере
С моряками вместе плыть —
Далеко, далеко,
С запада до востока,
С севера и до юга —
До Заполярного Круга.
А после опять сначала,
Чтоб море меня качало,

Чтоб било в борта волной,
Чтоб был ты всегда со мной!»

Так он и остался с ним — этот волшебный клинок поэзии — до смертного часа. Мы всегда можем притронуться к нему и видеть, как он медленно встает из своей тесной ложбинки и как расцветает у наших ног диковинный мир — младенчески чистый и прекрасный.

И еще одно.

У Григория Петникова — поэта, далекого от лирического склада Квитко, есть удивительный по тонкости воспроизведения оригинала перевод. Послушайте:

«Бывало, свежие рассветы
Во сне являются и шепчут мне:
«Ты подрастешь,
Цикорию напьешься,
И с нами в путь уйдешь.
И где мы станем,
Там остановишься и ты,
Куда мы двинемся —
И ты за нами».

Так и идет поэт - дитя за рассветами вслед, так и ведет нас за собою...

Н. Терзет. История одной рукописи



олгие годы — тридцать лет — у меня хранился автограф неизданной поэмы Льва Квитко.

Мы со Львом Моисеевичем никогда не были близкими знакомыми, изредка встречались то в Москве, то в Ленинграде, пока нас не сблизила общая работа. Когда в 1942 году я из Перми приехала в командировку в Москву, редактор Детгиза предложил мне заняться переводом новой поэмы Л. Квитко «Сын» — вместе с автором. Военная Москва 1942 года была малолюдна, большинство писателей находилось на фронте, иные — в эвакуации. Не было в Москве и переводчиков, постоянно работавших со Львом Моисеевичем: Е. Благининой, Т. Спендиаровой и других. Этими обстоятельствами и объясняется, по-видимому, неожиданное для меня предложение Детгиза.

Было очень страшно и ответственно браться за работу, не имея опыта, не зная языка подлинника. Но что было делать? Надо же было дать нашим читателям возможность познакомиться с переводом — пусть несовершенно — нового произведения Льва Квитко!

Квитко приходил ко мне в номер на десятом этаже гостиницы «Москва». Был он грустен и молчалив — время и тогдашние события на фронте тяжелым грузом лежали на наших душах. Лев Моисеевич читал вслух и строку за строкой переводил поэму, разъяснял оттенки смысла.

В поэме было около 220 строк — думаю, что предполагалось продолжить историю маленького сироты, взятого из детдома и усыновленного двумя молодыми людьми. Часть подстрочника Лев Моисеевич собственноручно вписал между строк подлинника.

«Однажды приходят в детский дом
муж и жена.
Одеты празднично,
и говорит женщина
заведующему так:

— Мы актеры,
я зовусь Дина, а его зовут Орембай,
мы хотим взять ребенка,
мы обещаем быть (ему)
хорошими матерью и отцом.

Их спрашивает директор,
что и как,

не будет ли ребенку, не дай бог,
чего-нибудь плохого,—
не скупы ли эти люди,
не будет ли для них это обузой,
сможет ли дитя у них расти
здоровым и крепким
и стать со временем
человеком, полезным стране и людям...»

Вместе со Львом Моисеевичем мы подбирали синонимы, пробовали разные варианты русского текста. Работа шла трудно, времени было мало, нужно было спешить, а перевод требовал спокойной, кропотливой, раздумчивой работы. Постепенно складывались строки:

«Вдруг маленький мальчик
Несется, как пуля,
Роняя, толкая
Детишек и стулья.
Веснушки горят на щеках,
На маленьких кулачках.

К гостям подбежал он и на весь зал
Так горячо и звонко сказал:

— Папа и мама! Я рыжий —
и вот
Никто меня в дети себе не берет.
Но я же очень, очень хороший.
Мне нужен папа и мама тоже.
Потому что моих Гитлер убил...»

Разумеется, молодые супруги немедленно влюбляются в мальчишку и начинают его наперебой ласкать. А когда они, взяв своего новоприобретенного сына на руки, собрались уходить, ребенок повел себя точно так, как всегда ведет себя дети — шалуны и озорники — в стихах Квитко:

«...Этот малыш
Обернулся вдруг живо
И сделал поступок
Весьма некрасивый:
Он всем на прощанье язык показал:
— Э-э!
А после родителям важно сказал:
— Папа и мама, идемте домой,
Пожалуйста!»

В оригинале все, конечно, лучше: никак не удавалось передать свободный и гибкий ритм поэмы, ее лаконичную простоту и сердечность. И вот ведь что замечательно: идет сорок второй год, положение на фронтах тяжелое, поэт вместе со всеми советскими людьми переживает эти события, но поэму-то он пишет, как ни странно, о счастье, потому что маленькая семья, где папа — казах, мама — еврейка, а сын — русский, — эта

семья счастлива! Квитко делал то, что и должен делать настоящий поэт: он утверждал, что доброта и любовь, несмотря ни на что, победят злобу и ненависть.

Не помню, сколько времени продолжалась работа. Кажется, меньше месяца. Потом Квитко уехал, поэма тогда издана не была, а рукопись оригинала осталась у меня. Позже выяснилось, что это был единственный экземпляр. К сожалению, из-за небрежного хранения в подлиннике испорчены первые две строки: ведь мы, ленинградцы, покидая родной город, должны были оставлять рукописи в разных местах, в разных руках. Но кроме этих двух строк, все сохранилось, и как я рада, что сохранилось!

Л. Пастернак. Две встречи в Москве



Льва Моисеевича Квитко я знал много лет — может быть, десять, а может быть, и больше. До войны и сразу после войны мы с ним довольно часто встречались у Самуила Яковлевича Маршака, в издательствах, в Союзе писателей, на всевозможных совещаниях и конференциях по детской литературе. Такие встречи, даже мимолетные, доставляли мне всегда большую радость.

Есть люди, которые излучают свет. Таким был Квитко. Возможно, это сказано излишне громко и красиво, но дело обстояло именно так. Бывало, сидишь где-нибудь в конференц-зале Министерства просвещения или ЦК комсомола, слушаешь издали медлительное, спокойное, негромкое выступление Квитко, смотришь на его простонародно-благородное, доброе, милое, то самое — словно для улыбки созданное — лицо, и вдруг ловишь себя на том, что и твои губы складываются в улыбку.

Виделись мы с ним, я говорю, часто, однако ни дружбы, ни даже очень близкого знакомства у нас не было. Когда я произношу имя Квитко, мне прежде всего вспоминается не он сам, а его стихи, самое первое от них впечатление: та волна свежего, чистого, какого-то утреннего воздуха, который вдруг мощно хлынул на нас в то далекое и как будто не самое удачное для поэзии время. В этих новых для нас, но уже совсем зрелых стихах, даже в переводе сияла та чистота детской души, какой не было, пожалуй, ни у Чуковского, ни у Маршака, ни тем более у блистательного мастера и столь же блистательного озорника Даниила Хармса.

Несколько раз Лев Моисеевич читал при мне свои стихи в оригинале, по-еврейски. Это было особенно хорошо. В некоторой монотонности, талмудистской напевности этого чтения таилась какая-то добавочная прелесть.

Но что же сохранила память, кроме этого чтения и милых улыбок? Пожалуй, таких встреч, которые оставили след более или менее глубокий, было всего две.

Летом 1942 года, отлежавшись после блокадной питерской зимы в московском госпитале, я вышел оттуда, что называется, гол как сокол. Дела мои сложились так, что некоторое время печататься я не мог. А жить надо было. И вот я решил сделать то, чего никогда или почти никогда прежде не делал, избегал делать: пошел в так называемое бюро пропаганды художественной литературы и взял путевку на платное выступление в какой-то детской библиотеке Краснопресненского района. Перед выступлением я, как всегда в таких случаях, дурно спал, волновался и шел в эту библиотеку, как на казнь или на поношение. И никогда не забуду, до чего же я обрадовался, как сразу потеплело и повеселело у меня на душе, когда в канцелярии библиотеки я увидел Льва Моисеевича Квитко. Он тоже пришел с путевкой и тоже должен был выступать.

По моей просьбе он выступил первым. Читал стихи, давно и хорошо

знакомые ребятам (такие, как: «Письмо Ворошилову») и новые, еще нигде не печатавшиеся. Читал по-русски и по-еврейски. По-русски чуть-чуть скванно, но без всякого акцента (если и с легчайшим акцентом, то не с еврейским, а скорее с белорусским или украинским). Я заметил и запомнил, что, какие бы стихи он ни читал — веселые или патетические, — слушали его с не гаснущими ни на минуту улыбками. И хлопали ему как-то особенно, дружно, весело, не по обязанности, а от полноты души.

Потом пришел мой черед. Я прочел рассказ «Честное слово», написанный перед войной и опубликованный в июньском, уже военном номере журнала «Костер». Вслух я читал эту вещицу, если не ошибаюсь, впервые, читал отменно плохо, больше чем следовало волнуясь, но ребята выслушали меня до конца, посмеялись, похлопали, попросили, как это часто бывает, рассказать, «что было с этим мальчиком дальше»...

А когда через полчаса или час, распростившись с читателями, мы с Квитко вышли на пыльный московский перекресток, к трамвайной остановке, Лев Моисеевич сразу заговорил об этом моем рассказе: какой, мол, это славный, умный, добрый, тонкий рассказ.

— И сколько мальчиков и девочек он научит хорошему, сделает их честными! — сказал он, одаряя меня своей чистой наивной улыбкой.

Я поблагодарил, но не мог не сказать при этом, что, к сожалению, не верю в такую быструю отдачу и что вообще не убежден, что искусство, даже большое, способно так прямо и непосредственно влиять на души тех, кого мы называем читательской массой.

— Ну, а если даже один-два из пятидесяти задумаются — разве это плохо? — сказал Квитко.

Подходил его трамвай, и он как-то застенчиво, как бы извиняясь, протянул мне руку.

— Мы должны учить доброму, — сказал он, глядя мне в глаза. Сказал спокойно, без всякой учительности и наставительности, как бы самому себе.

То что он сказал, было уже и тогда моим твердым и, что называется, выстраданным убеждением. Поэтому я крепко и с удовольствием пожал ему руку.

А вторая, и последняя, наша встреча состоялась ровно год спустя. Столкнулись мы в том маленьком переулочке или тупике, который отделяет здание ЦК ВЛКСМ от Маросейки и где в те годы был вход в Военный отдел ЦК. Этот Военный отдел неожиданно, телеграммой вызвал меня с фронта, вернее, из прифронтовой полосы, где «батальон особого назначения» Московского военно-инженерного училища, в котором я тогда служил, строил так называемые уры (укрепленные районы). Зачем, для какой надобности меня отзывают, я не имел понятия, был озадачен и даже огорчен, потому что в армию пошел добровольно и участью своей был доволен. А Лев Моисеевич шел тогда как раз из Военного отдела и ему было уже известно, с какой целью меня, как и многих других литераторов, приглашают в ЦК. Нам предстояло составлять тексты листовок с обращением к немецким солдатам и той нашей молодежи, которая оставалась на оккупированных территориях.

По-видимому, Квитко заметил на моем лице некоторое помрачение.

— Не огорчайтесь, — сказал он, тронув мою руку. — Может быть, это сейчас гораздо нужнее, чем то, что вы делали там. Хотя там, я понимаю, интереснее. И вид у вас самый боевой.

Не помню, о чем мы еще говорили эти несколько минут у подъезда ЦК, но хорошо помню, что Лев Моисеевич смотрел на меня не обычным, а, как бы сказал, художническим взглядом. И, пожалуй, не удивительно, в Москве я был тогда всего полчаса, только что приехал в метро с Бело-

русского вокзала, и вид у меня, на московский взгляд, был, надо полагать, если и не боевой, то достаточно эффектный: сожженный солнцем, обветренный, усатый, в полевой выгорелой пилотке, в вылинявшей гимнастерке с голубыми летчицкими погонами (наш батальон именовался аэродромным), с шинельной скаткой через одно плечо и вещмешком через другое — таким я предстал перед очами сугубо штатского, такого бесконечно мирного Льва Моисеевича. Он тоже сильно загорел, и этот густой румяный загар его еще больше подчеркивала, оттеняла белоснежная чистота расстегнутой на груди рубашки. В нем было что-то полтавское или харьковское.

А обо мне он сказал так:

— Знаете, вы на кого сейчас похожи?

— На кого же?

— На севастопольского солдата. Из той — Крымской войны.

И улыбнулся. И протянул руку.



Л. КВИТКО.
О СЕБЕ, О ДЕТЯХ И ЛИТЕРАТУРЕ



III

Автобиография



родился в селе Голоскове, Подольской губернии. Точной даты моего рождения я не знаю — 1890 или 1893 год.

Отец был переплетчиком, учителем. Семья бедствовала, и все дети в раннем возрасте вынуждены были уйти на заработки. Один брат стал красильщиком, другой грузчиком, две сестры портнихами, третья учительницей. Отец и мать рано умерли от туберкулеза.

С десяти лет стал на себя зарабатывать. Работал на маслобойне, был красильщиком, маляром, носильщиком у торговца сырыми кожами, закройщиком и заготовщиком мастерских, скитался по разным городам Украины.

В школе никогда не учился. С раннего детства стал придумывать стихи, не понимая их значения и не записывая их по малограмотности. Самоучкой научился читать и писать. Меня ожидала, по-видимому, та же участь, что и старших моих братьев и сестер, забытых мастеровых, которые в молодом возрасте все погибли от туберкулеза.

Но случилось иначе. Революция вырвала меня из беспросветности, подобно многим миллионам людей, и поставила меня на ноги.

Меня стали печатать в газетах, сборниках, и мои первые стихи, посвященные революции, были напечатаны в тогдашней большевистской газете «Комфон», в Киеве. Тогда же я напечатал первую в советской еврейской литературе поэму «Ин ройтн штурм», посвященную вступлению Красной Армии в Киев.

Все же революцию я воспринял скорее инстинктом, чем сознательно, и когда одно киевское издательство в 1921 году предложило мне, наряду с другими еврейскими писателями, выехать за границу на два года, пообещав мне обеспечить возможность учиться, что было моей постоянной мечтой, я охотно согласился.

В Берлине я с трудом перебивался. Советское торгпредство

в Берлине, идя мне навстречу, напечатало два моих сборника: «Украинские народные сказки» и «Белорусские народные сказки».

В начале 1923 года я переехал в Гамбург и стал работать в порту при солении и сортировке южноамериканских кож для Советского Союза. Там же, в Гамбурге, мне была доверена ответственная советская работа, которую я выполнял вплоть до моего возвращения на родину в 1925 году.

Я написал целый ряд книг как для взрослых, так и для детей; некоторые из них были переведены на языки народов СССР, и Правительство, награждая советских писателей, сочло нужным и меня отметить высокой наградой (орденом Трудового Красного Знамени).

21.X.43

Всегда с Павлом Тычиной об Ошере Шварцмане

В долгие зимние вечера, когда поэта особенно тянет работать, или в летние сумерки, когда шумная, наполненная детскими голосами улица громко врывается в открытые окна, слышится вдруг тихий-тихий, короткий стук в дверь. Так тихо, необычайно деликатно может стучать один только Павло Тычина.

Павло Тычина изучает еврейские тексты стихов Ошера Шварцмана, и ему нужно кое-что выяснить. Посещение двух таких поэтов сразу — мне особенно по сердцу.

О том, как замечательный украинский лирик переводит Шварцмана — совсем особый разговор. Сколько терпения и проникновенности в каждое слово, сколько любви к нежной и героической личности поэта!

Тычина держит сборник стихов Шварцмана бережно, словно некую драгоценность. Он указывает мне на строки, к которым приложены изящные тычиновские записочки-примечания на украинском языке. Тычине хочется еще и еще слушать о Шварцмане, и он просит меня рассказать все, что я знаю о нем. Мы тихо сидим и говорим о любимом поэте.

...Это было в начале революции в Киеве, в великие дни народных восстаний и боев на Украине. Киев кипел, взбудораженный событиями, и в котле этих событий формировалась совершенно небывалая новая поэзия.

Перед моими глазами стоит Ошер, высокий, статный, с узким, живым улыбающимся лицом, которое выражает доверчивость и дружбу и вызывает у нас в ответ те же чувства. И разве это не достойно удивления? С юности находясь долгие годы в царской страшной казарме, воспитанный на ее омерзительной грубости и жестокости, много времени проведший в окопах, он непрерывно подвергался опасности, участвуя в резне, которая даже самое сильное сердце могла превратить в камень. И все же он сохранил удивительную нежность, чистоту и мужество

поэта, горячую веру в справедливость на земле, и за все это готов был сложить голову.

В те дни он иногда забирался на четвертый этаж дома на Владимирской улице, где я тогда жил. От его темного полушубка и высокой меховой шапки, от всех его движений, от горячего сердца и веселого разговора — сразу становилось тепло в моей нетопленной комнате.

Выпивая чашку чая с очень малым количеством монпансье, как тогда водилось, мы не могли досыта наговориться, взволнованные совершавшимися событиями.

Большой радостью было для меня видеть, как Ошер смеется. Высокий, ладный, он, как дитя, чуть не валился на пол, захлебываясь от смеха и заражая всех своим весельем. Со свойственным ему волынским произношением сердечно читал он свои стихи и еще более сердечно выслушивал чужие. Во всем его облике было нечто притягательное, обворожительное. Возможно, этому причиной было также необычайное очарование того времени, людей той эпохи и ее поэзии.

Все черты его богатой героической природы живут в его стихах. Личность Шварцмана сложилась под влиянием еврейской и украинской народной поэзии, поэзии Шевченко, под влиянием подспудных революционных сил народных масс. В еврейской литературе он был началом новой человеческой формации, новой поэзии, целью которой было — отдать всего себя служению народу.

Таким я видел Ошера Шварцмана — поэта и героя.

Перевела с еврейского Б. Квитко

Наш читатель



оварищи, я должен сделать маленькое предисловие. Я плохо говорю по-русски. Здесь выступают мастера русского слова, а я плохо говорю, думаю, что вы особенно сердиться не будете.

Голоса. Нет, нет.

Квитко. В Сталино однажды приехала бригада писателей. На банкете вышло так, что одного писателя посадили в дальнем конце стола, рядом с одним чрезвычайно скромным на вид старичком.

Этот писатель недавно возвратился из зарубежной поездки. Ему было немножко обидно, что он сидит в конце стола, что не с кем даже интересно побеседовать. Сидел скучал. А потом начал все-таки беседовать с этим старичком. Спрашивает старичка: «А что там у вас на заводе?» Старичок отвечает: «На заводе — ничего». — «Но все-таки, как вы работаете?» Старичок вынимает записную книжку и читает: «На заводе в Германии такая-то фирма вырабатывает столько-то деталей, а у нас в цехе перевыполнили выработку этих деталей на 50%. На таком-то заводе в Париже делают другую деталь, вырабатывают в месяц в таком-то количестве, а наш цех, вырабатывающий эти же детали, перевыполнил их выпуск на 20%. А вот в Америке, в Нью-Йорке, делали другую деталь, и выработку этих деталей мы также перекрыли. Вы, кажется, были в заграничной поездке, — спрашивает вдруг старичок, — скажите, пожалуйста, писатель Фейхтвангер, по-вашему, написал хорошую книгу? Я ее читал, по-моему, действительно хорошая книга. А у вас как? Что пишете? Я читал Мальро, прекрасные рассказы, действительно хорошие. А у вас как?»

Мы мало учитываем, как все выросли в нашей стране, абсолютно все. Скромный вид этих людей скрывает множество прекрасных человеческих качеств. (*Обращается к президиуму.*) Можно так сказать? (*Аплодисменты.*)

Какие они, эти мастера высокой, прекрасной, чудесной жизни, какие они скромные, какие они простые и как они просто обо всем говорят.

Стенограмма выступления на первом совещании по детской литературе при ЦК ВЛКСМ, Название дано составителями.

Тот же писатель, о котором я говорил, возвратился опять в Киев. Он все это рассказал, и мы почувствовали все, что было с ним. А мы, писатели, когда что-либо сделаем, пусть это имеет даже некоторый успех, мы слишком много шумим вокруг этого (*Аплодисменты*).

А какие внуки у этого старика!.. Маленький хлопчик, который живет на Тракторном заводе в Харькове, спрашивает:

— А что там за этим двором нашим, что там такое?

— Другой двор.

— А за этим вторым двором — что?

— За этим вторым — третий.

— Ну, а что за всеми этими дворами, что там?

Хлопчик настойчиво добивается узнать тайну пространства, тайну мира. Кто как не детский писатель должен ему на это ответить?

Возглас. Правильно! (*Аплодисменты*.)

Квитко. Шестилетняя девочка спрашивает подругу: «А ты скажи, ты тоже красная?» Та отвечает: «Когда я надеваю красное платье, я красная!» — «Да нет, у меня красного платья нет, а я красная!» Подруга недоумевает, недовольна. Она не знает, как это можно быть красной без красного платья, а вторая девочка не в силах ей объяснить. Помочь им может детский писатель.

Мать беседует со своей приятельницей. Возле них играет маленькая девочка. Мать говорит приятельнице о ком-то: «А знаешь, она прекрасный человек, она всех любит». Шестилетняя девочка отрывается от игры, подбегает и говорит: «Мама, как это она всех любит? Разве хорошо всех любить? А буржуев любить можно?»

Помогаем ли мы, детские писатели, разобраться ребенку во всех этих волнующих его вопросах?

Мы научились прекрасно писать о животных, о солнце, о природе. Но о том, что мы создали сами и чего до сих пор нигде в мире не было, мы еще не научились писать. Ведь стхановское движение, тракторы и вся наша жизнь на селе и в городе — ведь все это мы создали, и об этом мы должны научиться писать как следует.

Почему я говорю, что мы должны научиться писать? Я думаю, товарищи, что о литературе для детей нельзя сказать: «детская литература московской школы» или «ленинградской школы». Это литература советской школы!

Голоса. Правильно! (*Аплодисменты*.)

Квитко. В создании этой литературы принимают участие

все, кто живет в нашем Союзе. Там, где живут советские люди, там есть советская культура, а там, где создается советская культура, там создается детская литература, важная равным образом и для Ленинграда, и для Сибири, и для Украины, и для всех. Совершая поездку по Днепру, я видел, как преобразились его берега, там выросли чудесные постройки, Днепрогэс, новые заводы. Они полны красоты даже внешне, уже не говоря о глубоком содержании, которое вложено во все это. И мы, детские писатели, прямо преступники, потому что до сих пор не рассказали обо всем этом даже самым маленьким детям.

Нам особенно надо позаботиться о дошкольной книге. К дошкольным книгам нужно относиться с особенно большой заботой. Книги для детей 12 лет читают только двенадцатилетние дети и дети 10—14 лет, а книги для взрослых — вам ясно — читают взрослые; книги же для дошкольников читают две аудитории: читают и взрослые и дети. Значит, эти книги должны быть вдвое лучше, чем все другие, потому что они обслуживают и взрослых и маленьких. И книга, сделанная плохо для маленьких, конечно, не может увлечь взрослых. У нас не должно быть таких книг!

Мне кажется, что книги для дошколят в процессе чтения составляют коллектив в примитиве. Писатель — первый член коллектива, художник — второй член этого коллектива, третий член — это воспитатель, мать и учительница, четвертый член этого коллектива — сам ребенок. В этом коллективе, как в фокусе, сходятся четыре силы.

Если, по моему мнению, первые три члена этого коллектива не будут равноценны по качеству (Голоса: «Браво, правильно!»), если этого не будет, если один из этих хромает, то четвертый, который является самым главным в этом коллективе, — ребенок — не получит того, что ему нужно, не будет эффекта, которого мы хотим. (*Аплодисменты.*)

Товарищи, хотелось бы, чтобы нас, украинских писателей, больше переводили. Может создаться впечатление, будто мы навязываем переводы.

С. Маршак. Так никто не думает.

Квитко. Если так никто не думает, значит, прекрасно, но мне кажется, что те задачи, которые стоят перед детским писателем, мы можем выполнять только общими силами. Вот у нас есть, например, такая чудесная тема, как Красная Армия, на эту тему можно написать много хороших книг, и уже кое-что написано, но не переведено. А в русской литерату-

ре я пока не знаю хороших книг для детей о Красной Армии. Может быть, вы знаете?

Голоса. Не знаем.

Квитко. Над этой темой работают и на Украине, и на Кавказе, всюду, где есть советская культура, где есть советская жизнь, там работают над этой книгой.

Почему детским писателям РСФСР не познакомиться с тем, что сделано на эту тему в других республиках, может быть, там есть хорошие идеи, мысли, которые можно перенять.

Голоса. Правильно.

А. А. Андреев. Это не только в детской литературе, к сожалению.

Квитко. Вот почему мы так благодарны Корнею Ивановичу Чуковскому, который взял на себя труд, такой тяжелый и такой неблагодарный,—познакомиться со всеми нашими книгами, языка которых он почти не знал. Я был крайне удивлен, когда увидел, как работает этот человек,—ученый, талантливый, совершенно не имеющий свободного времени.

Он сам сделал себе подстрочник, изучил азбуку, сделал латинку, исписал массу тетрадей, чтобы познакомиться с украинской и еврейской детской литературой. Нам всем нужно у него учиться. Нам нужно учиться такому культурному, настоящему советскому подходу к работе. (*Аплодисменты.*)

Это значит, что он помогает нашему интернациональному воспитанию. Товарищи, я вас, наверное, уже измучил.

С места. Ничего, ничего, просим.

Квитко. Наша партия строит для детей дворцы. Мы все это видим. Я был на польско-румынской границе и видел, что даже в маленьких городках строятся прекрасные дворцы...

А мы, детские писатели, детские художники, работники издательств страны,— все мы строим еще один чудесный дворец, дворец детской литературы, и в эту стройку каждый народ вкладывает свои лучшие таланты и материалы.

Этот чудесный дворец детской литературы, мы все уверены, будет в скором времени достроен! (*Аплодисменты.*)

(Участники совещания просят тов. Квитко прочитать свои стихи. Тов. Квитко читает на еврейском языке стихотворения «Медведь» и «Анна-Ванна бригадир». Тов. Чуковский читает начало стихотворения Квитко «Ворошилов».)

К. Чуковский. Я думаю, нам следовало бы устроить вечер стихов тов. Квитко. (*Аплодисменты.*)

Школярство ребят Советской Украины

Лине в дол веселий липень
Из зеленим в лузі листом,
З ясным сонцем, славним цвітом,
З буйним дощиком краплистим.

(Вася Боровой, 7-й кл., Пилиповка)



остаточно ознакоми́ться с творчеством советских ребят, чтобы увидеть, какое чудесное, героическое поколение мы воспитываем.

Перед нами сборник творчества украинских ребят «Щаслива юність», изданный Детиздатом Украины к юбилею комсомола. В сборнике принимают участие 63 человека, помещено свыше 80 стихотворений, сказок, рисунков. В творчестве этом живет и сверкает всеми цветами наша действительность.

Ученик 9-го кл. Олесь Панасенко из с. Бобрик с любовью обращается к комсомольскому знамени:

Брат мій старший тебе розгорнув,
Коли смертю війнув кулемет.
Ти, як сонце, тоді спалахнув
І повів юне плем'я вперед.
Брат упав під шалену пургу —
Тільки слава про нього в житті...
Комсомольську кров дорогу
Ти вбирав на жорстокий путі.
...Гей, ідуть по твоєму сліду
Хто душею вогнено цвіте,
Так приймай й мою руку тверду,
Й моє серце палке, молоде.

А Дмитро Куровский (8-й кл.) горячими поэтическими строками говорит о славных первых походах комсомола:

В душі вашій воля жадана
Ясніла, як прапор яснів.
Вас дух зненависті до пана
На банду Зеленого вів.

І холод, і спека, і злива
Не в силі були проти вас,
Ніколи в упертих, сміливих
В вас племінь завзяття не гас.

Конечно, пустые, начиненные трескучими фразами стихи, проскальзывающие иногда в нашей периодической печати, также влияют и на детское творчество, есть строки и целые строфы трафаретные, крикливые, выпирающие из того свежего и непосредственного, что присуще творчеству наших ребят. Несомненно, что с дальнейшим общим развитием их вырастет также восприятие настоящего, подлинного в советском искусстве, и все наносное, неорганичное отпадет. Что же касается их будущего, то оно им достаточно ясно:

І ми бути хочемо,
Як Щорс і Чапай,
Щоб обороняти
Свій радянський край.
А може, з нас, друзі,
Як підійде час,
Хтось писати стане
Так, як сам Тарас.

(Павло Чмыр, 7-й клас, с. Грузька)

Я найщасливіший у світі,
Бо я живу в Країні Рад,
Де медом яблука наліті,
Де двічі родить виноград.
Як я родивсь, казала мати:
«Зростає щасливий, сину мій,
Тобі не доведеться знати
Тих мук, що знав їх батько твій.
Люби одинадцять республік,
Де весь народ — сім'я одна,
Де пісня голосу не губить,
А громом в просторі луна».

(Вася Козубенко, с. Дмитровка)

А вот одно пионерское звено 133-й Харьковской школы сочинило коллективную песенку о своем будущем; веселости и размаху этой песенки могут позавидовать дети всего мира.

Радостно отметить, что основными источниками для оформления своих чувств и мыслей служат этим талантливым детям народные и классические образцы. В песне о Ленине Вася Моисеенко, уч. 6-го класса с. Бабаи, поет:

Ой, серце моє, серце,
Чому таке сумне,
Чому нерівно б'є-шся,
Чому смутиш мене?

...Від чорної від звістки
І туга і одчай...
«В Москві сьогодні, друже,
Сховали Ілліча»...

Стихи эти хоть немного и подражательны, но основное в них народное, шевченковское [...]

...Или такие замечательные стихи, написанные М. Мильманом (9-й кл., Киев):

Ходят, пенясь, волны крутолобые,
Ходят, пенясь, синие днепровские,
И на ошупь удивленно пробуют
Новой набережной камни плоские.
Волны тихо шепчут: «Вот диковина.
Горе нам. И мы в гранит закованы.
Может, нам далеко плыть не велено?
Поглядите зорче: не в Неве ли мы?»
С древних волн спадает пена снежная.
Не узнать Днепра песчанобрешного.
«Что за люди нынче, за могучие,
Властвуют над грозowymi тучами!
Покорили ветер неотесанный,
Пляшущий над самими утесами,
Да и нас-то, верно, тоже не помилуют.
Ой, крепки вы, камни-плиты плоские!»
Ходят, пенясь, волны синекрылые,
Ходят, пенясь, быстрые днепровские.

Можно было бы привести много стихов и песен вдохновенных, полных горячей любви и преданности родине и Красной Армии, стихов, посвященных пограничникам, славным летчикам, походам гражданской войны, героям этих походов, стихов о природе, о солидарности и дружбе народов, о личной дружбе учеников:

Дружба — глубже морей,
Радостней солнца летнего.
Другу расскажешь все —
Тайное и заветное.

(Дора Шток, 8-й кл., Харьков)

Хотелось бы сказать хорошее также и о прозе и о замечательной сказке этого сборника, и о рисунках и скульптурных работах, свидетельствующих о талантливости их создателей. Многого еще хотелось бы сказать, но все это невозможно вместить в маленькую статью.

Несомненно, что в этом сборнике мы встретились с целым отрядом талантливых детей.

Закончим заметку о детском творчестве ребят Советской Украины стихами Александра Дудка (7-й кл. Курмановской МТС на Черниговщине).

Ой, як гарно в лісі, в лісі погуляти,
По лісу ходити, квіточок нарвати!
Квіточки хороші, квіточкі ці алі,
Пролісок блакитний, пахучі фіалки,
Пахучі фіалки і ще і лютики,
Біленькі, чорненькі і метелики.
Пташка заспівала, соловей тьохкоче,
Погудяти в лісі, у лісі охоче.
Бджілка пролетіла, бджілка загуділа,
Бджілка на пахучу ось квіточку сіла.
У яру, під лісом, вода ще тече,
І промінням ясним сонечко пече.

Ж., «Детская литература», 1938, № 18—19.

О песне для малышей

А ва пестро раскрашенных, веселых жирафа стоят на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Они держат на своих высоко поднятых головах красное полотнище, на котором крупно написано: «Добро пожаловать». Это ворота одного из многочисленных детсадов, переехавших на лето в лесную местность Ленинградской дороги.

Во дворе, среди высоких сосен и елей, расставлены большие ярко-красные грибы, из-под которых играющие дети выглядывают, точно маленькие зверушки. Тут и качели, и площадки для игр, а в стороне стоит легкий фанерный игрушечный домик, величиной с большой стол, с голубыми окнами и дверью. Дети играют в нем и вокруг него, а если придет в гости мама, ребенок пригласит ее туда. Войти мама не сможет, она сядет у порога, а дочь внутри, у раскрытой двери. Сидят, беседуют. Некоторые заняты велосипедами: падают и дальше едут, падают и перегоняют друг друга.

Иные стоят чинно у столиков, заваленных еловыми и сосновыми шишками. С помощью пластилина из сосновых шишек делаются танцовщицы, а из длинных еловых — бойцы. На столах вырастают целые части Чапаева, парад на Красной площади... Весь двор полон захватывающих, интересных уголков.

Сколько нежной заботливости о ребятах, сколько возможностей для самых фантастических игр!

В древней сказке рассказывается, почему народ избрал пастуха своим вождем. Народ присмотрелся, как он пасет овец. Сначала выводит на луг самых маленьких ягнят, чтоб им достались нежные верхушки трав, которые легче всего разжевать. Потом выводит старых, слабозубых овец, чтоб им досталась средняя часть травы, тоже мягкая еще. Лишь потом он выводит молодых, здоровых, которые своими крепкими зубами разрежут и самые жесткие остатки.

«Тот, кто умеет выказывать такую заботливость к немym существам,— решили люди,— тот сумеет проявить преданность и любовь к своему народу».

Тот, кто умеет так заботиться о детях, тот ведет народ к победе и счастью.

После завтрака собираются в большой веселый поход в лес. Непринужденными рядами со всех улиц направляются детские сады в облюбованные места. Беззаботно болтая, в трусиках и испанских шапочках, идут они. Круглые лица, смуглые, как у цыганят. Светлые глазенки захвачены всем, что происходит вокруг. Проходят мимо детской железной дороги с настоящим маленьким паровозом и настоящими маленькими вагончиками. Дети-машинисты и дети-кондукторы с замечательной серьезностью и достоинством выполняют важную работу настоящих железнодорожников. Но главным образом увлекает их всех своей притягательной силой паровозный гудок, который не скупится: он гудит, когда надо и когда захочется, пока, наконец, паровоз не подкатывает свои четыре вагончика с девочками, одетыми в форму кондукторов, на ступеньках и не уносится с ними.

И веселые игры, и эти ежедневные прогулки ранним утром в лес, и все, встречающееся на пути, навсегда врежется в память малышей.

Что, однако, не останется в их памяти — это детские песни, придуманные специально для малышей.

Каждый день дети идут с песнями на прогулку. Каждый день слышу я их нестройные, милые голоса. Только поют они не те песни, что специально для них написаны, а те, которые написаны для взрослых: «Если завтра война», «Страна моя» и др. Поют во весь голос и с большой охотой, хоть слова и трудны для их возраста.

Но удивляет не то, что наши дети с таким увлечением поют популярные песни всей страны, а то, что они так неохотно поют песни, предназначенные специально для них. Ведь издавались-то эти песенки именно для детей — кто же их будет петь?

На мой вопрос: «Почему вы не поете детских песен?» — воспитательница ответила: «Детские песни мы разучиваем с детьми, а эти они сами поют».

Что же здесь происходит? По-видимому, как правило, песня идет сверху вниз: от взрослого к ребенку. Песня связана с голосом матери, любимого человека и со значением, которое придается песне родными, близкими. Это делает песню особенно притягательной для ребенка.

Взрослые же поют только те песни, что соответствуют их душевному состоянию, те песни, которые выражают их соб-

ственные мысли и чувства. Значит, если мы хотим, чтобы дети любили сочиненные для них песни, они должны быть полноценны, должны быть любимы также и взрослыми. Они должны быть по-настоящему художественными, насыщенными мыслью и чувствами,— все равно, будь это большая серьезная тема или только забавная шутка.

А чем могут привлечь внимание детей такие примерно песни:

Шел Андрюша на прогулку,
Подцепил на шляпу булку.
Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!
Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!
Положила в кашу Нина
Вместо масла керосину.
Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!
И т. д.

Или же:

Вот автобус к нам бежит,
И гудит он и шумит.
И шофер есть на нем,
Управляет он рулем.

Мы автобус подождем,
Всем найдется место в нем.
Заберет он нас с собой,
Отвезет нас домой.

Я не берусь судить о музыке, я хочу только подчеркнуть, что крайне необходимо, чтобы оба участника создания песни — поэт и композитор — были одинаково сильны, потому что если фальшивит один из них, то фальшивой становится и вся вещь. В большинстве детских песен этого соответствия нет. Они фальшивы, поверхностны, скучны и, значит, не могут найти отклика ни у взрослых, ни у детей.

Этот в высшей степени важный жанр детской литературы — запущен.

Детская песня не смеет оставлять детей равнодушными. В ней должны быть полноценными и музыка и слово. Только такая песня будет жизненной, захватывающей, надолго запомнится.

Создание любимых детских песен — дело чести композиторов и поэтов нашей страны.

Несколько слов о поэзии Павла Тычины



было бы неправильно судить о творчестве П. Тычины для детей на основании только двух книжек, изданных Детским издательством. Вся поэзия Тычины солнечна и правдива, а солнечное и правдивое равно хорошо для всех возрастов.

Гаї шумлять —
Я слухаю.
Хмарки біжать —
Милуюся.
Милуюся-дивуюся,
Чого душі моїї
так весело.

.
Щось мріє гаї —
Над річкою.
Ген неба край —
Як золото.
Мов золото — поколото.
Гремить-гремить ріка,
Як музика.

Павло Тычина обладает абсолютным слухом для восприятия всего, что касается души его народа, он обладает абсолютным слухом для глубокой и разнообразной инструментовки украинской народной поэзии. Он музыкант в поэзии. В творчестве П. Тычины вы узнаете все яркие элементы характера украинского народа. Поэтому поэт так близок сердцу как взрослого, так и ребенка. Читая одно его стихотворение, хочется читать еще, точно так же, как, слушая одну шевченковскую или народную песню, хочется слушать еще.

Появление П. Тычины в начале революции было точно появление тонкого инструмента, подготовленное народом для того долгожданного времени, когда он, народ, добьется своего освобождения.

Десь краї казкові,
Золоті верхів'я...

Тільки шлях тернистий
Та не ті верхів'я.
Ходять — світять зорі,
Плинуть хвилі в морі —
В ритмах на верхів'я!
Світ в моєму серці,
Мрій танок, світанок.
Ти мой світ, мій друже,
Зоряний світанок.
Я твої очіці,
Зорі, зоряниці
Славлю, як світанок!

Поэзия Тычины — лучший показатель того, как богатство народного языка, его музыкальность, образность, сохраняя все чувства и своеобразие красок, врастает в ткань произведения поэта и возникает как новое качество.

Как часто в нашей поэзии народность подменяют многословием, чрезмерным растягиванием разговорной фразы, в результате получается — балагурство. Не так у Тычины.

Тычина, который мастерски владеет языком и чувствителен к сокровеннейшим его проявлениям, обходится со словами скупой и точной. Поэтому речь его проявляет всю свою обаятельность и силу.

А я у гай ходила
По квітку ось яку,
А там дерева люлі
І все отак зозулі
Ку-
ку.

Я зайчика зустріла,
Дрімив він на горбку,
Була б його спіймала,
Зозуля ізлякала:
Ку-
ку.

Если поэзия есть самый экономный выразитель больших чувств и мыслей, то Тычина — один из немногих, которые умеют выразить большое в коротком слове. Таковы его стихи «Три сини», «Повітряний флот», знаменитые стихи «На майдані» и др. В считанных строках выражено обилие чувств, драматических моментов.

Драматичность и действенность являются — после музыкальности — вторым элементом в поэзии Тычины. Этим дышат все его стихи: «Плач Ярославни», «Осінь така мила», «Пісня трактористки», «Повстанці», сборник «Чернигів». И это не вы-

думанная драматичность у писательского стола, но, как в народной песне,— подлинная жизнь.

Поэтому ясно, почему П. Тычина особенно силен в выражении чувств советского гражданина.

Вставай, хто серцем кучерявий!
Нова республико, гряди!
Хлюпни нам, море, свіжі яви!
О земле, велетнів роди!

Неумолимо звучат его слова против врагов народа, он то ранит их острием украинской иронии, то гневом поражает в самое сердце. К такому роду стихов принадлежат стихи «І од царів і од вельмож», «Народи йдуть», «Ленін», также стихи о Красной Армии, о комсомоле. Особенно глубоко и ярко выразил поэт чувства гражданина в известном стихотворении «Партія веде» и др.

Павло Тычина — один из самых лучших поэтов нашей страны, в нем сочетается редкая гармония — личность поэта и его творчество. Тычина — в поэзии, как в жизни, и в жизни, как в поэзии,— яркий, последовательный, правдивый.

Детским издательством издана, в прекрасном переводе С. Маршака, книжка П. Тычины «Ивасик-Телесик», подлинно поэтический пересказ народной сказки. В меньшей ли мере подходит для детей целый ряд других стихов П. Тычины? Настоящая поэзия равно радует как взрослых, так и детей. Сборник избранных произведений этого поэта на русском языке в издании Детиздата будет желанной книгой всех советских ребят.

День гибели фашизма станет праздником для всего свободолюбивого человечества



орогие друзья и товарищи!

Два рода немцев видели мы на нашей земле. Наглого, оboжравшегося, наступающего кровавого зверя и скорчившегося от страха, с искаженной, окровавленной мордой пса, удирающего от смертельных ударов Красной Армии. И оба эти облика вызывают одно желание: поскорее смести эту мразь с нашей священной земли.

Лишь сейчас, когда наши города и села освобождаются от врага, вскрывается весь кошмар, который принесли с собой немецко-фашистские мерзавцы. Лишь теперь полностью вскрываются все злодеяния, совершенные ими на нашей земле. Покрытые несмываемым позором, уйдут они навеки в историю: навсегда легла на них печать детоубийц. Да будет бесплодной земля, вырастившая этих гадов!

На веки веков нависнет проклятие над днем их рождения, а день их бесславной гибели станет праздником для всего свободолюбивого человечества! Сколько жизней, сколько тысяч невинных младенцев, рожденных на радость и воспитанных на счастье всего мира, задушено немцами.

Неслыханные пытки и истребление наших детей — таковы методы воспитания, выработанные в немецких штабах. Детоубийство как будничное, повседневное явление, — таков изуверский план, который осуществляли немцы на временно захваченной ими советской территории.

В спешке наступления красноармеец рассказал нам, что он нашел в своем родном местечке Рясне после его освобождения. Все евреи местечка — от мала до велика — раздетые догола, свыше трехсот человек, лежали убитыми в огромной яме за местечком. Среди убитых были и его мать и отец, братишки и сестры, молодая жена с дочкой-малюткой Ханеле.

Наши дети привыкли к тому, что взрослые счастливы их радостями, готовы сделать для них все, и они с огромным дове-

рием тянутся к каждому дяде, которого они видят. И когда немецкий офицер, улыбаясь, подошел к ребенку с красивой бутылочкой и кисточкой в руке, ребенок доверчиво потянулся к «дяде». А через несколько минут ребенок, отравленный этим подлеем, корчился на земле в предсмертных судорогах, а немец «с интересом» наблюдал эту картину мучительной смерти малютки.

Еврейских детей немцы истребляют до единого. Разорвать надвое младенца, разбить ему головку о камень, о стену, швырнуть его на землю, бросить в огонь, закопать живым в яму — все это для немца спорт, средство к «оттачиванию духа» для предстоящего захвата вселенной.

В Умани жил всеми уважаемый детский врач. Немало детских жизней спас этот человек. Когда он увидел приближающихся к его дому немцев, он вместе с женой и ребенком принял яд, чтобы не пасть от руки палачей. По приказу немецкого начальства доктор и его семья немедленно были доставлены в больницу. За ними ухаживали самые лучшие врачи, их лечили, кормили, окружили неослабным вниманием. А как только они действительно вернулись к жизни, они торжественно были проведены по всему городу и повешены.

Один из гитлеровцев похвалялся: «Я сам, своей рукой, убил 14 детей, и от этого моя голова только окрепла».

В Орле немцы организовали специальный детский дом, где демонстрировали свои методы «воспитания». Дети десятками гибли от пыток и голода. Немцы приходили «инспектировать» детдом — издеваться над детьми. Коваными сапогами бил инспектор четырехлетнюю Белу Борзенкову, а когда она теряла сознание, ее в нетопленной комнате обливали ледяной водой — и все это только за то, что она похожа на еврейского ребенка. Девочка до сих пор не может прийти в себя от перенесенных пыток — на каждого взрослого она смотрит испуганными глазами, умоляющими: «Не бейте меня, я — маленькая».

Есть ли предел злодеяниям немцев! Есть ли предел нашей боли! Кто в состоянии выразить все муки, все пытки, перенесенные нашими детьми!

Надо крикнуть во весь голос так, чтобы зов наш отозвался в ушах, в сердцах всего мира: если бы не наша Красная Армия, весь мир лежал бы сейчас в руинах у ног убийц. Красная Армия перебила руку, которая протянулась с целью удушить радость мира — детей.

Дети знают об этом, чувствуют это порой сильнее взрослых. Поэтому наши дети всей своей душой и телом преданы Совет-

ской власти, любят Красную Армию и готовы в любой момент помогать ей, сделать все для нее. Красноармейцы, видевшие детей в своих походах, партизаны, дравшиеся с врагом в тылу у него, учителя наших школ с одинаковым воодушевлением рассказывают о помощи, оказываемой нашими детьми в борьбе против врага.

Красная Армия освобождает города и села, Советская власть восстанавливает детские учреждения. Дети принимают в этой работе активное участие. Снова открываются школы, детские дома, детские сады, дворцы пионеров. Дети снова живут в светлых домах, спят на белых постелях, питаются досыта, играют, учатся и снова мечтают о том, чтобы вырасти большими, преданными Родине людьми.

Пятилетняя Таня, Зоя Алексеева, Рита Мачудина, Каля Бесфамильная, Рива Кац, Хана Меерович, сотни и тысячи других детей вывезены красноармейцами из Брянских лесов, в которых эти ребята скрывались. Немало детей подобрали наши красноармейцы на путях своего наступления, в полях, деревнях, сожженных немцами,— детей, чьи отцы и матери находятся на фронте и в партизанских отрядах, детей, чьи родители пали в боях за Родину. Красная Армия везла детей на аэропланах, на автомобилях, укрыв их полшубками, которые красноармейцы нередко снимали со своих плеч.

Дети снова дышат полной грудью, дышат советским воздухом, которым они дышали с первых дней своей жизни. Вернуть детям их детство — огромный подвиг, совершаемый Красной Армией. Красная Армия, сыновья наши, воспитанные на самых передовых идеях человечества, спасли сейчас мир от величайшего несчастья, когда-либо угрожавшего ему. Но потребуется еще много сил, еще немало жизней придется отдать, чтобы добиться полной победы.

Печатается по кн.: Еврейский народ в борьбе с фашизмом. Материалы III антифашистского митинга представителей еврейского народа и III пленума еврейского Антифашистского комитета в СССР ОГИЗ, Государственное издательство «Дер Эмес», М., 1945,

Л.КВИТКО. ИЗ ПЕРЕПИСКИ



IV

Письма Л. Тычины

В этом сборнике читатель найдет ряд материалов к теме «Л. Квитко и П. Тычина»: мемуарный очерк П. Тычины «Слово о друге», статьи Л. Квитко «Беседа с Павло Тычиной об Ошере Шварцмане» и «Несколько слов о поэзии Павло Тычины», соответствующие страницы воспоминаний Б. Квитко. Публикуемые в этом разделе сборника немногочисленные сохранившиеся письма Л. Квитко П. Тычине следует рассматривать лишь в качестве небольшого дополнения к этим материалам.

Дружбу двух поэтов можно охарактеризовать как поэтическую. Каждый из них — проникновенных лириков, накрепко связанных с народной основой, людей с особым, музыкальным (если можно так выразиться) восприятием действительности, — нашел в другом человека, близкого по душевному складу к своему лирическому герою. Для столь высокой дружбы уже не помеха ни принадлежность к разным национальным культурам, ни то, к примеру, обстоятельство, что Л. Квитко был самоучкой, не получившим систематического образования, а П. Тычина — одним из образованнейших людей своего времени, полиглотом и эрудитом. Душевная тонкость и чуткость, органическая поэтичность мировосприятия, пронизывающая не только творческий процесс, но и все жизненные проявления, даже чисто бытовые, — вот, пожалуй, тот фундамент, на котором выстроилась дружба двух поэтов. Разумеется, она не могла не отразиться и на творчестве.

«Начал я учиться у других товарищей, писавших для детей, — рассказывал П. Тычина, — начал я учиться у самих детей, у школьников, у пионеров. Прежде всего учился я переводить. А поскольку у нас на Украине одним из лучших писателей для детей является Л. Квитко — взялся переводить его произведения с еврейского языка» (газ. «На зміну», Харьков, 20 июня 1934 г.).

П. Тычина перевел более полутора десятков стихотворений Л. Квитко, в том числе стихи из цикла «Германия», «Письмо

Ворошилову», «Скрипочка», «Жук», «В гости», «Медведь», «Поросята» («Анна-Ванна бригадир»), «Бабка Блюмця», «Красная кавалерия». По этим переводам К. Чуковский знакомил русских поэтов с творчеством Л. Квитко. Переведенные П. Тычиной стихи Л. Квитко публиковались в периодике, выходили отдельными изданиями, были положены на музыку и приобрели такую популярность, что введенные в заблуждение фольклористы записывали их как народные.

В свою очередь Л. Квитко переводил на еврейский язык стихи для детей П. Тычины (они собраны в книге: Павло Тычина. «Ку-ку». Киев, Детиздат Украины, 1935). Кроме того, Л. Квитко составил и отредактировал книгу избранных стихотворений П. Тычины на еврейском языке: Павло Тычина. Партия ведед. Киев — Харьков, Госиздат Украины, 1936. Вместе с переводами Л. Квитко в эту книгу вошли переводы Д. Гофштейна, М. Хашчеватского, Х. Левиной, И. Фефера, Э. Фининберга, Л. Резника и М. Талалаевского.

Три письма Л. Квитко П. Тычине находятся в архиве П. Тычины (Киев). Четвертое письмо (январь 1941 г.) воспроизводится по газетной публикации. Оригиналы всех писем — на украинском языке (перевод М. Петровского).

14.3.1936

Дорогой Павло Григорьевич!

Очень обрадован Вашим большим успехом. Доклад был прекрасен¹. Все Ваши друзья радуются.

Ваш Л. Квитко

15.X.1936

Любимый и дорогой Павло Григорьевич!

Приветствую Вас из Сухуми, — я живу вдаль от людей, между гор, в долине, где вот этот мой домик — единственный².

До меня дошли вести о том, что Вы написали новые стихи, — очень рад и уверен, что они прозрачны, радостны, как моя долина в солнечный день. Жалею, что Вас здесь

¹ Доклад П. Тычины о влиянии творчества Т. Г. Шевченко на современные литературы народов СССР под названием «Любим гневного Шевченко» был опубликован в «Літературній газеті» (Киев) 12 марта 1936 г. и в том же месяце — в газете «Известия».

² В Сухуми Л. Квитко снимал комнату вдвоем с Евг. Шварцем.



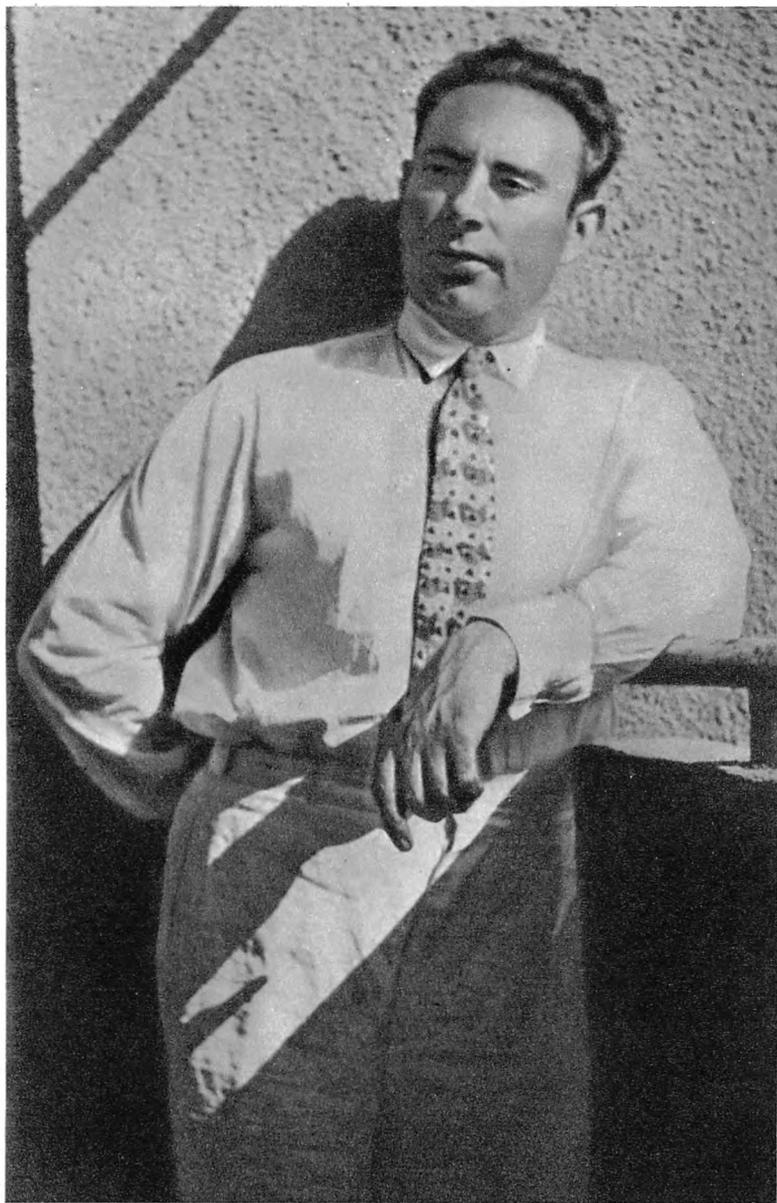
Лев Квитко с женой Бертой Самойловной Квитко. Киев. 1921 г.



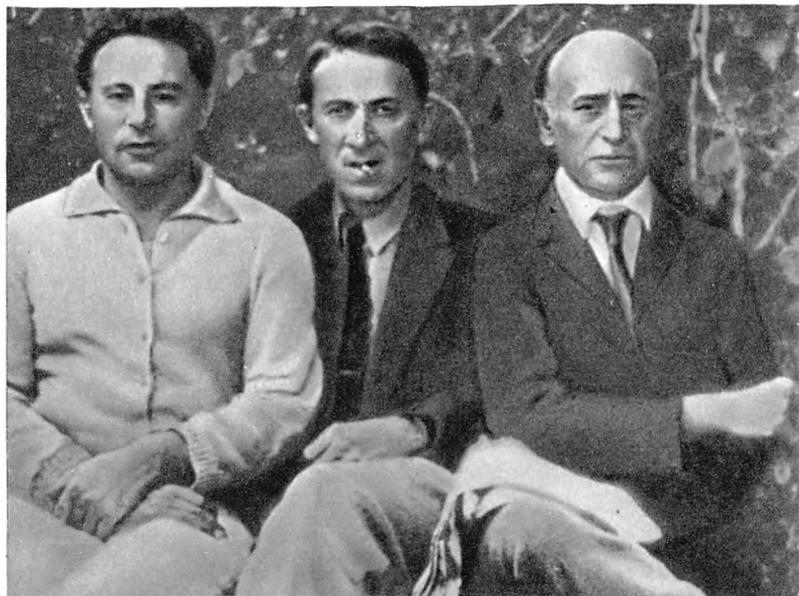
Лев Квитко и И. Рыбак. Берлин. 1922 г.



Лев Квитко с женой и дочерью. Берлин. 1924 г.



Лев Квитко. Харьков. 1932 г.



Лев Квитко, Борис Житков и Г. Петников. Коктебель. 1934 г.



Лев Квитко и Борис Житков. Коктебель. 1934 г.



Лев Квитко. 1936 г.



Лев Квитко среди детей на выставке книг. 1937 г.





Лев Квитко и И. Либман. Одесса. 1938 г.



Лев Квитко. 1939 г.



Лев Квитко. Москва. 1944 г.



Лев Квитко с женой. Подмосковье. 1947 г.



Лев Квитко и Мариэтта Шагинян. Коктебель. 1948 г.



Лев Квитко и Елена Благинина. Коктебель. 1948 г.



Лев Квитко. Москва. 1948 г.

нет,— тут отдых, тут вдохновенно, тут гармония Ваших произведений¹.

Извините, Павло Григорьевич, дорогой, за ошибки.

Ваш Л. Квитко

[1938]

Любимый Павло Григорьевич!

Большое спасибо за песню про Котовского для «Эмес»².

Сейчас пробую переводить еще и товарищам раздал для пробы.

Привет.

Ваш Л. Квитко

[Январь 1941 г.]³

Двадцать четыре года назад стала свободной украинская культура, и одним из ее создателей были, Павло Григорьевич, Вы, так прекрасно заигравший на солнечных кларнетах⁴.

Это было в начале весны недавно поднявшихся освобожденных народов. От Вашей поэзии веяло вольным, широким дыханием, Ваша поэзия освежающе влияла на целое поколение украинских, русских, еврейских поэтов. И теперь, когда мы оглядываемся на путь, пройденный Вами за все эти прославленные годы, мы видим, как Вы бодро поете, призывая безжалостно уничтожать врагов, кто бы они ни были.

Никогда не отступая, с ясной головой и с чистым горячим сердцем Вы пели о вольном народе, о партии, которая ведет⁵, о героической Красной Армии, о победе коммунизма.

Вы пели прекрасно и будете петь так же чудесно, ибо Вы прекрасный сын всех советских народов.

Л. Квитко

¹ Этим приглашением П. Тычина воспользовался лишь в следующем, 1937 году. См. эпизод с приветственной телеграммой больному Сулейману Стальскому в мемуарном очерке П. Тычины «Слово о друге» в наст. сб.

² Речь идет о поэме П. Тычины «Сабля Котовского», которую автор прислал Л. Квитко для перевода до опубликования поэмы на украинском языке. В газете «Дер Эмес» Л. Квитко вел литературную страницу.

³ 27 января 1941 года П. Тычине исполнилось пятьдесят лет. «Літературна газета» (Киев) опубликовала это поздравительное письмо Л. Квитко в номере от 28 января.

⁴ Л. Квитко обыгрывает здесь название сборника стихотворений П. Тычины «Сонячні кларнети» (1918).

⁵ Имеется в виду стихотворение П. Тычины «Партія веде», которое было опубликовано (на украинском языке) в «Правде» от 21 ноября 1933 г. Это стихотворение дало название поэтическому сборнику П. Тычины (1934). Под этим же названием вышел составленный и отредактированный Л. Квитко сборник избранных стихотворений П. Тычины в переводах на еврейский язык.

Письма С. Маршаку



сделал все, что мог, чтобы по моим переводам читатель, не знающий подлинника, узнал и полюбил стихи Л. Квитко. Думаю, что хоть в малой степени я этого достиг», — писал Самуил Яковлевич Маршак К. Чуковскому (июль—август 1936 г.).

Действительно, стихи Квитко в переводах С. Маршака завоевали у советских читателей — маленьких и больших — огромную популярность. Всего С. Маршак перевел шесть стихотворений Квитко: «Письмо Ворошилову», «Ложка-поварешка», «Лошадка», «Урожай», «Жучок», «Юные ворошиловцы». И хотя не все переводы равноценны (более других С. Маршаку удалась переводы стихотворений балладного характера), но ни один из них не стоит ниже того высокого уровня, которым отмечена любая работа, выходящая из рук прославленного мастера поэтического перевода. Удача переводов С. Маршака из Квитко, как и все его переводческие удачи, объясняется не только высочайшим мастерством, но и тем, что в Квитко поэт-переводчик нашел своего поэтического единомышленника, единомышленника и, если можно так выразиться, «единочувствителя». Понадобилась, конечно, и та поэтическая «отвага», без которой, по словам С. Маршака, «мастерство тончайшее мертво»...

Поэтический перевод — главная тема публикуемых писем Квитко С. Маршаку (одно из них написано совместно с К. Чуковским). Ответные письма С. Маршака, к сожалению, не сохранились (за исключением одного письма, адресованного совместно Л. Квитко и К. Чуковскому и публикуемого в примечаниях). Письма дают интересный материал для творческой биографии обоих поэтов — С. Маршака и Л. Квитко, рисуют их дружески-деловые отношения, взаимную заботу о творческих успехах, заинтересованность в развитии советской поэзии для детей. «Мой милый Квитко» — так называет его С. Маршак в наброске дружеского послания (около 1946 года, Барви-

ха), черновик которого сохранился в архиве С. Маршака. Там же находятся черновые рукописи двух неоконченных переводов из Л. Квитко и оригиналы публикуемых писем.

В октябре 1960 года С. Маршак писал вдове поэта: «Я очень хочу быть на вечере, посвященном памяти моего дорогого друга и любимого поэта... Если меня не будет на этом вечере (о чем я буду очень жалеть), пусть почитают на нем какие-нибудь из моих переводов. А когда я поправлюсь (сейчас я очень слаб), я непременно напишу хоть несколько страничек о большом человеке, который был поэтом и в стихах и в жизни».

[Киев, конец июля — начало августа 1936 г.]

Дорогой Самуил Яковлевич!

Здесь, в Киеве, мы с Квиткой¹ окончательно выбирали и рассматривали переводы его стихов на русский язык, чтобы составить из них книжку². И чуть-чуть призадумались над концом «Лошадки». Общий тон превосходен, но есть две-три детали, которые мы решили просить Вас переделать, зная, что Вы сами любите многократно возвращаться к своим произведениям, чтобы снова и снова перерабатывать их. Мы усердно просим Вас в строфе:

Но ты же не видел,
Сосед, его ног

и т. д.

заменить слово **сосед** каким-ниб[удь] другим. И последнюю строфу хотелось бы сделать в таком роде:

(Сосед... ни слова,
Лежит и молчит).
Задумчиво мальчик
У двери стоит.

Мы с Квитко припадаем к Вашим стопам и просим принять именно такой вариант, так как хочется закончить стихотворение не соседом, а мальчиком³.

¹ Вместе с письмами Л. Квитко здесь публикуется совместное письмо Л. Квитко и К. Чуковского С. Маршаку. Оригинал — рукой К. Чуковского.

² Л. Квитко и К. Чуковский работали в Киеве над составлением сборника стихотворений Л. Квитко («В гости». Перевод с еврейского. Рис. В. Конашевича. М.—Л., Детгиздат, 1937). См. об этом также переписку с К. Чуковским в наст. сб.

³ С. Маршак отвечал Л. Квитко и К. Чуковскому в письме из Ленинграда от 28 августа 1936 года:

Здесь благодать. Дыни! Груши! Добрые днепровские ветры, смягчающие летнюю жару.

Ваш К. Чуковский

Измененные тексты просим прислать на адрес Квитко...

«С большой готовностью исполнил бы я Вашу просьбу и придумал новое заключительное четверостишие для «Лошадки». Но это не так просто. Я сделал все, что мог, чтобы по моим переводам читатель, не знающий подлинника, узнал и полюбил стихи Квитко. Думаю, что хоть в малой степени я этого достиг. Но сколько я ни пытаюсь сейчас вернуться к «Лошадке», оседлать ее вновь мне не удастся. Может быть, во время отдыха (я поеду в санаторию в сентябре) я что-нибудь придумаю.

А как удались остальные переводы? Что входит в сборник? Очень желаю книге успеха. Хорошо, если бы и Вы, Корней Иванович, что-нибудь перевели (например, «Анну-Ванну бригадира» или «Бабушку Блюмцю» — кажется, так ее зовут?).

Если еще и до сентября мне придет в голову какая-нибудь удачная замена последнего четверостишия — напишу Вам. Кстати, хочу закончить на отдыхе «Ясли на прогулке...» (С. Маршак, Собр. соч. в восьми томах, т. 8. М., «Художественная литература», 1972, с. 152).

С. Маршак оставил без изменения перевод стихотворения «Лошадка» и не завершил перевод стихотворения «Ясли на прогулке». 5 сентября 1936 года К. Чуковский писал С. Маршаку:

«Дорогой Самуил Яковлевич,

Вы спрашиваете, каков состав редактируемого мною сборника стихотворений Квитки. Состав такой:

— Все переводы Квитки, сделанные Маршаком.

— «Кисанька» — хороший перевод Погореловского.

— «Медведь» — хороший перевод Благиной.

— «Вилка» — старательный перевод Тараховской (я забраковал предварительно около 30 вариантов ее перевода, и теперь вышло непоэтично, но грамотно).

— «Бабка Мирл» — неплохой перевод Спендиаровой.

— И ужасный перевод «Лошадок» (Те лошади шалые) — сделанный М. Светловым. Этот перевод «нравится» Оболенской («почему, не знаю, но он мне нравится»), и хотя я принял его при условии, что Светлов передает его коренным образом, почему-то считается, что он уже и сейчас замечателен.

Там есть ужасная строчка:

«Будешь всадник мчащийся».

— А мне нравится! — говорит Оболенская.

Очень буду рад, если Вам удастся улучшить каким-нибудь фантастическим образом время — и закончить перевод «Яслей». Сейчас Квитко написал великоленную поэму о быке, — о взбесившемся быке, которого укротил рыжебородый Эзра (силач, очень маленького роста, с длинной огненной бородой). Начинается так:

Эзра, Эзра, во из Эзра?

Обещал перевести эту вещь Заболоцкий...»

С. Я. Маршаку

4 января 1937 г.

Дорогой Самуил Яковлевич.

Мы так с Вами и не посидели, очнь жалею, можно было послушать и почитать стихи. Какие-то скомканые дни были, «стихийные» без стихов. Надеюсь с Вами скоро увидеться у нас, в Киеве. Вы обязательно должны приехать, Вы нас обрадуете и много поможете в борьбе за качество, за расцвет детской литературы. Вас любят у нас.

Посылаю стихи, подстрочник плохой¹, к Вашему приезду к нам постараюсь новый написать. Не сердитесь за ошибки в письме.

Ваш *Л. Квитко*

С. Я. Маршаку

30 июня 1937 г.

Дорогой Самуил Яковлевич.

Я очень обрадовался, когда мне передали в «Детиздате», что просят Вас перевести мои новые стихи «Юные стрелки»². Думаю, что стихи на красноармейские темы крайне нужны для наших детей.

Помня, что с Вашей легкой руки «Письмо Ворошилову» в Вашем мастерском переводе обошло страну³, я с особенным чувством радости жду и этого перевода. Боюсь только, что это у Вас отнимет много времени, очень не хотелось бы Вас тревожить, да и понравятся ли Вам эти стихи.

¹ Вместе с письмом был послан подстрочник стихотворения «А виглид» («Колыбельная»). Это стихотворение С. Маршак не переводил. В сборниках стихотворений Л. Квитко на русском языке в 30—40-х годах печаталась «Колыбельная» в переводе Е. Благининой (было также не менее двух отдельных изданий).

² С. Маршак перевел это стихотворение. Под названием «Юные ворошиловцы» оно печаталось в периодике и включалось в сборники Л. Квитко («Красная Армия». М.—Л., Детиздат, 1938; «Стихи». М.—Л., Детиздат, 1938).

³ Популярность этого стихотворения Л. Квитко в переводе С. Маршака действительно была огромной. За два года (1936—1938) оно только отдельной книжкой выходило около десятка раз, включалось почти во все сборники стихотворений Л. Квитко, неоднократно перепечатывалось центральной и периферийной периодикой, вошло в учебники и хрестоматии для начальной школы, передавалось по радио и т. д.

Дорогой Самуил Яковлевич, сборник народных еврейских веселых сказок собираю, есть у меня уже немало. Если Вы не передумали, можем приступить к работе осенью¹. Жду Вашего ответа.

Привет Вашей славной, милой жене.

Л. Квитко

[Почтовый штемпель — 9 октября 1937 г.]

Дорогой Самуил Яковлевич.

Мало мы с Вами виделись. Мало Вы мне читали. Прелестьна Ваша баллада². Хотелось бы еще послушать.

Посылаю пока эти стихи. Сам кое-как сделал подстрочник³, не взывайте. Очень прошу прислать мне балладу для перевода, хочу поместить в праздничный номер газеты «Дер Эмес». Жду балладу.

Прошу Вас прислать перевод моих «Стрелков»⁴. Перевод мне очень нравится и хочется видеть эти стихи в газете именно теперь. Не сердитесь на меня, я Вам все объясню при встрече.

Привет Вашей супруге.

Ваш *Л. Квитко*

С. Я. Маршаку

10 ноября 1947 г.

Приветствую от души замечательного поэта Самуила Яковлевича Маршака, любимца всей советской детворы, обогатившего советскую литературу прекрасными произведениями.

¹ Этот замысел не был осуществлен.

² «Двадцатилетний. Современная баллада». Впервые опубликована в «Правде» 9 октября 1937 года — в тот самый день, когда было написано это письмо Л. Квитко С. Маршаку (возможно, газетная публикация напомнила Л. Квитко встречу с С. Маршаком и авторское чтение баллады). Впоследствии С. Маршак переработал свою балладу и включал в свои сборники под названием «Рассказ о неизвестном герое».

³ Вместе с письмом были посланы латинская транскрипция оригинала («латинка») и подстрочник стихотворения Л. Квитко «Слава первому толчку». С. Маршак не переводил это стихотворение. Известен русский перевод Б. Слуцкого (под названием «Первый толчок»).

⁴ См. примечание 1 к письму Л. Квитко С. Маршаку от 30 июня 1937 г.

Дорогой Самуил Яковлевич, своим замечательным мастерством, чеканным словом, четкой мыслью и душевной теплотой советского патриота ты сумел пленить душу детей и взрослых.

Желаю тебе много лет здоровья, творческих сил на радость всем нам ¹.

Лев Квитко

¹ Поздравительное письмо по случаю награждения С. Маршака орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в области художественной литературы и в связи с 60-летием со дня рождения (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1947 г.).

Письма К. Чуковскому



Корнеем Ивановичем Чуковским Льва Квитко связывала многолетняя дружба. Открыв для себя в середине тридцатых годов нового талантливого поэта, К. Чуковский стал страстным пропагандистом его творчества. Это открытие не было случайным: можно с уверенностью сказать, что творчество Л. Квитко со стихийной непосредственностью воплощало те представления о детском поэте, которые К. Чуковский выработал, изучая детскую психологию и литературу для детей. К. Чуковский нашел в Квитко могучий лиризм, превращающий в поэзию, словно волшебной палочкой, все, к чему прикоснется поэт; сочетание мудрости взрослого человека, много повидавшего на своем веку, с детской незамутненной свежестью взгляда, душевной распахнутостью и вечным удивлением перед чудом бытия; подлинную, нестилизаторскую фольклорность и строгую классичность стиха. Квитко пришел как будто нарочно для того, чтобы своими стихами поддержать Чуковского в его борьбе за высокую культуру поэзии для детей — против всякого рода «небрежников» (по собственному выражению К. Чуковского).

К. Чуковский многократно писал о поэзии Льва Квитко в своих статьях и рецензиях, говорил в докладах и выступлениях; посвященные Квитко страницы включались в несколько изданий книги «От двух до пяти»; мемуарно-критический портрет поэта вошел в книгу К. Чуковского «Современники», изданную в серии «Жизнь замечательных людей» (1962 г. и след. изд.). Работы К. Чуковского привлекли общественное внимание к творчеству Льва Квитко и в немалой мере способствовали всесоюзной популярности поэта.

В этом сборнике перепечатываются некоторые из работ К. Чуковского о Л. Квитко. Другие читатель сможет найти в разделе «Библиография» наст. сб. Ряд публикуемых в сборнике воспоминаний (Б. Квитко, Е. Благиной и др.) дают допол-

нительный материал для характеристики отношений Л. Квитко с К. Чуковским.

В архиве К. Чуковского сохранилось свыше трех десятков писем к нему Льва Квитко (1935—1941 гг.). Большая часть их публикуется в этом сборнике (впервые). Опущены лишь некоторые письма, не представляющие общественного интереса. Кроме того, еще два письма читатель найдет в очерке К. Чуковского «Квитко». К сожалению, составители вынуждены представить переписку как одностороннюю: ответные письма К. Чуковского не сохранились.

Письма Л. Квитко рисуют его почтительно-восторженное отношение к К. Чуковскому, отражают некоторые моменты их творческого взаимодействия (в частности, совместную работу над составлением сборника стихотворений Л. Квитко «В гости»), содержат ценный автобиографический материал и могут служить источником сведений для историка советской детской литературы. Из писем видно, как пятидесятичетырехлетний К. Чуковский по стихам Л. Квитко стал изучать язык, на котором они написаны, чтобы прочитать эти стихи в оригинале.

Очень интересно письмо от 22 марта 1939 года — развернутая рецензия на повесть К. Чуковского «Гимназия». В письмах к К. Чуковскому больше, чем в других сохранившихся письмах Л. Квитко, виден Квитко-лирик.

Подлинники писем Л. Квитко к К. Чуковскому хранятся в настоящее время в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. В. И. Ленина (ф. 620).

[1935 г.]

Любезный, многоуважаемый Корней Иванович!

Псылаю Вам рецензию на «Солнечную», случайно наткнулся на харьковскую газету (я еще в Москве). Рецензия хорошая, дельная — а «Солнечная» все-таки лучше. Когда закончу «Мойдодыр» — пришлю.

Тысяча приветов.

Ваш Л. Квитко

Мне с переводами моих стихов, как и прозы, крайне не везет.

26.8.1935

Дорогой Корней Иванович!

Большое спасибо за письма, они меня взволновали.

Когда я Вам послал свою книжку¹, у меня было двойное чувство: желание быть прочитанным и понятым Вами — и досада от сознания того, что книга останется для Вас закрытой и недоступной. И вот Вы неожиданно таким чудесным образом опрокинули мои ожидания и превратили мою досаду в радость².

Нужны ли Вам еще подстрочники? Некоторые рецензии пошлю Вам вскоре. Еду в Гагры на месяц, оттуда и пошлю³.
[...]

Ваш Л. Квитко

[Сентябрь 1935 г.]

Дорогой Корней Иванович!

Когда я получил Ваше письмо, мне сразу захотелось поехать в Харьков, повидаться с Вами. Но товарищ, посланный специально за мной, чтобы взять меня на конференцию в Винницу, не дал мне этой возможности, и я очень жалею об этом.

Меня так радует интерес, который мои книги вызывают у Вас. Шлю Вам некоторые биографические сведения⁴.

¹ Речь идет о книге стихов Л. Квитко «Детям».

² К. Чуковский рассказывал: «Большое четверти века назад, живя под Ленинградом в деревне, я получил от него в высшей степени загадочную книгу, напечатанную еврейскими буквами. Этих букв я не знал ни одной. Но, сообразив, что на заглавном листе, наверху, должна быть проставлена фамилия автора и что, значит, вот эта узорчатая буква есть К, а вот эти две палочки — В, а вот эта запятая — И, я стал храбро перелистывать книгу. Надписи над картинками дали мне еще около дюжины букв. Это так окрылило меня, что я тотчас пустился читать по складам заглавия отдельных стихов, а потом и самые стихи: «Яслес шпацирн», «Дос жукл», «Дос фердл», «От гейт а регн». Я написал ему о своем скромном триумфе...» (К. Чуковский, Собр. соч. в шести томах, т. 2, М., «Художественная литература», 1965, с. 468).

Настоящее письмо Л. Квитко К. Чуковскому — ответ на сообщение о «скромном триумфе». В библиотеке К. Чуковского сохранился подаренный автором экземпляр книги «Фар ди киндерсвеген» («Детям»), на котором Корней Иванович оставил многочисленные следы своих прилежных занятий языком, фоникой, строфикой и ритмикой стихотворений Л. Квитко.

³ Работая над статьей о стихах Л. Квитко, К. Чуковский хотел познакомиться с отзывами еврейской критики об этих стихах.

⁴ К письму приложена краткая автобиография Л. Квитко.

Если у Вас хватит терпения почитать мою повесть «Лям и Петрик» («Два товарища»), то в образе Ляма Вы найдете описание моего детства¹.

Стихи, о которых упоминает Городецкая², не собраны в книжку, а разбросаны по журналам. Шлю некоторые из них.

После всеукраинского совещания³, которое будет, по-видимому, в ноябре, я буду в Ленинграде, но возможно, что и в конце октября даже сумею поехать.

Как чувствуете себя после Кисловодска? Я провел прекрасный месяц в Гаграх. Хорошо отдохнул.

Желаю Вам всего хорошего.

Ваш Л. Квитко

Р. С. Фраза «гит зи ейсе пракес» означает: «она дает горячие голубцы»⁴.

Автобиография

Я родился в 1895 г. Родители мои были чрезвычайно бедны. Отец постоянно переходил от одной профессии к другой: столяр, переплетчик, учитель, резчик по дереву.

Отец и мать умерли рано, от туберкулеза, равно как и все мои пятеро сестер и братьев. Остался я один с бабушкой.

Бабушка моя была необычайной по силе духа, по чистоте и честности женщиной. И влияние ее на меня и дало мне стойкость и упорство в борьбе с тяжелыми годами моего детства и юности.

С 10 лет стал зарабатывать на себя. О школе не мог даже мечтать. Школу я видел только снаружи.

Нужда, тяжкая работа у хозяев в разных местечках и городах — была моей школой.

¹ В статье «Замечательный поэт» («Вечерняя Красная газета», 2 июня 1936 г.) К. Чуковский писал: «Я только что прочитал (на украинском языке) его автобиографическую прозу...» Речь идет об украинском переводе: «Лям и Петрик» («Два товарища»). Повесть. Пер. Зинаиды Иоффе, Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1935.

² Городецкая Е. Е. — редактор Детгиза.

³ Л. Квитко имеет в виду всесоюзное совещание по детской литературе. Оно состоялось позднее — в январе 1936 г.

⁴ Фраза из стихотворения Л. Квитко «В гости». В русском переводе Т. Спендиаровой:

К ней лиса заходит
Голубцов отведасть...

На маслобойном заводе, у кожевника, у маляра, у заготовщика, на хлебах у голода, в окружении таких же, как и я, мальчишек,— я рос.

Величайшим наслаждением было читать. Но после мучительного рабочего дня хозяин гнал спать, чтоб я был в состоянии подняться ему до света. Все же я читал и писал стихи и прозу.

Проза моя в те годы была нескончаемой. Я никак не мог довести своего героя до конца. Мне казалось, что я должен описывать каждую прожитую минуту его жизни, и впадал в отчаяние: удастся ли мне закончить его жизнь.

Революция освободила меня, как и миллионы других.

В 1917 г. я напечатал свою первую книжку стихов. Это был сборничек стихов для детей.

Л. Квитко

15.10.1935

Дорогой Корней Иванович!

Я был срочно вызван на конференцию Винницкой области¹, так что вынужден был попросить жену переписать мои наспех написанные Вам письма и заметку — прошу извинить меня.

Там, где я был (Винница, Могилев, Каменец-Подольск), Вас прекрасно знают — как дети, так и взрослые — и очень любят Вас. Какая изумительная публика, как она бурно любит и ценит писателя! Давно уж не ездил по таким городам и был поражен их радостным обновленным видом и приподнятостью населения. Какие они все патриоты своих городов, гордятся каждым новым своим санаторием, дворцом пионеров, новой электростанцией, театром, родильным домом, где, по их мнению, рождаются исключительно богатыри. Чудесный народ.

Получили ли Вы мои книжки?² Переводы стихов, которые я Вам послал,— слабые, что Вы, конечно, сами заметили.

Будьте здоровы. Хочу Вас видеть.

Ваш Л. Квитко

¹ Одна из многочисленных поездок Л. Квитко, во время которых поэт выступал с чтением своих стихов в детских домах, садах, школах и дворцах пионеров.

² Среди этих книжек — украинский перевод повести «Лям и Петрик» («Два товарища»),

Дорогой Корней Иванович!

Недавно было совещание в ЦК по поводу совещания о детской литературе. Установили срок — на 5 декабря¹. Распределили доклады. Мне поручили сделать доклад о дошкольной книжке. Тема такая обширная, что боюсь провалиться.

Директор «Дитвидава» Барун² сообщила, что Вы пишете и согласились выступить о моих детских произведениях. Это было очень хорошо принято. Меня радует Ваше желание говорить обо мне, но мне почему-то кажется, что Вы передумали³. Рад, что увижу Вас в Киеве, мне хочется Вам почитать немного из моей книги (для взрослых), над которой работаю уже много лет⁴.

С приветом

Ваш Л. Квитко.

Послал Вам несколько моих книжек (давно уже, «Два товариші»⁵, «Киценька»⁶ и др.), получили ли Вы их?

Л. Кв.

[Конец 1935 г.]

Дорогой Корней Иванович!

Сговорился с университетом культуры, они очень обрадовались, хотят Вашу лекцию о Репине и еще хотели бы лекцию

¹ Совещание состоялось позднее, 9—16 января 1936 года.

² Р. К. Барун была директором Детиздата Украины в 1934—1937 гг.

³ Из выступления К. Чуковского на Первом всеююзном совещании по детской литературе: «...Лев Квитко, о котором я уже полгода кричу, что это один из самых замечательных детских поэтов огромного диапазона, огромной лирической силы, у которого мы, москвичи и ленинградцы, многому могли бы поучиться. Между прочим, он владеет секретом, которым мы до сих пор не владем: он умеет без фальши писать для детей о политике, оставаясь и лиричным, и чарующе нежным. Для него не существует дилеммы: или политика, или поэзия; он политику превращает в поэзию. Вслушайтесь, например, в его «Письмо Ворошилову...» («Детская литература», 1936, № 2, с. 14).

⁴ Речь идет о романе в стихах «Иона», названном в окончательной редакции «Годы молодые».

⁵ «Лям и Петрик» («Два товарища»). Повесть. Пер. Зинаиды Иоффе. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1935.

⁶ «Киценька». Пер. на украинский язык М. Пригары, Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1935.

о Вашем творческом методе в литературе для детей¹. Просят заранее уведомить о приезде. Если Вы хотите увязать эту поездку с совещанием о детлитературе, то должен Вам сказать, что совещание состоится в конце января. Причина: в январе много пленумов: Пленум ЦК КП(б)У, пленум укр. союза писателей, пленум всесоюзный в Минске.

Думаю поехать в Москву числа 23 ноября на недели две, жаль, если Ваши лекции состоятся в это время. Сегодня приехал из Житомира. Кроме многочисленных выступлений на предприятиях и в дворце пионеров, я имел встречу с работниками детсадов. Там Вас обожают. Одна — отличный педагог — рассказала о том, как она, переписываясь с Вами, проводит Ваши советы на практике и какие отличные результаты это дает. Вашего приезда ждут в Житомире с нетерпением.

Напишите, пожалуйста, когда Вы думаете прочесть Ваши лекции. [...]

Ваш Л. Квитко

«Лист т. Ворошилову» перевел М. Рыльский².

4.XII.1935

Дорогой Корней Иванович!

Письмо Ваше получил. Был в Союзе писателей, и мы совместно решили, что Ваша лекция об искусстве перевода будет для нас особенно важна. Союз писателей написал Вам письмо по этому поводу.

Также и выступление Ваше в палате пионеров будет обеспечено. Что касается лекции о Репине, то можно будет сговориться на месте с союзом художников.

Радуюсь вашему выздоровлению. Телеграмму мою, вероятно, получили и знаете уже, что совещание будет в начале января. Ждем Вас с нетерпением.

Ваш Л. Квитко

¹ К. Чуковский собирался прочесть ряд лекций во время поездки в Киев и вел по этому поводу переписку с украинскими писателями и организациями. Поездка состоялась позднее, летом 1936 года.

² Стихотворение Л. Квитко «Письмо Ворошилову» на украинском языке: «Лист товаришу Ворошилову», Переклад Максима Рильського. Київ — Харків, Дітвидав України, 1935.

Дорогой Корней Иванович!

Посылаю Вам вырезки из статей и заметок о моих детских стихах.

Всего, что было написано обо мне, у меня не оказалось. Особенно сожалею, что не смог найти самую серьезную работу — вдумчивого критика и писателя М. Винера¹ — которая была напечатана в журнале «Ди ройте велт» за 1930 г.²

Вырезки, которые я Вам посылаю, не отличаются особенной глубиной и знанием дела.

Сказанное Вами слово о поэзии в моих детских стихах и есть то самое ценное для меня, что Вы уловили, несмотря на слабое знание языка. Эта оценка Ваша меня радует [...]³.

Заканчивая свое письмо, прошу простить плохой перевод вырезок, который мы с женой сделали, как смогли.

Ваш Л. Квитко

9.4.1936

Дорогой, хороший Корней Иванович!

На днях только приехал из Москвы. Письма от Вас давно не было, но я знаю, что Вы все время себя неважно чувствуете, и это меня огорчает. Трудно себе представить Вас, при Вашей живости, длительно нездоровым.

Дорогой Корней Иванович, в Москве я снова убедился в том, какую Вы — по отношению ко мне — колоссальную работу проделываете, несмотря на свое нездоровье. И это снова и снова вызывает во мне бесконечную благодарность к Вам. Вы даже не представляете себе всей значительности Вашего вмешательства в мою литературную работу.

Не знаю, послать ли Вам перевод Светлова «Когда я вырасту», перевод, по-моему, хорош.

¹ Меер Винер (1893—1941) — еврейский советский писатель и литературовед. О его взаимоотношениях с Л. Квитко см. воспоминания Б. Квитко в наст. сб.

² Здесь у Л. Квитко несомненная ошибка: на самом деле статья М. Винера была опубликована журналом «Ди ройте велт» в № 2—3 за 1929 год. Это была рецензия на книгу Л. Квитко «Ринг ин ринг» («Звено в звено»). Стихи. Харьков, Госиздат Украины, 1929. В своей рецензии М. Винер выдвигает и обосновывает тезис о народности поэзии Л. Квитко.

³ «Слово» К. Чуковского было сказано на Первом всесоюзном совещании по детской литературе в январе 1936 года.

Я хотел из Москвы подъехать к Вам по поводу переводов, но не сделал это только потому, что знаю, как Вас со всех сторон осаждают по разным делам.

Жду Вашего выздоровления с нетерпением.
Любящий Вас

Л. Квитко

[1936]

Дорогой Корней Иванович, милый!

Написал Вам письмо из Киева, до моего отъезда в Москву. Писал Вам об изъятии из сборника перевода «Когда я вырасту»¹. Получили ли Вы мое письмо? Если получили, прошу быть столь добрым и ответить, согласны ли Вы с моим мнением.

Если же Вы находите, что никак нельзя оставить перевод в сборнике, то я постараюсь его извлечь.

Не знаю, как назвать сборник. Если Вы мне можете помочь в этом смысле, то был бы очень благодарен Вам. Мы с гг. Живоной² и Благиной³ не могли ничего другого придумать: «В гости», «Дудочки-погудочки» или «Ласточки»⁴. Если это подходит, то прошу одно из этих названий передать т. Конашевичу⁵. Очень жалею, что не застал Вас в Москве, жажду Вас видеть.

Ваш Л. Квитко

¹ Перевод был оставлен в сборнике. По поводу этого перевода см. также письмо Л. Квитко С. Маршаку (написанное совместно с К. Чуковским, конец июня — начало августа 1936 г.) и примечания к этому письму в наст. сб.

² Е. С. Живоной — редактор и составитель ряда сборников стихотворений Л. Квитко на русском языке.

³ Е. А. Благиной (род. в 1903 г.) — русская советская поэтесса и переводчица. См. ее воспоминания и письма Л. Квитко к ней в наст. сб.

⁴ Сборник вышел под названием «В гости» (М.—Л., Детиздат, 1937) без указания имени составителя.

⁵ В. М. Конашевич (1888—1963) — выдающийся советский художник, прославленный мастер детской книги. Выполнил иллюстрации к ряду изданий стихотворений Л. Квитко (в том числе: «Кисанька», 1937; «Письмо Ворошилову», 1937; «Лошадка», 1938; «Колыбельная», 1939; «Весна», 1946; «Моим друзьям», 1957). Здесь речь идет о рисунках к книге Л. Квитко «В гости» (М.—Л., Детиздат, 1937). Для последующих изданий В. М. Конашевич основательно переработал свои рисунки. В письме С. М. Алянскому от 5. X. 1960 он писал: «Относительно Квитки у меня вот какой единственный вопрос. Посмотрел я рисунки к стихам Квитки, которые я давно не видел, и нахожу, что они в некоторых отношениях очень удачны. А именно: самый «дух» найден (или выразился) очень удачно. Они поэтичны и в

Привет Марье Борисовне¹.

Е. М. Оболенской² больше всего нравится «В гости», мне же — «Дудочки-погудочки». Делайте, как находите нужным.

8.6.1936

Милейший Корней Иванович!

Вчера только приехал. Три недели разъезжал по селам и городкам. Много интереснейших встреч имел.

Застал Вашу открытку и очень пожалел, что не имел возможности ответить сразу же по поводу дачи. Только что говорил с товарищем, который ведает этим делом. Он предлагает Ирпень, комнату в отдаленном корпусе³, но я знаю, что для Вас это все же слишком шумно. Там будет много писателей с семьями. В Святошине, в Ворзеле⁴ можно достать комнату [...]. Там и лагерь есть.

Предлагаю вот что: приезжайте прямо ко мне и в течение двух-трех дней мы объедем машиной несколько лучших мест и выберем подходящую дачу. Чтоб и речка была, и пионерский лагерь⁵, и чтоб было где питаться.

Я также ишу уединенное место, мне необходимо много работать. При встрече расскажу, в чем дело.

Ваш Л. Квитко

Телеграфируйте, ждать ли Вас.

Мне очень хочется, чтоб Вы приехали!!

меру сказочны. Как раз то, что отличает и стихи этого милого человека. Мне кажется, что образцами могут быть рисунки к стихотворению «В гости» (к бабке Мирл). Я, конечно, не собираюсь ничего повторять точно, но дух мне хотелось бы сохранить». (В. М. Кошачевич. О себе и своем деле. М., «Детская литература», 1968, с. 376—377. См. там же письма В. М. Кошачевича С. М. Алянскому от 7 февраля и 4 мая 1961 г.)

¹ Жена К. Чуковского.

² Е. М. Оболенская — редактор Детиздата. Под ее редакцией вышел сборник стихотворений Л. Квитко «В гости» (1937).

³ В Доме творчества Союза писателей Украины.

⁴ Дачные местности под Киевом.

⁵ Место для отдыха К. Чуковский всегда выбирал поближе к школе, детскому саду, пионерскому лагерю или иному детскому учреждению: «...Лучший мой отдых — ежедневное общение с детьми от двух до двенадцати лет. Без этого общения жизнь для меня неполна; в нем я вижу источник душевного здоровья и счастья» (предисловие автора в кн.: Корней Чуковский. Стихи. М., Государственное издательство художественной литературы, 1961, с. 22).

Дорогой, лучший Корней Иванович!

Из-за отсутствия моего домашнего редактора и секретаря Б. С.¹ снимаю с себя всякую ответственность за свое обхождение с языком и грамматикой.

Я еще в Москве [...]. В Биробиджан сейчас не еду, причины откладывания поездок мелки на вид, но полны весом. Еду пока что закончить «Иону»² и купаться. Буду с Вами на Кавказе, но чтоб не стеснять Вас своим близким присутствием, еду на самый берег моря.

С тех пор, что видел Вас близко, Вы живете в моем сердце и крепко живете там.

Задумал сейчас колыбельную — сын укачивает маму, рассказывая ей о судьбах ее сына³. Задумал большую работу на материале евр. народных веселых сказок. «Как три мудреца разрушили город Уц в стране Баренбуц»...

Если получится удачной, pošлю Вам. Рисунки Конашевича — прелестны, радуюсь им и благодарен Вам и Алянскому⁴.

Берзин сделал перевод, получилось у него тепло и, кажется, хорошо. Мне трудно судить. Эйхлер перед отъездом в отпуск дал Солнцевой читать, сам читать будет по приезду.

Очень рад, что уже чувствуете себя лучше, но Вам полагается быть совершенно здоровым, бодрым, веселым. Вы — при сильном желании — могли бы этого вполне добиться. Кому еще эти качества так к лицу, как Вам! Хорошо, что с Вами Марья Борисовна. Хочется Вас видеть и слушать Вас.

¹ Б. С. Квитко, жена поэта.

² «Иона» — первоначальное название романа в стихах «Годы молодые».

³ Л. Квитко осуществил этот свой замысел. Стихотворение «Колыбельная» в русском переводе Е. Благиной выходило отдельной книжкой и включалось во все сборники стихотворений Л. Квитко 30—40-х годов.

⁴ С. М. Алянский (1900—1974) — основатель издательства «Алконост», деятель советской детской книги, художественный консультант издательства «Детская литература». Незадолго до своей кончины С. М. Алянский передал составителям наст. сб. сохранившиеся в его архиве два письма Л. Квитко, относящиеся к периоду подготовки книг «В гости» и «Колыбельная».

11 июля 1936 г.

Дорогой г. Алянский!

Чувствую, что дальнейшая судьба моего сборника зависит от Вас: ро-

Был на репинской выставке¹. Какой громаднейший, сплошной талант, какой силы плодородие этого сплошного таланта! Ничтожное число средних работ, полное отсутствие плохих.

Светлов внес поправки в стихи, они сейчас гораздо лучше, вышлю Вам².

Мои лучшие пожелания Марье Борисовне, Вам, дорогой Корней Иванович.

Напишу из Сухума.

Л. Квитко

дится ли он на свет удачным, красивым, многокартинным — все это теперь в Ваших руках.

Зная по рассказам Корнея Ивановича Ваше замечательное чутье относительно художественного оформления книг и учитывая желание т. Цыпина сделать сборник особенно хорошим, — можно ожидать, что он и действительно будет таким.

Вы как-то сказали мне, что т. Конашевич охотно взял на себя оформление моего сборника. Это меня особенно радует.

Я буду Вам очень благодарен, если Вы возьмете на себя шефство над моим «первенцем» вообще, а также в смысле сроков.

С приветом

Ваш Л. Квитко

Второе письмо без даты, почтовый штемпель — 13—14 августа 1936 г.:

Дорогой Самуил Миронович!

Посылаю Вам «Колыбельную». Буду Вам безмерно благодарен, если Вы уделите внимание этой книжке.

Буду числа 25-го в городе и постараюсь дозвониться к Вам.

С приветом

Ваш Л. Квитко

¹ В 1936 году в Третьяковской галерее экспонировалась большая выставка произведений И. Е. Репина (около 900 произведений живописи, графики и скульптуры из государственных хранилищ СССР и частных собраний, см.: Каталог выставки произведений Репина. ОГИЗ — ИЗОГИЗ, 1936).

² В качестве составителя сборника стихотворений Л. Квитко «В гости» К. Чуковский обращался к переводчикам с просьбой внести поправки и усовершенствования в их переводы (см. также письма Л. Квитко К. Чуковскому от 17.X.36, 1.XII.36, 10.VII.37 и совместное письмо Л. Квитко и К. Чуковского С. Маршаку от 5.IX.36 в наст. сб.).

Дорогой, милый Корней Иванович!

С большим запозданием получил Ваше письмо. Спешу Вам отослать «Лошадки» Светлова. Прошу Вас посмотреть на них, кажется, они гораздо глаже, только бы убрать «шалые». Это как Вы найдете нужным.

Я опять просматривал сборник. «Разговор с вилкой» оказался мне нехорошим, каким-то дешевым стихом. Прошу Вас обратить Ваше внимание на эти стихи ¹.

Живу здесь и занимаюсь как никогда — купаюсь, загораю на солнце, которое почему-то бывает здесь только днем (может, потому, что по ночам проливные дожди). Горные речки шумят пуще всех примусов. В долине созревают мандарины—апельсинов почему-то нет, а то... Закончил несколько глав и страшно хотелось бы Вам почитать. Кажется, я «поймал птицу на лету».

Прошу извинить меня за ошибки. Очень рад, что Вы поправляетесь. Привет Марье Борисовне.

Ваш Л. Квитко ²

24.XI.36

Дорогой, дорогой Корней Иванович!

Ваша открытка не застала меня в Сухуми и была мне прислана в Киев, так что приписку Шварцу не смог передать. В Москве я буду только в начале декабря, когда будет окончательно закончена поэма «Иона». Очень жалко мне, если Вас уже не будет тогда в Москве. Меня уже тянет поговорить с

¹ Стихотворение «Разговор с вилкой», заново переведенное Е. Тараховской, вошло в сборник «В гости» (1937).

² К письму Л. Квитко сделал следующую шуточную приписку отдыхающий вместе с ним на Черноморском побережье Евг. Шварц:

«Дорогой Корней Иванович!

Привет от Вашего бывшего секретаря и старого друга. Часто вспоминаю Вас вместе с Квиткою и, накажи меня господь, хвалили Вас. Я начал писать стихи по-украински. Вот они:

Квитко—

є швидко,

А Шварц Женя

Лежить на берегу без усякого движения.

Целуем Вас. Низкий поклон Марии Борисовне. Квитко просит добавить, что уезжаем мы отсюда числа 31.

Ваш Е. Шварц

Вами, слушать Вас. Может, я тогда к Вам подъеду. Очень хотелось бы познакомиться Вас с «Ионой». Слышал от Николая Корнеевича¹, что Вы вернулись из Кисловодска здоровым, бодрым и много работаете, и повесть² двинулась вперед,— чудно!

Писали мне из Детиздата, что Вы по-прежнему интересуетесь моими переводами. Вы ведь знаете, как это для меня ценно и радостно. Посылаю Вам «Колыбельную»³ — как мальчик ублаживает мать.

Заболоцкий⁴ прислал «Скрипку»⁵, перевод слабый, я не хотел мешать Вашему отдыху и скрепя сердце написал ему обо всех недостатках; получил от него письмо, что он согласен со мной и все это исправит, но что он уже сдал в неисправленном виде в «Чиж». Как это нехорошо. Эти напечатанные полусырые переводы меня подавляют.

Не хочу Вам больше портить настроение. Мы все за Вами скучаем. Эти⁶ особенно много спрашивает о Вас и радуется тому, что в декабре Вас увидит в Киеве,— ведь Вы придете на конференцию по дет. литературе⁷.

Ваш Л. Квитко

1.XII.1936

Дорогой, хороший Корней Иванович.

Вы меня обрадовали хорошей вестью о переводах. Я написал Оболенской о «Лошадках», мотивируя, как Вы советовали, но еще не отослал, хотел с Вами обсудить это. Я рассчитываю быть числа пятого в Москве и попробую еще раз добиться у Светлова внесения нужных поправок.

Мне хочется, чтобы в сборнике было еще одно стихотворе-

¹ Н. К. Чуковский (1904—1965) — русский советский писатель, сын К. И. Чуковского. Перевел несколько стихотворений Л. Квитко, в том числе «У моря», «Мое желание», «Кто чего желает», «Зимние яблоки».

² Повесть К. Чуковского «Гимназия».

³ «Колыбельная» (перевод Е. Благиной) не была включена в сб. «В гости».

⁴ Н. А. Заболоцкий (1903—1958) — русский советский поэт.

⁵ «Скрипка» в переводе Н. Заболоцкого не была включена в сб. «В гости».

⁶ Е. Л. Квитко, дочь поэта.

⁷ Речь идет о возможном переезде К. Чуковского в Киев после Второго совещания по детской литературе при ЦК ВЛКСМ, которое состоялось в Москве 27—30 декабря 1936 года.

ние на современную тему и еще одна манера письма. Если же с «Лошадками» ничего не получится, тогда я скажу. Оболенской, что исключаю их из сборника, так как собираюсь их переделать.

Если мы исключим «Лошадок», сборник будет еще бедней. Не находите ли Вы возможным включить пару переводов из другого сборника, из тех удачных, что Вы читали. Не трудно ли было бы Вам повлиять на тех, от кого это зависит?

Посылаю Вам свои новые стихи — о мальчике, который убаюкивает мать. Еще кое-что написал, привезу с собой. Привезу также и «Иону». Надеюсь Вас застать еще в Москве. Хочу очень Вас видеть.

Все наши сердечно Вас приветствуют.

Ваш *Л. Квитко*

14.3.1937

Дорогой Корней Иванович, милый!

Я снова приехал в Москву на пару недель, думал: не застану ли также и Вас в Москве. Соскучился по Вас, по Вашему голосу. Как живете, как работаете, как повесть — так и не читали мне — предчувствую, что очень интересная, да иначе и быть не может.

Делаю я здесь, в газете «Эмес», уголок для детей, просят, чтоб я им руководил, охотно это делаю. Пахнет весной, хочется куда-то.

Привет Марье Борисовне. Прошу Вас исправить мои ошибки в письме.

Ваш *Л. Квитко*

Мурманск, 23.8.37

Дорогой, дорогой Корней Иванович!

Здесь, в заливе Баренцева моря, перед отплытием на Новую Землю¹, я вспомнил Вас и разволновался. Ведь я Вас много и крепко люблю. Это должно Вам объяснить мое смущение, когда я видел Вас в Ленинграде в каком-то удрученном состоянии. Может, это сильная усталость? Мне крайне больно было видеть Вас таким.

¹ Впечатления этой поездки легли в основу цикла стихотворений Л. Квитко «Путешествие в Арктику» (1938).

Уплывая в холодный край, уверяю себя, что Вы опять тот же самый,— творчески бодрый, здоровый, всеми любимый Корней Иванович.

Желаю Вам и Марии Борисовне всего лучшего.

Простите за ошибки, я на севере — далеко от центров культуры и изящной словесности.

Ваш Л. Квитко

3.IX.1938

Дорогой Корней Иванович.

Ваше письмо меня очень обрадовало. Вы, конечно, правы насчет шероховатости в переводе «Лям и Петрик»¹. Притом еще сокращение проделано, точно неудачная операция. По-видимому, вещи надо печатать так, как они написаны. Очень хотел бы Вас видеть, послушать новый вариант Вашей повести² и почитать кое-что свое. Ведь по отношению к Вам я следую библейскому изречению: «Наае вэнишима», что — приблизительно — означает: «выполним, скажи что»³. Так произошло с моим стихотворением «Иван Ларионович Карасик»⁴. Узнав, что Вы не одобряете этой вещи, хотя мне лично эти стихи по сердцу, решил отложить их печатание.

Посылаю Вам альманах «Советиш», где напечатаны новые мои стихи, посвященные Вам⁵. Товарищи считают, что это лучшие мои стихи за последние годы [...].

Ваш Л. Квитко

Привет Николаю Корнеевичу.

¹ Л. Квитко. «Лям и Петрик» («Два товарища»). Повесть. Перевод с евр. под ред. Р. Фраермана. Рис. С. Голованова. М.—Л., Детиздат, 1938.

² Повесть К. Чуковского «Гимназия» (впоследствии в переработанном виде — «Серебряный герб»).

³ На тему этого библейского изречения Л. Квитко написал стихотворение, опубликованное в альманахе «Советиш», в одной подборке со стихотворением «Радуга», посвященным К. Чуковскому (см. примеч. 5 к этому письму).

⁴ Это стихотворение (под названием «Иван Ларионович и его сын Проккоп») было включено только в одно русское издание стихотворений Л. Квитко: «Разговор с близкими». Стихи. Авторизованные переводы с еврейского. М., «Художественная литература», 1940.

⁵ Стихотворение «Радуга» (альманах «Советиш», 1938, № 5). Включая это стихотворение в сборники, Л. Квитко снял посвящение (как и посвящения другим лицам — поэт полагал, что всякая конкретная адресация сужает смысл лирики).

Дорогой Корней Иванович!

Посылаю Вам свой сборничек¹. Я знаю, что он не блестящий, все же хочется лишний раз подsunуть Вам свою книжку. Надеюсь, что Вы не работаете, а отдыхаете, что Вам совершенно необходимо. Очень хочется видеть Вас.

Привет Марье Борисовне от нашей семьи.

Ваш Л. Квитко

22.3.1939

Дорогой Корней Иванович!

Я читал Вашу книгу² и болел душой. Это описание гимназии стоит в таком колоссальном противоречии с представлением о той золотой гимназии и ее учениках, которое имели о ней дети бедняков!

Напрасно я, значит, висю на стропилах одесской колокольни в качестве маляра-подмастерья, вымещал свою жгучую зависть, брызгая щеткой на проходивших мимо гимназистов, мстил им за их развеселую жизнь в гимназии.

Ведь, в сущности, это были несчастные дети. Мощная притеснительная система сжимала их души как в гимназиях, так и дома и на улице.

Глубоко трогательно, трагично положение мальчика в этой книге. Переживаешь его судьбу настолько сильно, что хочется вслух протестовать, проклинать его притеснителей.

Это лихорадочное хватанье за каждую соломинку, которая, может быть, спасет его, и несчастный конец этого «спасения» — описаны с убедительной силой.

Описание его мытарств, хождение к Тютнину, к Зюзе, к Тимоше, и крах всех его надежд — это настоящее мастерство, которое вдохновляет, зовет к действию, не позволяет успокаиваться.

Скупые штрихи портретов всех участников этой повести очень жизненны.

Обманчивый тон — будто бы все это игра — и те будто бы поверхностные описания во время самых серьезных, трагиче-

¹ Л. Квитко. Стихи. М., «Правда», 1938 (Б-ка «Огонек», 1938, № 49).

² К. Чуковский. Гимназия. Воспоминания детства. М.—Л., Детгиздат, 1938.

ских моментов (например: Тютин на велосипеде, Тютин верхом на лошади и др. детали) дают впечатление правдивости положения затравленного ребенка.

Как сказочно-картинно описание дна миски у стариков, сам старик, крадущий сахар, а также сестры.

Короткими, бьющими в цель, выразительными штрихами даны портреты и положения: Зуев, крестящий все, Бабенциковы, жующие сладкое, французик, рассеянный Моня, пьяный козел, Циндилиндер, тайны Каламашки и др.

Самые важные, так называемые психологические моменты даны с большим тактом, вдумчиво, с щемящей болью. Например: о том, как Прощка застаёт его врасплох за булкой, или желание оградить мать от огорчений. Так же хорошо дан клуб: каковы «бунтовщики», таков и клуб.

История с новой квартирой, с аттестатом Маруси описаны мастерски.

Все же послесловие кажется мне излишним: в клубе мы уже все узнали от Ивана Митрофановича. Также первая глава кажется мне чересчур умничающей и в то же время скованной, в ней нет свободы, непринужденности, как во всех последующих главах.

Эта книга еще раз подтверждает Ваш огромный талант, Ваше открытое сердце, глаза, полные участия для всего человеческого в людях. Я горд Вами и Вашей дружбой ко мне.

Л. Квитко

Письма Е. Благиной



лена Благина рассказывает: «В 1936 году, зимой, ЦК ВЛКСМ собрал детских писателей, чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее советской литературы. На одном из утренних заседаний объявили выступление Чуковского... В это утро Корней Иванович подарил русскому читателю поэта — Льва Квитко. Корней Иванович много подарил своему времени. А этот подарок был почти материальным — вот вам, нате, берите! Я рад, что вы рады! Стихи Корней Иванович читал в украинских переводах, но все было понятно. И всем находящимся в зале поэтам захотелось немедленно перевести что-нибудь из Квитко. Захотелось и мне...» («Детская литература», 1972, № 4, с. 39—40). С той поры Е. Благина многие годы увлеченно и талантливо переводила стихи Л. Квитко на русский. По количеству и качеству переводов из Л. Квитко Е. Благина занимает среди русских переводчиков одно из первых мест. «Елена Благина вырастает на десять голов, едва только соприкасается с произведениями Квитко. Именно тогда у нее появляется и большое дыхание, и разнообразие душевных тональностей, и тонкое чувство стиля, и безукоризненный вкус...», — писал К. Чуковский (Собр. соч. в шести томах, т. 2, М., «Художественная литература», 1965, с. 471).

Сохранившиеся два письма Л. Квитко Е. Благиной относятся кначальному, самому тяжелому периоду Великой Отечественной войны. Письма показывают неколебимую веру Л. Квитко в победу советского народа, характеризуют творческую дружбу двух поэтов, содержат интересный биографический материал. Подлинники писем хранятся в ЦГАЛИ (ф. 1448, оп. 1, ед. хр. 170).

Алма-Ата, 31 декабря 1941 г.

Дорогая Леночка!

Как обрадовала меня Ваша открытка: наконец я знаю, где

Вы, и могу Вам написать. Я еле прочел этот клочок стертой бумаги, который полз через все почты Туркестана, пока попал ко мне.

Я, как видите, нахожусь в Алма-Ате. Город необычайно красив, талантливые руки его строили, богатая природа одарила его всевозможными пышными деревьями и светлым чистым воздухом; [...] в этом городе легко дышится.

Мне все же здесь нехорошо, терзает меня отъезд из Москвы. Положение беженца меня угнетает. Об издании какого-нибудь моего сборника здесь не может быть и речи, а связи с издательствами я не имею. Пишу и кладу в ящик. Здесь Маршалк и Михалков¹, они пишут для Мосфильма сценарии. Средства мои иссякли, и я не знаю, что дальше будет.

Леночка, милая, как же Вы устроились, что еще, кроме сестры, с Вами? Что Вы делаете? Очень жаль, что мы с вами на таком расстоянии. Нам-то надо было быть вместе. Будем ли мы в скором времени дома? Я все сделаю, чтоб поскорей вернуться домой. Чем Вы сейчас заняты? Может, у Вас есть время поработать вместе? Ведь придет же, приближается время, когда нужны будут наши книжки. Может, Вы предложите сборник Чагину², ведь Гослитиздат у Вас там.

Посылаю Вам некоторые мои вещицы, из последних, авось найдете нужным их перевести³. С Детгизом у меня связи нет, не знаю, где они, что делают.

Все же, Леночка, выше голову, врага бьют, скоро увидимся с Вами дома, крепко работать будем. А пока — все, что в наших силах, сделаем, чтоб приблизить этот час, работой поможем.

Имею к Вам просьбу, не откажите мне отыскать в системе Гиза издательство «Эмес», его директора Стронгина⁴. Вот в чем дело: здесь находится группа белостокских писателей,

¹ Михалков С. В. (род. в 1913 г.) — русский советский поэт и драматург. Перевел ряд стихотворений Л. Квитко, в том числе «Веселый жук», «Барсуки», «Анна-Ванна бригадир», «Проводы», «Пушкин и Гейне», «На всех наречиях». См. заметку С. Михалкова «На всех языках» в разделе «Статьи» наст. сб.

² Чагин П. И. (1898—1968) — писатель и редактор, в ту пору — директор издательства «Художественная литература».

³ «Коричневые черви», «Свет в убежище» и другие стихи.

⁴ В своих неопубликованных воспоминаниях Л. Стронгин рассказывает: «В тяжелые годы Великой Отечественной войны, кроме творческого труда, Лев Квитко много занимался общественно-политической деятельностью. Он не чурался никакой работы, любое дело считал себе по плечу, если оно было на пользу Отечеству. Я помню его корреспондентом Совинформбюро, часто выезжающим в освобожденные районы для сбора ма-

которым следует гонорар от этого издательства. Эти писатели крайне бедствуют, я постоянно в бегах ради них, но, к сожалению, мало чем могу помочь. Я дважды телеграфировал и писал Стронгину, но ответа нет. Прошу повидаться со Стронгиным насчет всего этого и напомнить ему также, чтоб он и мне выслал гонорар, что сильно нуждаюсь.

Я, Леночка, встретил здесь Ольгу Петровну¹, она и здесь работает в Мультифильме. Живет неплохо, хлопочет о своих родных. Об Эсиньке² ничего не знаю, где она и что делает. Где все Ваши, как живут?

Буду с нетерпением ждать от Вас ответа.

Ваш Л. Квитко

С Новым годом, милая Леночка! Бетя и Етл³ обнимают Вас

1 января 1942 г.

Алма-Ата, 4 мая 1942 г.

Леночка моя дорогая!

Пишу Вам перед отъездом в Куйбышев. Я получил вызов на работу в Антифашистский комитет. Что я там делать буду — не знаю еще. Кажется, что сейчас уж буду ближе к Вам. Как только приеду туда, сейчас же Вам напишу. Ваше письмо, где Вы пишете о большой общественной работе, которую Вы делаете, вызвало во мне чувство самой хорошей зависти, и я,

териалов о зверствах фашистских извергов. Я помню его членом президиума еврейского Антифашистского комитета в СССР. Я помню его также активным сотрудником редколлегий газеты «Эйникайт», альманаха «Геймланд» и редсовета издательства «Дер Эмес».

Мне вспоминается, как Лев Квитко вместе с ныне покойным Самуилом Галкиным и автором этих строк выпускал газету «Эйникайт» зимой 1942 года в Москве, в неотопляемой типографии, которая была наполовину эвакуирована и законсервирована. В этой типографии он провел немало бессонных ночей.

Вместе с нами он таскал тяжелые полосы набора к машинам, паковал газеты для почты, грузил пачки на грузовики. Он не был склонен рассматривать эту работу как нечто из ряда вон выходящее или, тем более, героическое. Он принимал все как должное и еще подбадривал линотиписта и корректора своим примером и такими рассуждениями: «Вы со мной согласитесь, что солдатам на фронте безусловно труднее. Правда, и нам не легко, но мы с вами эти трудности преодолеваем. Вот когда разобьем фашистов, будем трудиться не как сейчас, а в меру наших способностей и сил...»

¹ О. П. Улицкая — общая знакомая Л. Квитко и Е. Благиной.

² Е. С. Живова — первый редактор русских изданий стихов Л. Квитко.

³ Б. С. и Е. Л. Квитко — жена и дочь поэта.

в сущности, рад, что уезжаю, потому что предвкушаю большую и нужную работу...¹

...От Генриха² еще одно письмо получил, все жалуется на свою судьбу. [...] Генрих пишет, что ни от кого почти ответа не получает на свои письма, только от Вас, Леночка, он получает, а ведь в таком положении письмо друга — это надежда и утешение.

От Детгиздата, Леночка, я получил какой-то договор, я им написал, что материал отправил Вам. [...] Все же работать надо, и издавать нужно. Если они Вас попросят материал мой и у Вас будет — передайте им, пожалуйста, или пришлите мне в Куйбышев, я прочту и пошлю им (Куйбышев, ул. Венцека, 37, Антифашистский комитет). Выеду, вероятно, числа 7—10 мая. От Эси получил письма. Вероятно, из Куйбышева съезжу в Москву.

Привет и лучшие пожелания всем Вашим, Леночка. Жду писем от Вас.

Л. Квитко

¹ В архиве журнала «Знамя» сохранились сведения о работе поэта в годы Великой Отечественной войны:

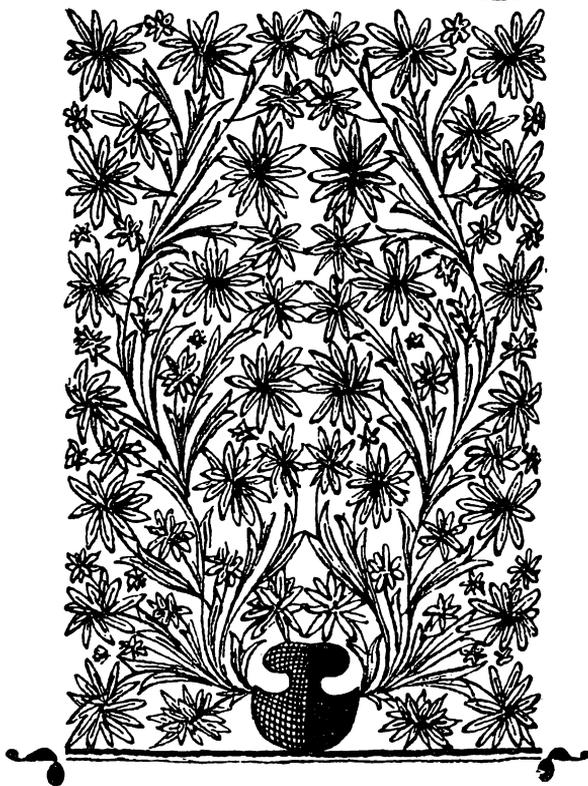
«Квитко Л. М.— с начала войны был в эвакуации в г. Алма-Ате, затем переехал в г. Куйбышев, работал в еврейском Антифашистском комитете. В мае 1942 года вернулся в Москву и до настоящего времени работает зам[естителем] отв[етственного] секретаря еврейского Антифашистского комитета. Напечатал в 1941 г. сборник стихов на еврейском языке в издательстве «Дер Эмес».

В Алма-Ате вышла книга антифашистских стихов «В бой». В 1944 году в Москве вышел дополненный военными стихами сборник стихов «В гости». Сдан в печать новый сборник военных стихов (Детгиз), а также выходит сборник стихов в изд[ательств]е «Дер Эмес»: «За три года войны».

Кроме того, ведет большую общественную работу (председатель группкома в Детгизе и «Молодой гвардии»). (ЦГАЛИ, ф. 1038, ед. хр. 3479, л. 87).

² Эйхлер Г. Л.— редактор Детгиза.

БИБЛИОГРАФИЯ



V

Аба Финкельштейн

В этой работе мы учли книги Л. Квитко, вышедшие с 1917 по 1975 год, — всего 282 названия на 36 языках народов СССР — общим тиражом 30 522 860 экземпляров (не считая 20 изданий, тираж которых не указан).

Книги, вышедшие на еврейском, русском и украинском языках имеют отдельные главы, а книги на других языках народов СССР — одну общую главу. Язык, на котором вышла книга, указывается в круглых скобках.

Внутри глав сведения расположены в строго хронологическом порядке. Все книги Л. Квитко на языках народов Советского Союза переведены с еврейского языка, поэтому мы нигде не указываем: «перевод с еврейского».

Если в стихотворных сборниках не указаны переводчики, это значит, что переводы выполнены коллективом авторов. Некоторые книги не содержат сведений о переводчиках.

Во вступительной статье к книге «Годы молодые» (№ 187) Лев Касиль утверждал, что первая книжка стихов Л. Квитко вышла в 1918 году. Это очевидная ошибка. Первая книжка Л. Квитко вышла в 1917 году: Стихи. Для детей мл. возраста. Киев, «Киевер фарлаг», 1917. 19 с. В 1918 году книги Л. Квитко вообще не выходили.

Другая ошибка содержится в Краткой Литературной энциклопедии (см. КЛЭ, т. 3, с. 472—473). Там утверждается, будто первая книжка Л. Квитко вышла в 1919 году. На самом деле, первая книжка Л. Квитко вышла в 1917 году. В 1919 году эта книжка дважды переиздавалась.

Книги на еврейском языке

Стихи. Для младш. возр. Киев, «Киевер фарлаг», 1917. 19 с. (б. т.) (№ 2).

Кавунчик. Стихи для младш. возр. Ил. А. Рашл. Киев — Петроград, «Идишер фолкс фарлаг», 1919. 10 с. с ил. (б. т.)

Стихи. Для младш. возр. Киев, «Киевер фарлаг», 1919. 19 с. 2-е изд. (б. т.)

Кисанька. Стихи. Для младш. возр. Ил. А. Рашл. Киев, «Киевер фарлаг», 1919. 8 с. с ил. (б. т.)

Стихи. Для младш. возр. Киев — Петроград, «Идишер фолкс фарлаг», 1919. 15 с. 3-е изд. (б. т.)

Лемлакомка. Стихи. Для младш. возр. Ил. И. Чайкова, Киев, «Киевер фарлаг», 1919. 16 с. с ил. 5000 экз.

Трит (Шаги). Стихи. Киев, «Киевер фарлаг», 1919. 127 с. 5000 экз.

Стихи. Для младш. возр. Киев — Петроград, «Идишер фолкс фарлаг», 1920. 13 с. (б. т.)

Лирика (Стихи). Киев, «Культур-Лига», 1921. 23 с. 1500 экз.

Берчик. Рассказы в стихах. Для младш. возр. М., Центриздат, 1927. 14 с. 2000 экз.

Кожа из Рио-Гранде. (Riogrande fel). (Рассказы из жизни рабочих Германии). Харьков, Госиздат Украины, 1928. 174 с. 3000 экз.

Айзикл путешествует. Для младш. возр. Рис. Р. Черняка. Харь-

- ков — Киев. Центриздат, 1928. 13 с. (л.) с ил. 2680 экз. («Смотри и читай» № 5).
- Бабушка Шлак и ее кабак. Стихи. Для детей. Ил. Г. Фишера, Харьков. Центриздат, 1928. 8 с. (л.) с ил. 3000 экз.
- Домашние животные. Стихи. Для младш. возр. Ил. Э. Пестун-Дибровского. Харьков, Центриздат, 1928. 14 с. (л.) с ил. 5000 экз. («Смотри и читай» № 7).
- На чем люди ездят. Стихи. Для младш. возр. Ил. Г. Дина. Харьков, Центриздат, 1928. 13 с. (л.) с ил. 5000 экз. («Смотри и читай» № 4).
- Дикие животные. Стихи. Для младш. возр. Ил. Э. Пестун-Дибровского. Харьков, Центриздат, 1928, 12 с. (л.) с ил. 5000 экз. («Смотри и читай» № 2).
- Жучок. Стихи. Для младш. возр. Ил. Г. Фишера. Харьков, Центриздат, 1928. 8 с. (л.) с ил. 3000 экз.
- Рисуй птичек. Стихи. Для младш. возр. Ил. Э. Пестун-Дибровского. Харьков, Центриздат, 1928. 8 с. (л.) с ил. 5000 экз. («Смотри и читай» № 3).
- Рисуй бабочек. Стихи. Для младш. возр. Ил. Э. Пестун-Дибровского. Харьков, Центриздат, 1928. 13 с. (л.) с ил. 5000 экз. («Смотри и читай» № 1).
- Рисуй воробьишек. Стихи. Для младш. возр. Ил. Э. Пестун-Дибровского. Харьков, Центриздат, 1928. 13 с. (л.) с ил. 5000 экз.
- За это исклочают. Стихи. Для младш. возр. Ил. И. Рыбака. Харьков, «Книгоспилка», 1928. 8 с. с ил. 3000 экз.
- Скрипочка. Стихи. Для младш. возр. Ил. Г. Фишера. Харьков, Центриздат, 1928. 8 с. (л.) с ил. 3000 экз.
- Дудочка. Стихи. Для младш. возр. Ил. Г. Фишера. Харьков, Центриздат, 1928. 8 с. (л.) с ил. 3000 экз.
- Коза и семеро козлят. Стихи. Для детей. Ил. А. Судамары. Харьков, Центриздат. 13 с. (л.) с ил. 5000 экз. («Смотри и читай» № 9).
- Карл и Мизро. Стихи и рассказы. Для детей. Ил. И. Рыбака. Харьков, «Книгоспилка», 1928. 11 с. с ил. 3000 экз. (Книжка для пионеров).
- Детская площадка. Стихи. Для младш. возр. Ил. Г. Фишера. Харьков, Центриздат, 1928, 8 с. (л.) с ил. 3000 экз.
- Домик. Стихи. Для детей. Ил. Г. Дина. Харьков, Центриздат, 1928. 14 с. (л.) с ил. 5000 экз. («Смотри и читай» № 10).
- Красивейшее имя. Стихи. Для детей. Харьков, Центриздат, 1928. 96 с. с ил. 4000 экз.
- Игры и забавы. Стихи. Для детей. Ил. Агнита. Харьков, Центриздат, 1928. 14 с. (л.) с ил. 5000 экз. («Смотри и читай» № 8).
- Ринг и ринг (Звено в звено). Стихи. Обл. и рис. И. Рыбака. Харьков, Госиздат Украины. 1929. 304 с. с ил. 3000 экз.
- Герангл (Борьба). Стихи. (1917—1929). Харьков, Центриздат, 1929. 303 с. 3000 экз. В пер.
- Лям и Петрик. Повесть. Харьков, Госиздат Украины, 1930. 411 с. 3000 экз.
- Два товарища. (Из книги «Лям и Петрик»). Харьков, Центриздат, 1930. 38 с. 8000 экз. (Большой формат. «Роман-газета» для детей).
- У красильщика на учебе. (Из книги «Лям и Петрик»). Харьков, Центриздат, 1931. 31 с. 10 000 экз. (Библиотека для малограмотных).
- Лям и Петрик. (Главы из одноименной книги). Харьков, Центриздат, 1931. 24 с. 10 000 экз.
- В тракторном цеху. Стихи. Харьков, «Литература и искусство», 1931. 110 с. 3000 экз.

- Ля м и Петрик. Повесть. Харьков — Киев, Укргноснацмениздат, 1932. 288 с. 3000 экз. (2-е, испр. изд.),
- Наступление на пустыни. Стихи. Харьков, «Литература и искусство», 1932. 64 с. 3000 экз.
- Молодые строители. Стихи. Обл. и рис. А. Плащинского. Харьков — Киев, Укргноснацмениздат, 1932. 240 с. с ил. 3000 экз.
- Собрание сочинений. т. 1. Стихи и поэмы (1916—1927). Харьков, «Литература и искусство», 1933. 256 с. + 1 л. портр. 2000 экз. В пер.
- Два товарища. (Из книги «Ля м и Петрик»). Предисловие Л. Вортмана (специально переработана для школы). М., «Дер Эмес», 1933. 189 с. 5000 экз. В пер. (Школьная библиотека. Серия «Советские писатели»).
- Путешествия и поэмы. Харьков, «Литература и искусство», 1934. 256 с. 1500 экз. В пер.
- Веселый год. Стихи. Для детей. Рис. А. Садиленко. Обл. И. Дейца. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1934. 94 с. с ил. 3000 экз. В пер. Санком. Стихи. Для детей. Ил. В. Целмера. М., «Дер Эмес», 1934. 12 с. с ил. 5000 экз.
- Буц и санитары. Стихи. Для младш. возр. Рис. Г. Фридкина. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1935. 12 с. с ил. 3000 экз.
- Зимние песни. Для детей. Харьков — Киев, Укргноснацмениздат, 1935. 20 с. 5000 экз. (Б-ка «Зай грейт» — «Будь готов», № 10).
- Машины: лесопилка — трактор. Для детей. Рис. Б. Крюкова. Киев, Укргноснацмениздат, 1935. 16 с. с ил. 2500 экз.
- Праздник. Стихи. Для младш. возр. М., «Дер Эмес», 1935. 12 с. с ил. 4000 экз.
- Кисанька. Стихи. Для младш. возр. Рис. И. Дейца. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1935. 12 с. с ил. 3000 экз.
- Поросята. Стихи. Для младш. возр. Рис. С. Ержоковского. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1935. 12 с. с ил. 3000 экз.
- Для детей. Сказки в стихах. Рис. А. Короткина. М., «Дер Эмес», 1935. 103 с. с ил. 3000 экз. В пер. (Большой формат).
- Машины. Стихи. Для младш. возр. Рис. Д. Крюкова. Киев — Харьков, Укргноснацмениздат, 1936. 16 с. с ил. 2500 экз.
- Друзья. Стихи. Для младш. возр. Рис. И. Плащинского. Киев — Харьков, Укргноснацмениздат, 1935. 12 с. с ил. 2500 экз.
- У диких зверей. Стихи. Для детей. Рис. А. Короткина. М., «Дер Эмес», 1936. 32 с. с ил. 5000 экз.
- Бабуся Блюмця. Стихи. Для младш. возр. Рис. Невского. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1936. 12 с. с ил. 3500 экз.
- Красная кавалерия. Стихи. Для детей. Киев, Укргноснацмениздат, 1936. 10 с. 2500 экз.
- Лемл лакомка. Стихи. Для детей. Рис. А. Короткина. М., «Дер Эмес», 1936. 18 с. с ил. 3000 экз.
- Сказка про девочку в красном платочке. Рис. И. Довгала. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1936. 16 с. с ил. 3500 экз.
- Стихи детям. Киев — Харьков, Укргноснацмениздат, 1936. 16 с. (б. т.).
- Красные конники. — Матросы. Стихи. Для детей. Рис. А. Каганера. Киев, Укргноснацмениздат, 1936. 16 с. с ил. 3000 экз.
- Скрипочка. Стихи. Для младш. возр. Рис. И. Дейца. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1936. 12 с. с ил. 3500 экз.
- Избранные сочинения. Стихи. Киев, Укргноснацмениздат, 1937. 267 с. 2000 экз.
- Когда ты вырасту. Стихи. Для младш. возр. Рис. И. Дейца. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1937. 12 с. с ил. 3000 экз.

- Стихи и сказки. Для детей. Рис. И. Дейца. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1937. 223 с. с ил. 2000 экз.
- Десять сказок. Стихи. Для детей. Рис. А. Короткина. М., «Дер Эмес», 1937. 71 с. + 9 л. ил. 5000 экз. В пер. (Большой формат).
- Лямя и Петрик. Повесть. Киев, Укрроснацмениздат, 1938. 328 с. 1500 экз. (3-е, испр. изд.).
- Колыбельная. Стихи. Для младш. возр. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1938. 10 с. с ил. 2000 экз.
- Красная Армия. Стихи. Для детей. М., «Дер Эмес», 1938. 40 с. + 1 л. портр. с ил. 3000 экз.
- Красная Армия. Стихи. Для детей. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1939. 24 с. 7000 экз. (Массовая библиотека).
- Живо и весело. Сб. стихов. Для детей. Рис. В. Конашевича и В. Алфеевского. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1939. 176 с. с ил. 5000 экз.
- Новые стихи. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1939. 123 с. 3500 экз.
- Одиннадцать дочерей. Стихи. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1940. 32 с. 6000 экз. (Массовая библиотека).
- Ахахи. Стихи. Для детей. Рис. В. Тарасовой. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1940. 12 с. с ил. 7500 экз.
- Как Михась искупался. Стихи. Для детей. Рис. Г. Ингера. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1940. 20 с. с ил. 7500 экз.
- Колыбельная. Стихи. Для младш. возр. Рис. В. Тарасовой. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1940. 12 с. с ил. 10 000 экз.
- Чья это девочка? Стихи. Для детей. Рис. М. Полякова. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1940. 20 с. с ил. 10 000 экз.
- Пир. Стихи. Для детей. Рис. Г. Ингера. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1940. 19 с. с ил. 10 000 экз.
- В этом году. Стихи. Для детей. Киев, Укрроснацмениздат, 1940. 84 с. с ил. 3000 экз. (Школьная библиотека.)
- Кисанька. Стихи. Для младш. возр. Рис. И. Дейца. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1941. 12 с. с ил. 10 000 экз.
- Лето. Стихи. Для детей. Рис. В. Конашевича и В. Алфеевского. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1941. 116 с. с ил. 10 000 экз.
- Молодые стрелки. Стихи. Для детей. Рис. С. Бойма и Покаржевской. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1941. 16 с. с ил. 10 000 экз.
- Огонь по врагам. Стихи. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1941. 32 с. 5000 экз.
- Молодые годы. Роман в стихах. Москва — Ковно, Гос. изд-во «Дер Эмес», 1941. 316 с. 6000 экз.
- Детские сердца. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1943. 24 с. с ил. 5000 экз.
- Песнь моей души. Стихи (1941—1946). Худ. М. Аксельрод. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1947. 200 с. + 6 л. ил. 6000 экз.
- Азбука в стихах. Для детей. Рис. Михаила Ио. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1947. 48 с. с ил. 25 000 экз. (Учебник для начинающих).
- Избранные произведения. Стихи. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1948. 336 с. + 1 л. портр. 4000 экз.
- Избранные произведения. Стихи. Составитель Б. С. Квитко. Рис. Г. Кравцова. Редактор Э. Фалькович. М., «Сов. писатель», 1967. 480 с. с ил. 5000 экз.
- Цвитши, Цвитши. Стихотворение. Музыка А. Дзмитровского. Киев, «Культур-Лига» (секция «Музыка»), 1927. 4 с. с нотами (б. т.).
- Лев Квитко. Произведения для детей. Харьков, Центральная библиотека для юных читателей, 1938. 8 с. 5000 экз.

Л. Квитко, И. Нусинов, И. Каценельсон. Кровь зовет к мщению. (Рассказы пострадавших от фашистских зверств в оккупированной Польше). Предисловие Шахно Эпштейна. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1941. 116 с. 5000 экз.

Учебники. Сборники

- Декламатор. Стихи и рассказы, Редактор Генрих Казакевич. Харьков, Центриздат, 1929. 324 с. 3000 экз.
- Книга для чтения. Для 2-го класса начальной школы. Киев — Харьков, Укрроснацмениздат, 1936. 154 с. 10 150 экз.
- Книга для чтения. Для 2-го класса начальной школы. Киев, Укрроснацмениздат, 1936. 154 с. (б. т.), 2-е изд.
- Книга для чтения. Для 2-го класса начальной школы, Киев, Укрроснацмениздат, 1937. 155 с. 7850 экз. 3-е изд.
- Книга для чтения. Для 2-го класса начальной школы. Киев, Укрроснацмениздат, 1938. 155 с. 4850 экз. 4-е изд.
- Книга для чтения, Для 2-го класса начальной школы. Утверждено Наркомпросом УССР. Киев, Укрроснацмениздат, 1939. 151 с. 9500 экз. 5-е изд.
- Книга для чтения. Для 2-го класса начальной школы. Утверждено Наркомпросом УССР. Киев, Укрроснацмениздат, 1940. 156 с. 12 000 экз. 6-е изд.
- Книга для чтения. Для 2-го класса начальной школы. Ковно, «Либгобер фун висн» («Любители знания»), 1940. 154 с. (б. т.).
- Ш. Гулько и Л. Квитко. Книга для чтения. Для 2-го класса начальной школы. Харьков — Киев, Укрроснацмениздат, 1934. 144 с. (б. т.) 2-е, испр. изд.
- Антология украинской прозы. (Послеоктябрьской литературы 1921—1928). Составители и переводчики Д. Фельдман и Л. Квитко. Харьков, Укрроснацмениздат, 1930. 486 с. 3000 экз.

Из книг Л. Квитко, вышедших за рубежом на еврейском языке, нам известны только следующие:

- Большой пирог. Стихи для детей. Ковно, «Культур-Лига», 1921, 18 с. (б. т.).
- В лесу. Стихи. Для детей. Рис. И. Рыбака. Берлин, «Швелн» (Пороги). 1922. 16 с. с ил. (б. т.)
- Грин гроз. (Зеленая трава) Стихи. Берлин, «Идишер литераришер фарлаг», 1922. 206 с. (б. т.)
1919. Стихи. Рис. И. Чайкова. Берлин, «Идишер литераришер фарлаг», 1923. 163 с. с ил. (б. т.)
- Подарки Лемла. Стихи. Для детей. Обл. и рис. Д. Хволеса. Варшава, «Идиш бух», 1964. 47 с. с ил. 3000 экз.

Книги, вышедшие на еврейском языке в переводе Льва Квитко

- Украинские народные сказки. Пер. с укр. и послесл. Л. Квитко. Рис. Г. Лисицкого. Изд. еврейской секции Наркомпроса РСФСР, 1923. 102 с. с ил. Отпечатано в Берлине. (б. т.)
- Белорусские народные сказки. Пер. с белорус. и послесл.

- Л. Квитко. Рис. Г. Лисицкого. Изд. еврейской секции Наркомпроса РСФСР. 1923. 102 с. с ил. Отпечатано в Берлине. (б. т.)
- Тычина Павло. Ку-ку. Стихи. Для детей. Киев, Детиздат Украины, 1935. 10 с. 3000 экз.
- Франко Иван. Сорка. Рассказ. Харьков, Госиздат Украины, 1927. 16 с. 3000 экз.
- Коцюбинский Михайло. Подарок ко дню рождения. Рассказ. Харьков, «Гезкульт», 1928. 30 с. 2000 экз.
- Коцуба Гордей. Люди с желтым цветом лица. Рассказы. Харьков — Киев, Госиздат Украины. 1932. 132 с. 3000 экз.
- Полищук Валериан. Что их спасло. Рассказы для детей. Рис. С. Головатинского. Харьков, Госиздат Украины «Молодой большевик», 1933. 10 с. с ил. 1700 экз.
- Маршак Самуил. Почта. Стихи. Для детей. Рис. М. Котляревского. Харьков, Госиздат Украины, 1934. 12 с. с ил. (б. т.)
- Забила Наталья. Лесной учетчик. Стихи. Для детей. Харьков, Госиздат Украины, 1934 (б. т.)
- Тычина Павло. Партия ведет. Стихи. Составитель и редактор Л. Квитко. Пер. с укр. Л. Квитко, Д. Гофштейна, М. Хашеватского, Х. Левиной, И. Фефера, Э. Финнинберга, Л. Резника и М. Талалаевского. Киев — Харьков, Госиздат Украины, 1936. 1100 экз.

Книги Л. Квитко, вышедшие на русском языке

- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Рис. М. Родионова. М., Детиздат, 1936. 12 с. с крас. ил. 500 000 экз.
- В гости. Стихи для дошк. возр. Рис. В. Конашевича. М.—Л., Детиздат, 1937. 80 с. с крас. ил. 50 300 экз. (сб.)
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Рис. М. Родионова. М., Детиздат, 1937. 12 с. с ил. 200 000 экз.
- В лесу. Стихи для младш. возр. Пер. Т. Спендиаровой. Рис. Г. Туганова. М., Детиздат, 1937. 12 с. с крас. ил. 100 000 экз.
- Письмо Ворошилову. Стихи для младш. возр. Пер. С. Маршака. Рис. В. Конашевича. М., Детиздат, 1937. 11 с. с ил. 500 000 экз. (Кн.-мал.)
- Когда я вырасту. Стихи для младш. возр. Пер. М. Светлова. Рис. М. Родионова. М., Детиздат, 1937. 12 с. с крас. ил. 100 300 экз.
- Стихи. Для дошк. возр. Рис. В. Алфеевского. М.—Л., Детиздат, 1937. 84 с. + 4 вкл. с крас. ил. 50 300 экз. (сб.)
- Кисанька. Стихи для младш. возр. Пер. Е. Погореловского. Рис. В. Конашевича. М., Детиздат, 1937. 11 с. с крас. ил. 1 000 000 экз.
- Письмо Ворошилову. Стихи для младш. возр. Пер. С. Маршака. Рис. М. Родионова. М., Детиздат, 1937. 10 с. с ил. 500 000 экз.
- Колыбельная. Стихи для младш. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. М. Горшмана. М., Детиздат, 1937. 12 с. с ил. 10 300 экз.
- В гости. Стихи для младш. возр. Пер. Т. Спендиаровой. Рис. В. Конашевича. М.—Л., Детиздат, 1937. 11 с. с крас. ил. 1 000 000 экз.
- Лошадка. Стихи для детей. Пер. С. Маршака. Рис. В. Конашевича. М., Детиздат, 1938. 12 с. с ил. 1 000 000 экз. (Кн.-мал.)
- Красная Армия. Стихи для дошк. возр. Рис. С. Бойма. М.—Л., Детиздат, 1938. 32 с. с ил. 200 300 экз. (На обл.: «Книга за книгой») (сб.)
- Лям и Петрик. Повесть. Для старш. возр. Под редакцией Р. Фраермана. Рис. С. Голованова. М.—Л., Детиздат, 1938. 168 с. + 24 вкл. л. ил. 25 300 экз. В пер.

- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Рис. В. Иванова. Ворошиловск, Орджоникидзевское краевое изд-во, (Отпечатано в Пятигорске), 1938. 9 с. с ил. 15 000 экз. (без т. л.)
- Качели. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. М. Полякова. М., Детиздат, 1938. 16 с. (ненум.), с ил. 100 300 экз.
- Стихи. Для учаш. нач. шк. Рис. В. Алфеевского. М.—Л., Детиздат, 1938. 80 с. с ил. 242 000 экз. (Шк. б-ка) (сб.)
- Стихи. М., «Правда», 1938. 48 с. Б-ка «Огонек» № 49 (1108). 50 000 экз. (сб.)
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака, Рис. Г. Городецкого. Пятигорск, Орджоникидзевское краевое изд-во, 1938. 8 с. с ил. 20 000 экз.
- Михасик. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. А. Брея. М.—Л., Детиздат, 1939, 16 с. с ил. 50 000 экз.
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Рис. М. Родионова. М., Детиздат, 1939. 12 с. с ил. 100 000 экз. (без обл.)
- В гости. Стихи для дошк. возр. Рис. В. Конашевича. М., Детиздат, 1939. 64 с. с ил. 25 000 экз. В пер. (сб.)
- Письмо Ворошилову. Пер. С. Маршака. М., Учпедгиз, 1935. 500 экз. Для слепых.
- Колыбельная. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. М. Горшмана. М., Детиздат, 1939. 12 с. с ил. 100 300 экз.
- Чья эта девочка? Стихи. Пер. С. Маршака. Радиопередача для детей дошк. возр. М., 1939. 4 с. (30 с/м). Микрофонные материалы Всесоюзного Радиокomiteта. Для сектора детского вещания № 105 на правах рукописи. Изд. литографическое, 100 экз.
- Ах ахи. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. И. Кузнецова. М., Детиздат, 1940. 16 с. (ненум.) с ил. 200 000 экз. (На обл.: «Маленькая б-ка»).
- Красная Армия. Стихи для дошк. возр. Рис. С. Бойма. М.—Л., Детиздат, 1940. 32 с. с ил. 200 300 экз. (сб.)
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака, М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1940. 2 с. (б. т.)
- Беседы. Стихи для средн. и старш. возр. Пер. Е. Благининой и др. Рис. А. Брея. М.—Л., Детиздат, 1940. 56 с. с ил. 25 000 экз. (сб.)
- Разговоры с близкими. Стихи. Ил. Г. Кравцова, М., Гослитиздат, 1940. 192 с. + 1 л. портр. с ил. 5000 экз.
- Здравствуйте! Стихи для дошк. возр. Рис. С. Закржевской. М., Детиздат, 1941. 48 с. с ил. 100 000 экз. (сб.)
- Военная игра. Стихи для дошк. возр. Рис. А. Риттих. Алма-Ата, Казахст. объедин. гос. изд-ва, 1942. 8 с. с ил. 12 000 экз.
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Ил. В. Челинцева. Челябинск, Челябингиз, 1942. 8 с. с ил. 10 000 экз.
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Ил. Ю. Васнецова. М., Детгиз, 1944, 8 с. 100 000 экз. (Раздвижн. фигуры лошадки).
- В гости. Стихи для дошк. возр. Рис. С. Закржевской. М.—Л., Детгиз, 1944. 48 с. с ил. 50 000 экз. (сб.)
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Рис. Н. Ушаковой. М., Детгиз, 1944. 8 с. с ил. 100 000 экз.
- На санках. Стихи. Для дошк. возр. Пер. Т. Спендиаровой. Ил. Г. Бусарева. Челябинск. Тип. изд-ва «Челябинский рабочий», 1944. 8 с. с ил. 10 000 экз. (без обл.)
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Ил. Ю. Васнецова. Куйбышев, «Худож. фонд», 1945. 6 с. с ил. 6000 экз. (Перепечатка).

- Весна. Стихи для дошк. возр. Рис. В. Конашевича. М.—Л., Детгиз, 1946. 48 с. с ил. 50 000 экз. (сб.)
- Колыбельная. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благиной и др. Рис. В. Конашевича. М., Касса взаимопомощи профсоюза детских и юношеских писателей. 1946. 14 с. с ил. 200 000 экз.
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Рис. С. Закржевской. М., Детгиз, 1947. 24 с. с ил. 100 000 экз. (Серия «Мои первые книжки». Б-ка дetsада).
- Скрипочка. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Светлова и др. Рис. А. Брея. М.—Л., Детгиз, 1948. 24 с. с ил. 100 000 экз. (Серия «Мои первые книжки». Б-ка дetsада).
- Моим друзьям. Стихи для дошк. возр. Рис. В. Конашевича. М., Детгиз, 1948. 240 с. + 1 л. портр. с ил. 20 000 экз. В пер.
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Ставрополь, «Ставропольская правда», 1948. 24 с. с ил. 20 435 экз. (Серия «Мои первые книжки») (сб.)
- К солнцу. Избр. стихи для детей. Предисл. В. Смирновой. Рис. В. Алфеевского. М., Гос. изд-во «Дер Эмес», 1948. 276 с. + 1 л. портр. с ил. 75 000 экз. (На обор. т. л.: Составитель Е. Живова).
- История про коня и про меня. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благиной. Ил. Е. А. Афанасьевой. М., Детгиз, 1948. 12 с. с ил. 50 000 экз.
- Стихи. М., «Сов. писатель», 1948. 307 с. + 1 л. портр. 25 000 экз. (Б-ка избр. произв. сов. лит-ры 1917—1948).
- Песнь моей души. Избр. стихи. Вст. статья В. Смирновой. М., «Сов. писатель», 1956. 348 с. + 1 л. портр. 20 000 экз.
- Скрипочка. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Светлова. Рис. М. Успенской. М., Детгиз, 1956. 13 с. с ил. 500 000 экз.
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Ил. Д. Хайкина, М., Детгиз, 1957. 13 с. с ил. 500 000 экз.
- Моим друзьям. Стихи для дошк. возр. Предисл. Р. Фраермана. Рис. В. Конашевича. М., Детгиз, 1957. 240 с. + 1 л. портр. с ил. 100 000 экз. В пер.
- Скрипочка. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Светлова. Ил. М. Успенской. М., Детгиз, 1957. 13 с. с ил. 500 000 экз. (без т. л.)
- Я сам. Стихи для дошк. возр. Составитель Б. С. Квитко. Пер. Е. Благиной и др. Худ. А. Иткин. М., Детгиз, 1957, 64 с. с ил. 35 000 экз. (сб.)
- Из Бембы в Дрембу. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благиной. Рис. В. Кипарисова. М., «Детский мир», 1958. 12 с. с ил. 100 000 экз.
- Лям и Петрик. Повесть. Пер. Я. Тайца и Л. Юдкевича. Послесловие В. Смирновой. Ил. М. Горшмана. М., Гослитиздат, 1958. 286 с. + 1 л. портр. с ил. 30 000 экз. В пер.
- Скрипочка. Стихи для младш. возр. Пер. М. Светлова. Рис. М. Успенской. М., Детгиз, 1958. 16 с. с ил. 1 500 000 экз. (Серия «Мои первые книжки»).
- Анна-Ванна бригадир. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Михалкова, Ил. Д. Хайкина. М., Детгиз, 1959. 13 с. с ил. 300 000 экз.
- Моим друзьям. Стихи для дошк. возр. Предисловие Р. Фраермана, Рис. В. Конашевича. М., Детгиз, 1960. 303 с. + 1 л. портр. с ил. 100 000 экз. В пер. (Шк. б-ка нач. шк.).
- В гости. Стихи для дошк. возр. Рис. В. Конашевича, М., Детгиз, 1962. 64 с. с ил. 100 000 экз. В пер. (сб.)
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Рис. Д. Хайкина. М., Детгиз, 1962. 16 с. с ил. 1 350 000 экз. (Серия «Мои первые книжки»).

- Качели. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. В. Конашевича. М., Детгиз, 1962. 12 с. с ил. 300 000 экз.
- Скрипочка. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Светлова. Рис. М. Успенской. М., Детгиз, 1963. 16 с. с ил. 1 500 000 экз. (Серия «Мои первые книжки».)
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака. Рис. Д. Хайкина. М., «Дет. лит.», 1964. 16 с. с ил. 1 500 000 экз. (Серия «Мои первые книжки».)
- Качели. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. В. Конашевича. М., «Дет. лит.», 1964. 12 с. с ил. 300 000 экз. (Б-ка дetsада.)
- Стихотворения. Вст. статья Корнея Чуковского. М., «Худож. лит.-ра». 1964. 263 с. + 1 л. портр. 20 000 экз. В пер. (Б-ка советской поэзии).
- Мои друзья. Стихи. Предисловие Р. Фраермана. Рис. В. Конашевича. М., «Дет. лит.», 1965. 303 с. + 1 л. портр. с ил. 60 000 экз. В пер. (Шк. б-ка нач. шк.).
- В гости. Стихи для дошк. возр. Рис. В. Конашевича. М., «Дет. лит.», 1965. 64 с. с ил. 100 000 экз. В пер. (сб.)
- Лемеле хозяйничает. Стихи для дошк. возр. Пер. Н. Найденовой. Рис. Е. Мешкова. М., «Дет. лит.», 1966. 17 с. с ил. 300 000 экз.
- В гости. Стихи для дошк. возр. Рис. В. Конашевича. М., «Дет. лит.», 1966. 64 с. с ил. 200 000 экз. В пер. (сб.)
- Лемеле хозяйничает. Стихи для дошк. возр. Пер. Н. Найденовой. Рис. Е. Мешкова. М., «Дет. лит.», 1967. 17 с. с ил. 300 000 экз.
- Из Бембы в Дрембу. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. Е. Баскакова. Кемерово, кн. изд-во, 1968. 16 с. с ил. 100 000 экз. (Большой формат.)
- Годы молодые. Роман в стихах. Пер. И. Гуревича, Т. Спендиаровой и Д. Бродского. Предисловие Л. Кассила. Художн. С. Б. Телингатер. М., «Сов. писатель», 1968. 192 с. + 1 л. портр. с ил. 10 000 экз.
- Скрипочка. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Светлова. Рис. М. Успенской. М., «Дет. лит.», 1968. 16 с. с ил. 1 750 000 экз. (Серия «Мои первые книжки».)
- В гости. Стихи для дошк. возр. Пер. Т. Спендиаровой. Рис. В. Конашевича. М., «Дет. лит.», 1968. 8 с. с ил. 300 000 экз. (Б-ка дetsада.)
- Мои друзьям. Стихи для дошк. возр. Ил. В. Конашевича и А. Иткина. М., «Дет. лит.», 1969. 303 с. + 1 л. портр. с ил. 100 000 экз. В пер. (Шк. б-ка нач. шк.).
- Качели. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. М., «Дет. лит.», 1969. 16 с. с ил. 1 750 000 экз. (Серия «Мои первые книжки».)
- Лемеле хозяйничает. Стихи для дошк. возр. Пер. Н. Найденовой. Рис. Е. Мешкова. М., «Дет. лит.», 1969. 17 с. с ил. 300 000 экз.
- Скрипочка. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Светлова. Рис. М. Успенской. М., «Дет. лит.», 1970. 14 с. с ил. 1 750 000 экз. (Серия «Мои первые книжки».)
- Про коня и про меня. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. В. Юдина. М., «Дет. лит.», 1970. 14 с. с ил. 750 000 экз.
- В гости. Стихи для дошк. возр. Пер. Т. Спендиаровой. Рис. В. Конашевича. М., «Дет. лит.», 1970. 8 с. с ил. 450 000 экз.
- Про коня и про меня. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой. Рис. В. Юдина. М., «Дет. лит.», 1971. 15 с. с ил. 1 000 000 экз.
- Лошадка. Стихи. Пер. С. Маршака. Рис. М. Успенской. М., «Дет. лит.», 1972. 14 с. с ил. 1 200 000 экз. (Для дошк.).
- Лемеле хозяйничает. Стихи для дошк. возр. Пер. Е. Благининой,

- . Т. Спендиаровой, Н. Найденовой. Рис. Е. Мешкова. М., «Дет. лит.», 1974. 16 с. с ил. 1 600 000 экз. (Серия «Мои первые книжки».)
- В гости.** Стихи для дошк. возр. Пер. С. Маршака, Е. Благининой, Т. Спендиаровой, М. Светлова, С. Погореловского, В. Донниковой, Н. Найденовой, Н. Ушакова, С. Михалкова. Рис. В. Конашевича. Цветная. М., «Дет. лит.», 1975, 64 с. 300 000 экз.
- Медведь в лесу.** Стихи для детей. Рис. Э. Булатова и О. Васильева. М., «Малыш», 1975. 8 с. с ил. (Для чтения в детском саду). 300 000 экз. Для дошк. возр.

Книги на украинском языке

- Наилучшее имя.** Рассказ для детей. Пер. В. Сосюры. Харьков, Госиздат Украины, 1929. 18 с. 10 000 экз. (сб.)
- Панач.** Рассказы для детей. Пер. В. Сосюры. Харьков, Госиздат Украины. 1930. 56 с. с ил. 10 000 экз. (сб.)
- В порту.** Рассказы о жизни рабочих Германии. Пер. М. Константинопольского и О. Сващенко. Ил. Г. Гольдмана. Харьков, «Книгоспилка», 1930. 132 с. с ил. 5000 экз.
- Трамвай.** Рассказ в стихах для детей. Пер. Р. Троянкер. Ил. Б. Бланка. Харьков, «Молодой большевик», 1931. 8 с. с ил. 15 000 экз.
- Праздник.** Рассказ в стихах для детей. Пер. Е. Богуславского и С. Фронченко. Рис. Д. Шавыкина. Харьков, «Молодой большевик», 1931. 16 с. с ил. 30 000 экз. (сб.)
- Лям и Петрик.** Повесть. Харьков, «Литература и искусство», 1931. 196 с. 25 000 экз. (Романы и повести №№ 11—12).
- Праздник.** Рассказы в стихах для детей. Пер. Е. Богуславского и С. Фронченко. Рис. Д. Шавыкина. Харьков, «Молодой большевик», 1932. 16 с. с ил. 30 000 экз. 2-е изд. (сб.)
- Два товарища.** (Лям и Петрик). Повесть. Пер. Е. Райцина. Харьков—Одесса, «Молодой большевик», 1932. 172 с. с ил. 20 000 экз.
- Скрипочка.** Стихи для дошк. возр. Пер. Павла Тычины. Рис. М. Дайца. Предисл. О. Иваненко. Харьков—Киев, «Молодой большевик», 1933. 12 с. с ил. 10 000 экз.
- Счастливое поколение Октября.** Сборник. Дети о своей жизни, Материал для сборника собрал Л. Квитко и др. Харьков—Одесса, Детиздат Украины, 1935. 179 с. с ил. 11 000 экз.
- Утро.** Стихи для дошк. возр. Ил. Крюкова. Харьков—Одесса, Детиздат Украины, 1935. 21 с. + 6 л. ил. 20 000 экз. (сб.)
- Поросята.** Стихи для дошк. возр. Пер. Ивана Кулика. Рис. С. Ержиковского. Харьков—Одесса, Детиздат Украины, 1935. 12 с. с ил. 30 000 экз. (Б-чка дошк.).
- Кисанька.** Стихи для дошк. возр. Пер. М. Пригари. Рис. М. Дейца. Харьков—Одесса, Детиздат Украины, 1935. 13 с. с ил. 30 000 экз.
- Письмо Ворошилову.** Стихи для дошк. возр. Пер. Максима Рыльского. Рис. Г. Бондаренко. Киев—Харьков, Детиздат Украины, 1935. 12 с. с ил. 30 000 экз.
- Два товарища.** (Лям и Петрик). Повесть. Пер. Зинаиды Иоффе. Харьков—Одесса, Детиздат Украины, 1935. 191 с. 15 000 экз.
- Скрипочка.** Стихи для дошк. возр. Пер. Павла Тычины. Рис. М. Дейца. Киев, Детиздат Украины, 1936. 12 с. с ил. 30 000 экз. (Шк. б-ка).
- Лям и Петрик.** Повесть. Пер. Я. Райцина. Рис. Б. Бланка. Киев, Гослитиздат Украины, 1936. 306 с. с ил. 15 000 экз.
- Стихи и сказки.** Для дошк. возр. Ил. М. Дейца, Харьков—Киев,

- Детиздат Украины, 1937. 56 с. + 5 вкл. л. крас. ил. 30 000 экз. В пер. (сб.)
- Когда я вырасту. Рассказ в стихах для детей дошк. возр. Пер. Натальи Забилы. Ил. М. Дейца. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1937. 12 с. с ил. 30 000 экз.
- Поросята. Стихи для дошк. возр. Пер. Ивана Кулика. Ил. С. Еркинского. Харьков — Одесса, Детиздат Украины. 1937. 12 с. с ил. 30 000 экз. 2-е изд. (Б-чка дошк.)
- Письмо Ворошилову. Стихи для детей дошк. возр. Пер. Максима Рыльского. Ил. Г. Бондаренко. Харьков — Одесса, Детиздат Украины, 1937. 12 с. с ил. 30 000 экз.
- Колыбельная. Стихи для дошк. возр. Пер. Натальи Забилы. Рис. А. Де-вянина. Киев — Одесса, Детиздат Украины, 1938. 12 с. с ил. 30 000 экз.
- Когда я вырасту. Рассказ в стихах для дошк. возр. Пер. Натальи Забилы. Рис. М. Дейца. Киев — Одесса, Детиздат Украины, 1938. 12 с. (ненум.) с ил. 20 000 экз. 2-е изд.
- Поросята. Рассказ в стихах для дошк. возр. Пер. Павла Тычины. Ил. В. Аверина. Киев — Харьков, Детиздат Украины, 1938. 12 с. (ненум.) с ил. 24 000 экз. 3-е изд. (Б-чка дошк.)
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. Максима Рыльского. Ил. Г. Бондаренко. Киев — Одесса, Детиздат Украины, 1938. 12 с. (ненум.) с ил. 100 000 экз. 3-е изд.
- Стихи и сказки. Для дошк. возр. Рис. М. Дейца. Киев — Харьков, Детиздат Украины, 1939. 56 с. + 5 вкл. л. крас. ил. 36 000 экз. (Шк. б-чка) (сб.)
- Красная Армия. Стихи для дошк. возр. Ил. И. Каплана. Киев, Детиздат Украины, 1939. 28 с. + 5 вкл. л. ил. 25 000 экз. В пер. (сб.)
- У меня тайна. Стихи для дошк. возр. Ил. А. Авраменко. Киев, Детиздат Украины, 1958. 23 с. с ил. 100 000 экз. (сб.)

Книги на других языках народов Советского Союза

- Декламатор. Стихи и рассказы. Составитель Лев Квитко. Харьков. Центриздат, 1929. 320 с. 3000 экз. (Немецкий).
- Ляма и Петрик. Повесть. Киев — Харьков, Укргоснацмениздат, 1934. 400 с. 3000 экз. (Немецкий).
- Поросята. Стихи для дошк. возр. Харьков — Одесса. Детиздат Украины, 1935. 12 с. с ил. 3000 экз. (Немецкий).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. М., Детиздат, 1937. 12 с. с ил. 20 000 экз. (Якутский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. М., Детиздат, 1937. 12 с. с ил. 6000 экз. (Мордовский эрзя).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. М., Детиздат, 1937. 12 с. с ил. 4000 экз. (Мордовский мокша).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. М., Детиздат, 1937. 12 с. с ил. 2000 экз. (Марийский горный).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. М., Детиздат, 1937. 12 с. с ил. 5000 экз. (Коми).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. М., Детиздат, 1937. 12 с. с ил. 5000 экз. (Каракалпакский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. А. Айрапетяна. Ил. М. Родионова. Ереван, Арменгиз, 1937. 12 с. (ненум.) с ил. 6000 экз. (Армянский).

- В г о с т и. Стихи для дошк. возр. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1938. 12 с. (ненум.) с ил. 25 000 экз. (Кн.-мал.) (Чувашский).
- К и с а н ь к а. Стихи для дошк. возр. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1938. 12 с. (ненум.) с ил. 25 000 экз. (Чувашский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1938. 12 с. с ил. 25 000 экз. (Кн.-мал.) (Чувашский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Рис. В. Конашевича. Сталинабад, Таджикгосиздат, 1938. 12 с. (ненум.) 8000 экз. (Таджикский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Пер. В. Шадата. Рис. М. Родионова. М., Гослитиздат, 1938. 12 с. (ненум.) с ил. 3500 экз. (Марийский лугово-восточный).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Пер. Т. Мамшиева. Рис. М. Родионова. М., Детиздат, 1938. 12 с. (ненум.) с ил. 6000 экз. (Киргизский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Пер. И. Лебедева. Рис. М. Родионова. М., Детиздат, 1938. 12 с. (ненум.) с ил. 2000 экз. (Карельский).
- К и с а н ь к а. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Сеидзаде. Баку, Аздетюниздат, 1938. 12 с. (ненум.) с ил. 25 000 экз. (Азербайджанский).
- К о г д а я в ы р а с т у. Стихи для дошк. возр. Пер. А. Аланского. Рис. В. Болжской по рис. М. Родионова. Казань, Татгосиздат, 1939. 12 с. с ил. 3000 экз. (Татарский).
- Л я м и П е т р и к. Повесть. Для старш. возр. Пер. Г. Бакбулата. Рис. С. Голованова. Казань, Татгосиздат, 1939. 216 с. с ил. 10 000 экз. (Шк. серия) (Татарский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Пер. Т. Мамшиева. Рис. М. Родионова. М., Детиздат, 1939. 12 с. (ненум.) с ил. 20 000 экз. (Киргизский).
- Л о ш а д к а. Стихи для дошк. возр. Пер. К. Белокага. Баку, Аздетюниздат, 1939. 12 с. (ненум.) с ил. 25 000 экз. (Кн.-мал.) (Азербайджанский).
- К р а с н а я А р м и я. Стихи для дошк. возр. Пер. Д. Кастановы. Майкоп, Адыгнациздат, 1939. 16 с. с ил. 2500 экз. (Адыгейский).
- В г о с т и. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Миршакара. Рис. В. Конашевича. Сталинабад. Госиздат Тадж. ССР, 1939. 12 с. (ненум.) с ил. 15 000 экз. (Кн.-мал.) (Таджикский).
- К и с а н ь к а. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Миршакара. Рис. В. Конашевича. Сталинабад, Госиздат Тадж. ССР, 1939. 12 с. (ненум.) с ил. (Кн.-мал.) 15 000 экз. (Таджикский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Пер. Л. М. Малхозова. Черкесск, Чернациздат, 1939. 8 с. с ил. 2000 экз. (Черкесский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для мл. возр. Рис. М. Родионова. Ташкент, Детюниздат Узб. ССР, 1939. 12 с. с ил. 20 000 экз. (Узбекский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Пер. И. Гаврилова. Ижевск, Удмгиз, 1939. 8 с. с ил. 8500 экз. (Удмуртский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Пер. Ф. Исакова. Пегрозаводск, Каргосиздат, 1939. 12 с. (ненум.) с ил. 3600 экз. (Карельский).
- К о л ы б е л ь н а я. Стихи для дошк. возр. Пер. Шамиль Герее. Казань, Татгосиздат, 1940. 12 с. с ил. 6000 экз. (Татарский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Пер. Асадула Магомаева. Махачкала, Даггиз, 1940. 12 с. (ненум.) с ил. 2000 экз. (Аварский).
- П и с ь м о В о р о ш и л о в у. Стихи для дошк. возр. Пер. Ц. Галсинова. Улан-Удэ, Бургиз, 1940. 12 с. с ил. 5000 экз. (Бурятский).

- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. К. Лордкипанидзе. Тбилиси, Детюниздат Груз. ССР, 1940. 12 с. с ил. 4000 экз. (Грузинский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. А. Долгата. Махачкала, Даггиз, 1940. 12 с. (ненум.) с ил. 2000 экз. (Даргинский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. В. Х. Дыдымова. Махачкала, Даггиз, 1940. 12 с. (ненум.) с ил. 2000 экз. (Кумыкский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. Ю. Хаппалаева. Махачкала, Даггиз, 1940. 12 с. (ненум.) с ил. 1000 экз. (Лакский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. И. Ахмедова. Махачкала, Даггиз, 1940. 12 с. (ненум.) с ил. 2000 экз. (Лезгинский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. Г. А. Гаджиева. Махачкала, Даггиз, 1940. 12 с. (ненум.) с ил. 1000 экз. (Табасаранский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Пер. Д. Отнилова. Махачкала, Даггиз, 1940. 12 с. (ненум.) с ил. 1000 экз. (Татский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Рис. М. Родионова. Грозный, Чеченгосиздат, 1940. 10 с. (ненум.) с ил. 20 000 экз. (Ингушский).
- Письмо Ворошилову. Стихи для дошк. возр. Рис. М. Родионова. Грозный, Чеченгосиздат, 1940. 10 с. (ненум.) с ил. 6500 экз. (Чеченский).
- В гости. Стихи для дошк. возр. Пер. А. Фарука. Баку, Аздетюниздат, 1940. 12 с. (ненум.) с ил. 25 000 экз. (Кн.-мал.) (Азербайджанский).
- Когда я вырасту. Стихи для дошк. возр. Пер. Х. Юсуфи. Сталинабад — Самарканд, Гостаджикиздат, 1940. 12 с. с ил. 10 000 экз. (Таджикский).
- Михасик. Стихи для дошк. возр. Пер. Ш. Нач. Майкоп, Адыгнациздат, 1940. 16 с. с ил. 2000 экз. (Адыгейский).
- Красная Армия. Стихи для дошк. возр. Пер. Ш. Садула и Д. Дьер. Ташкент, Госиздат УзССР, 1942. 24 с. с ил. 10 000 экз. (Узбекский). (сб.)
- Кисанька. Стихи для дошк. возр. Пер. М. Сендзаде. Ил. А. Гаджиева. Баку, Аздетюниздат, 1945. 7 с. с ил. 15 000 экз. (Азербайджанский).
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. К. Наджми. Ил. Б. Альменова. Казань, Татгосиздат, 1946. 1 л. слож. в 12 с. с ил. 20 195 экз. (Татарский).
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. В. А. Касым-заде. Ил. Н. Ушакова. Баку, Аздетюниздат, 1946. 11 с. с ил. 20 000 экз. (Азербайджанский).
- Лошадка. Стихи для дошк. возр. Пер. К. Наджми. Ил. Б. Альменова. Казань, Татгосиздат, 1946. 12 с. с ил. 25 000 экз. (2-е изд.) (Татарский) (сб.)
- Скрипочка. Стихи для дошк. возр. Пер. с русск. А. Рокша. Кишинев, «Карта Молдовеняскэ», 1959. 16 с. с ил. 8000 экз. (Молдавский) (сб.)
- Скрипочка. Стихи для дошк. возр. Пер. Г. Амари. Ил. В. Г. Ключева. Уфа, Башкиргоиздат, 1961. 41 с. с ил. 5000 экз. (Башкирский) (сб.)
- Про коня и про меня. Стихи для дошк. возр. Пер. В. Норенц. Ил. П. Малоян. Ереван, «Айпетрат», 1963. 37 с. с ил. 20 000 экз. (Армянский) (сб.)
- Ручеек. Стихи для дошк. возр. Пер. Н. Байрамова. Ашхабад, «Туркменистан», 1966. 28 с. с ил. 16 000 экз. (Туркменский) (сб.)

Персоналия

В этой главе библиографии Л. Квитко с возможной полнотой регистрируются посвященные поэту литературно-критические статьи и рецензии, выходявшие на русском языке. Включены также (без специальных оговорок) посвященные нескольким авторам обзорные статьи, если они уделяют заметное место творчеству Л. Квитко. Не регистрируются статьи о Л. Квитко в энциклопедиях, справочниках и подобных изданиях, а также те статьи настоящего сборника, которые публикуются в нем впервые. Персоналия составлена М. Петровским.

- Алимов А. Рисунки к книжке «Письмо Ворошилову», «Дет. литература», 1937, № 2.
- Белявский Н. Иллюстрации С. Закржевской к книге Л. Квитко «Здравствуйте!». «Дет. литература», 1941, № 4.
- Бурмистрова С. Что читать учащимся летом. «Начальная школа», 1957, № 5.
- Габбе Т. Повесть о детстве и повесть для детей. «Лит. критик», 1939, кн. 8—9.
- Глоцер В. О поэзии Льва Квитко. «Дошкольное воспитание», 1961, № 2.
- Гурштейн А. Стихи Л. Квитко. «Огонек», 1941, № 11.
- Добрушин И. О собрании сочинений Л. Квитко, В кн.: Добрушин И. Литературно-критические статьи. М., «Сов. писатель», 1964.
- Дымшиц П. И. Детские книжки (обзор за 1940 год). «Дошкольное воспитание», 1961, № 2.
- Езерский С. Стихи Л. Квитко. «Рабочая Москва», 8 февраля 1937 г.
- Емельянова Н. Радость узнавания жизни. «Лит. газ.», 29 марта 1947 г.
- Журбина Е. Поэзия для всех возрастов. «Лит. газ.», 2 марта 1941 г.
- Ивич А. В солнечном мире. «Лит. газ.», 26 июня 1948 г.
- Инбер В. «Воспоминаний взрывчатая зона...» Из записных книжек. «Литературная Россия», 21 апреля 1967 г.
- Инбер В. Страницы дней перебирая. М., «Сов. писатель», 1967.
- Кассиль Л. Начало начал. В кн.: Л. Квитко. «Годы молодые». М., «Сов. писатель», 1968.
- Квитко Б. О Льве Квитко (воспоминания). Сб. «О литературе для детей», вып. 8, Л., Детгиз, 1963.
- Краковская М. Книга о Красной Армии, «Дет. литература», 1938, № 8.
- Красноставский М. Литература о Красной Армии. «Дет. литература», 1939, № 2.
- Лурье Т. Детские стихи Квитко. «Лит. обозрение», 1938, № 20.
- Лурье Т. «Лям и Петрик» (повесть Л. Квитко). «Лит. обозрение», 1939, № 4.
- Михалков С. Почему я люблю переводить стихи Квитко. «Лит. газ.», 15 апреля 1938 г.

- Михалков С. Лев Квитко. В кн.: Л. Квитко. Моим друзьям. М., Детгиз, 1960.
- Михалков С. Лев Квитко. В кн.: С. Михалков. Чувство локтя. М., «Сов. писатель», 1971.
- Могиланская Е. Чудесные книги. «Пионерская правда», 7 января 1966 г.
- Натапова Р. Глазами ребенка (природа и люди в произведениях Квитко). В сб.: Книга — друг ребенка. Воспитатели о детских книжках. М., «Просвещение», 1964.
- Натапова Р. Стихи Квитко для детей и взрослых. «Дошкольное воспитание», 1965, № 3.
- Новикова Ю. Ну разве не чудо? «Пионер», 1966, № 6.
- Озеров Л. Человек-сказка. «Дет. литература», 1971, № 7.
- Петровский М. Поэтическое познание. «Дошкольное воспитание», 1961, № 2.
- Петровский М. Поэтическое познание. Сб. «Детская литература», М., Детгиз, 1961.
- Петровский М. Человечность. «Семья и школа», 1965, № 8.
- Розанов И. Старые солдатские песни и наши песни о Красной Армии. «Литературная учеба», 1938, № 2.
- Рубина Р. Детские стихи Л. Квитко. «Дет. литература», 1939, № 12.
- Рунин Б. Поэзия повседневных чудес. «Дружба народов», 1957, № 9.
- Саконская Н. Повод к раздумью. «Дет. литература», 1940, № 11—12.
- Серебряный И. Поэт октябрьских зорь (О творчестве Льва Квитко). В кн.: И. Серебряный. Современники и классики. Статьи и портреты. М., «Сов. писатель», 1971.
- Смирнова В. Двойная победа. «Лит. газ.», 26 апреля 1938 г.
- Смирнова В. Немеркнущая радость. «Лит. газ.», 26 апреля 1956 г.
- Смирнова В. Лев Квитко и его стихи. В кн.: Л. Квитко. Песнь моей души. М., «Сов. писатель», 1956.
- Смирнова В. Лирика Льва Квитко. В кн.: В. Смирнова. О литературе и театре. М., «Сов. писатель», 1956.
- Смирнова В. Для чтения детям. «Дошкольное воспитание», 1957, № 7.
- Смирнова В. Лев Квитко. Критико-биографический очерк. М., Детгиз, 1957.
- Смирнова В. Горячее сердце. В кн.: В. Смирнова. О детях и для детей. М., Детгиз, 1961.
- Смирнова В. Горячее сердце. В кн.: В. Смирнова. О детях и для детей. 2-е изд. М., Детгиз, 1963.
- Смирнова В. Добрый талант. К 80-летию Л. Квитко. «Лит. газ.», 11 ноября 1970 г.
- Сокольников М. Спорные иллюстрации. «Дет. литература», 1937, № 16.
- Соловьева О. И. «Детский праздник». «Дошкольное воспитание», 1944, № 10.
- Ульман С. С. Лев Квитко. Жизнь и творчество. В кн.: Сборник студенческих работ Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской. Выпуск третий. Л., 1959.
- Фраерман Р. Л. М. Квитко. В кн.: Л. Квитко. Моим друзьям. М., Детгиз, 1957.
- Чуковский К. Замечательный поэт. «Красная газета» (вечерний выпуск), 2 июня 1936 г.
- Чуковский К. Дела детские. «Лит. газ.», 26 апреля 1936 г.
- Чуковский К. Хорошая яркая детская книжка будет создана. «Большевицкая печать», 1936, № 2.

- Чуковский К. Урожайный год. «Вечерняя Москва», 13 января 1937 г.
- Чуковский К. [О стихах Л. Квитко] В кн.: К. Чуковский. От двух до пяти. Изд. 6-е, Л., «Худ. лит-ра», 1936, с. 246—251.
- Чуковский К. [О стихах Л. Квитко] В кн.: К. Чуковский. От двух до пяти. Изд. 7-е, М., Детгиздат, 1937, с. 296—301.
- Чуковский К. [О стихах Л. Квитко] В кн.: К. Чуковский. От двух до пяти. Изд. 8-е, Л., «Сов. писатель», 1939, с. 246—251.
- Чуковский К. Светлый талант. «Литература и жизнь», 7 декабря 1960 г.
- Чуковский К. Квитко. В кн.: Л. Квитко. Стихотворения. М., «Худ. лит-ра», 1964, (Библиотека советской поэзии).
- Чуковский К. Квитко. В кн.: Л. Квитко. Стихотворения. М., Детгиз, 1964.
- Чуковский К. Квитко. В кн.: К. Чуковский. Современники. М., «Мол. гвардия», 1963.
- Чуковский К. Квитко. В кн.: К. Чуковский. Современники. М., «Мол. гвардия», 1967.
- Чуковский К. Квитко. В кн.: К. Чуковский. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. М., «Худ. лит-ра», 1965.
- Шабад Е. Дошкольная художественная книжка. «Дошкольное воспитание», 1937, № 5.
- Шабад Е. О литературе для дошкольников. «Дошкольное воспитание», 1937, № 12.
- Л. Квитко. Лям и Петрик. Повесть. Пер. с евр. М., Гослитиздат, 1958 (рец.) — «Новый мир», 1958, № 12 («Коротко о книгах»).

Содержание

М. Петровский. К читателю 5

I. СТАТЬИ

Вера Смирнова. Немеркнущая радость	9
Н. Ойслендер. Ранние годы творчества Л. Квитко	29
Корней Чуковский. Замечательный поэт	42
Сергей Михалков. На всех языках	49
Лев Кассиль. Начало начал	51
Б. Рунин. Поэзия повседневных чудес	57
Р. Рубина. Большой мир детства	67
Эммануил Казакевич. Диалог	78
Г. Черненко. Страница биографии	84
Инн. Оксенов. Тонкий наблюдатель мира	88
Мирон Петровский. Жажда человечности	91
Ц. Рацкая. Поэзия Л. Квитко — неиссякаемый источник вдохновения	114

II. ВОСПОМИНАНИЯ

Б. Квитко. Творить добро — было сущностью его жизни	121
Илья Либман. Годы юности	156
А. Козодой. У нас в Умани	160
Андрей Чужий. Хавер Лейб	164
Корней Чуковский. Квитко	168
Вера Смирнова. Горячее сердце	177
Павло Тычина. Слово о друге	182
Лев Озеров. Человек-сказка	185
Яков Хелемский. «— У нас много времени...»	191
Агния Барто. Он был таким, как его поэзия	202
Елена Благинина. За рассветами вслед	204
Н. Гернет. История одной рукописи	210
Л. Пантелеев. Две встречи в Москве	213

III. Л. КВИТКО. О СЕБЕ, О ДЕТЯХ И ЛИТЕРАТУРЕ

Автобиография	217
Беседа с Павло Тычиной об Ошере Шварцмане	219
Наш читатель	221
Творчество ребят Советской Украины	225
О песне для малышей	229
Несколько слов о поэзии Павло Тычины	232
День гибели фашизма станет праздником для всего свободолюбивого человечества	235

IV. Л. КВИТКО. ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Письма П. Тычине	239
Письма С. Маршаку	242
Письма К. Чуковскому	248
Письма Е. Благиной	266

V. БИБЛИОГРАФИЯ 270

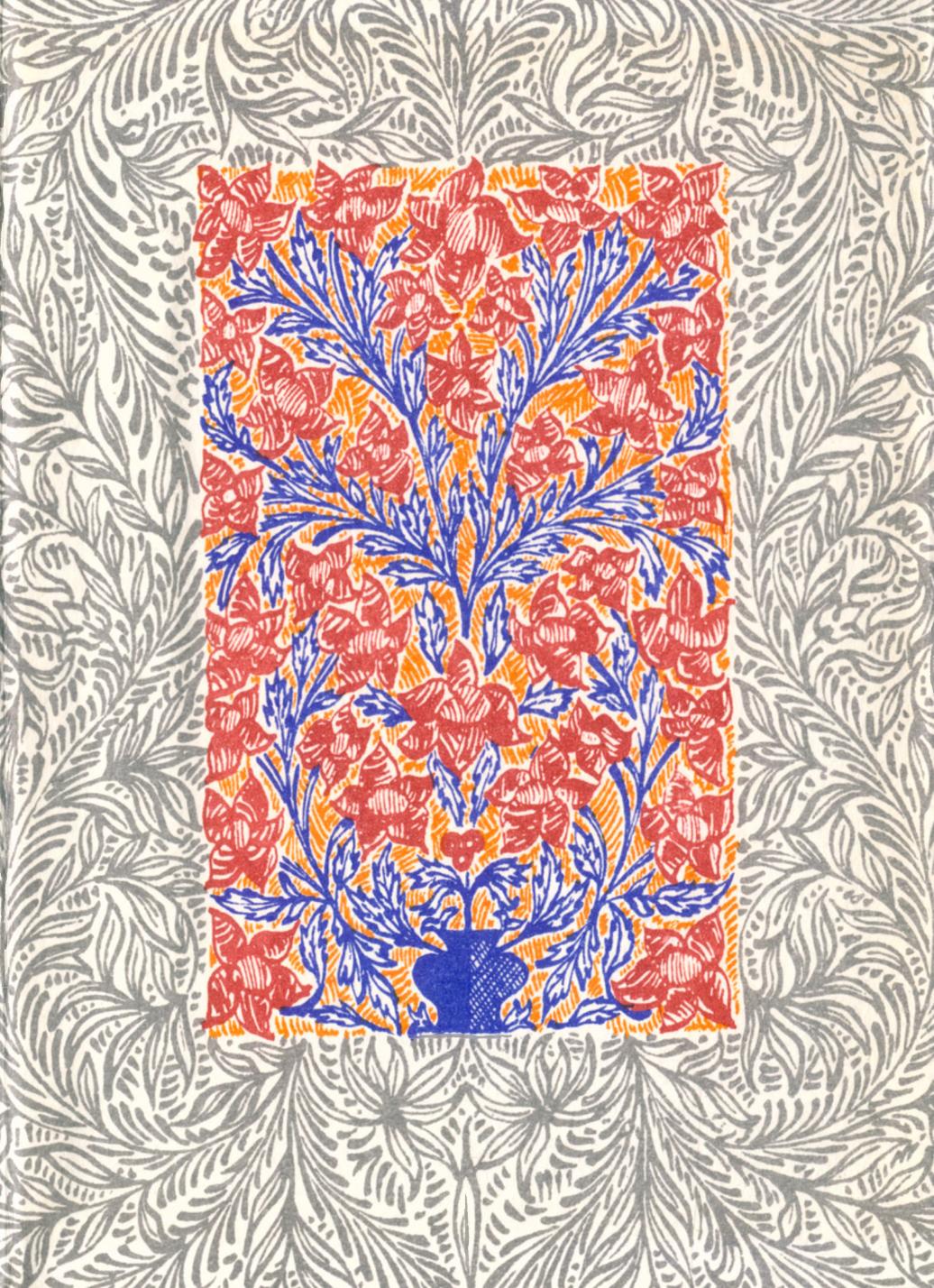
Краткие статьи и примечания к письмам
М. ПЕТРОВСКОГО

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЛЬВА КВИТКО

Сборник

Ответственные редакторы *Д. В. Красновская* и *А. С. Ляуэр*. Художественный редактор *А. Б. Сапрыгина*. Технический редактор *Т. Д. Юрханова*. Корректоры *В. В. Борисова* и *К. И. Каревская*. Сдано в набор 29/VII 1976 г. Подписано к печати 10/XI 1976 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 19. Усл. печ. л. 17,67. Уч.-изд. л. 17,71+8 вкл. = 18,45. Тираж 50 000 экз. А08693. Заказ № 3960. Цена 72 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, Москва, Суцевский вал, 49.







72 коп.